

НОВАЯ КАНАШНИН

# ПАМЯТЬ НЕ СТЫБИЕТ





**В повести автор рассказывает о товарищах по оружию, о том, как события Великой Отечественной войны заставили их прямо со школьной скамьи пойти на фронт, и с оружием в руках защищать Родину.**

**Повесть И.Канашина, от начала и до конца, читается с неослабеваемым интересом. Она привлекает, прежде всего, своей жизненной достоверностью, ярким изображением героизма советских бойцов, верностью психологических характеристик.**

**Многим, очень многим, из них не суждено было дожить до Победы. И когда, сегодня их друзья, оставшиеся в живых восклицают: „Здравствуй, жизнь!“ – они вспоминают дорогие сердцу имена. “Здравствуй, жизнь!” – за тебя заплачено дорогой ценой. Умирая в бою, ребята хотели, чтобы сохранилась ты, со всеми радостями, со всем своим богатством. Не забывайте об этом люди!**

Как-то после войны в газете «Молодежь Эстонии» появилось небольшое объявление — Таллинский горком комсомола сообщал о дате захоронения останков советских людей, погибших от рук фашистских захватчиков в местечке Кунда под Таллином во время оккупации Эстонии.

...Похоронная процессия состояла из нескольких автобусов, на которых привезли молодежь из Таллина, оркестрантов, венки из живых и искусственных цветов. На траурную панихиду жители из близлежащих сел и рабочих поселков. Гробы с останками поставили вокруг большой братской могилы. Которая была вырыта под могучим развесистым дубом. Оркестр встал в стороне и сразу же заиграл траурный марш.

Секретарь райкома комсомола Микк Тяяль открыл гражданскую панихиду. Он говорил о том, что здесь, в районе Кунды, в одиночных могилах покоились останки советских людей. Павших от рук фашистских оккупантов, но теперь они вечно будут рядом. В одной братской могиле, как и подобает быть всегда вместе родным и близким по духу, по делам, по крови людям, чьи судьбы так тесно переплелись в те черные для человечества дни, что светлая память навсегда останется в сердцах советских людей, что их мужество и стойкость — должны служить образцом для молодежи наших дней.

Затем он предоставил слово седому человеку в военной шинели без погон — узнику Таллинского концлагеря Михаилу Васильеву. Он говорил недолго. Голос то и дело срывался, душил комок в горле.

Закончив панихиду, секретарь сделал знак оркестру, и над могилой снова зазвучал траурный марш.

Гробы стали опускать в могилу. Залязгали лопаты, зашуршала земля. Маре Саат, пожилая женщина с опухшими от слез глазами, закричала: «Арно... Прощай, братик ты мой любимый! Пусть станет пухом тебе земля!»

Заплакали женщины. Микк обнял Маре и усадил ее на скамейку.

Похороны закончились. И люди, словно нехотя, поплелись от могилы. Ребята сели в автобусы, и машины двинулись в обратный путь.

И только трое — заплаканная Маре Саат, Михаил Васильев и Микк Тяяль остались возле могилы, погруженные в свое горе.

Они сидели на скамейке под развесистым дубом. Михаил согнувшись, обхватив руками непокрытую седую голову, смотрел на мраморную доску с высеченными на ней именами: «...Арно Тоотс, Алексей Орлов, Юлия Дутс, Миккель Дутс, Калев Сарапуу...» И такая скорбь была во всей его фигуре, что Маре ее собственное горе показалось маленьким и жалким.

Секретарь райкома положил руку на плечо Михаила и сказал «Пойдемте... Все кончено. Уезжают...»

Михаил медленно встал, помог подняться Маре, В последний раз поклонились они свеженасыпанному холмику и пошли...пошли.

А я решил рассказать о судьбе этого преждевременно поседевшего человека. прошедшего через все ужасы фашистского плена, и о судьбе людей. Чья скромная могила затерялась среди множества братских могил, разбросанных по нашей земле.

## Часть первая

**Без права на жизнь**

« Мама, я уверен, мое письмо дойдет до тебя, хотя я уже за линией фронта. Твой ответ я никогда не получу: меня не будет. Я хочу, чтобы ты знала о моем последнем дне, с этой мыслью мне легче уйти из жизни. Через считанные часы немцы нас убьют. Их много, а нас мало.

Ты всегда приучала говорить тебе правду: сын должен всегда говорить матери правду. Так вот не думай, что твой сын сильный человек. Я — слабый. Я боюсь боли и трушу, когда меня бьют. Боюсь голода голода, а больше всего боюсь смерти. В детстве я боялся грома, боялся темноты, боялся болезни, одиночества, боялся, что заболев, могу умереть. Я боялся войны, и вот она захватила меня в свои ледяные лапы, и я никак не могу вырваться из них. Теперь по ночам, мама, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель, и мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ребенком я прибежал к тебе, ищи защиты. И теперь, в минуту слабости, мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умная, сильная, прикрыла меня, защитила. Я и силен духом, и слаб.

Это письмо нелегко оборвать, но — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уже никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты была моей радостью. По ночам я вспоминал тебя, твою одежду, свой первый школьный день. Все, все вспоминал — от первых сознательных дней своей жизни до последней весточки от тебя. Я закрывал глаза, и мне казалось — ты заслонила меня от надвигающейся смерти, мой друг. А когда вспоминаю, что происходит вокруг. Радуюсь, что ты не возле меня, - пусть ужасная судьба минует тебя.

С улицы слышна пулеметная пальба, разрывы гранат, а я смотрю на эти строки, - и мне кажется, что я защищен от страшного мира.

Как закончит письмо? Где взять силы, мама? Есть человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя сыновья любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Живи, живи, живи вечно... Твой сын Миша»

Это письмо к матери Миша написал ночью перед решающим боем с фашистами, а сейчас он лежит в полуразрушенном подвале на битом кирпиче. Сколько он пролежал под завалом?.. Видимо, несколько часов. Сознание не миг приходило, но тут же опять он проваливался в небытие. Очнулся, высвободил руки, вялые и тяжелые. Сесть мешала сосновая плаха, нависшая над ним.

Подвигал ногами, разгреб кирпич. Потрогал себя. И обрадовался несказанно, что руки и ноги целы...

«А там уж как-нибудь, раз живой...» - была первая мысль. Губы потрескались, язык прилипал к небу, на зубах поскрипывала кирпичная пыль. Под руку попала сползшая на живот фляга. Долго вынимал ее. И одолел. Выпил всю воду короткими глотками. И вроде бы ожил. Кое-как выполз из-под плахи... Солнечные лучи проникали сквозь пробитую под содом дыру. Он приподнялся на локте... Заставил себя встать на ноги, подобрался к этой дыре. Потянуло запахом бензиновой гари и обгоревшего железа. Перед зданием продолжали дымить подбитые танки.

А на черном поле, будто только вспаханном, серели, как неубранные мешки из-под зерна, скатки шинелей на спинах бойцов, вмятых в землю. Чуть подалее, на другом краю поля, виднелись трупы врагов. Лежали кучно, как их настигли пулеметы.

Мише казалось, что развалины разбитых снарядами зданий, перепаханный войной двор — кучи земли, искореженного железа, горький, какой-то сырой дым и желтое, ящериное, ползучее пламя горящих танков — есть выражение его жизни, это ему осталось для дожития.

Он все вглядывался в черное поле. И уже не мог оторваться от него. Больно было смотреть. Ломило в глазах. А он смотрел. Что-то такое с ним произошло.

И все еще происходило. Вроде бы не стало его, прежнего Миши. Появился другой. Появился. Потому что не стало его товарищей, раздавленных танками.

Но их не стало совсем. А он только стал другим. Таким другим, что даже подумать невозможно. Он это — и вроде не он.

Ему все еще до конца не было ясно, что значат эти серые бугры на поле. Вернее, он не мог поверить. Что это мертвые бойцы его роты. Видел их, знал, что это мертвые, а поверить не мог... Сознательно старался отвести от них взгляд, но бугры все равно были перед глазами.

Те убитые, что ближе, на развалинах, - это другое. А на поле раздавленные — будто зверем растерзанные. И он сам мог там лежать...

Они были не умершие, а погибшие. Никто не бросит горсти земли в их могилы. И потому их не назовешь покойными. О них будут говорить так же, как и о нем самом, Мише Васильеве, который жил, когда были живы они, и ушел из жизни вместе с ними... Его охватил жутковатый холодок от мысли, что он тоже вместе со всеми «ними» теперь вроде бы как уже «был». Да и сам он сейчас отделял себя от того Миши, чувствуя, что теперь есть как бы совсем другой «он»...

Миша все вглядывался в усеянное трупами поле. «Вот всех я вас и помянул, и припомнил, - сказал он вслух, сближая в своем сознании расстояние между «были» и «есть». - Правдивой жизни были вы до смерти, что и говорить... Вечная вам память, пусть будет пухом вам наша земля».

Он вдруг почувствовал стесняющую неловкость, будто был чем-то непростительно виноват перед ними, перед погибшими, и перед всеми пришедшими сюда. Стоял и прислушивался к их разговорам (ему казалось, что он уже давно их слышит), и к шуму, и к гулу, и к стонам. Этот шум был более значим для него — и звал к чему-то, и тревожил, как зовут и тревожат шорохи ветра в верхушках леса в глухую непогоду.

Миша, уткнувшись в кирпич, снова впал было в беспамятство. Потом внезапно очнулся. Гудело в голове, ломило тело. Понял, что это от ран, от контузии. Он пополз среди развалин. На месте, где находился командный пункт, были одни руины — не стало ни командира, ни его помощника, ни ребят. Миша обнаружил лишь между каменными глыбами грязного котенка. Котенок был никудышный, ни о чем не просил и ни на что не жаловался, видимо считал, что грохот, голод, огонь и есть жизнь на земле. Задние лапы его были неподвижны, он полз на одних передних, спешил добраться к человеку.

Миша так и не мог понять, почему вдруг сунул котенка за пазуху.

Выбрался наружу. Тишина... В эту минуту он остро ощутил одиночество.

Казалось, не на второй день войны, а только вчера прощался с родителями.

Мать плакала, а ему трудно было ее понять. Перед тем как тронуться поезду, она заголосила вдруг истошно и тоскливо: «Сынок, покидаешь ты нас!..» - «Да что вы, в самом деле, - рассердился Миша, - на каких-то полмесяца отпустить от себя боитесь...»

Он считал, что все закончится в несколько дней, и старался как можно быстрее вырваться из родительских объятий, чтобы не опоздать на войну.

И вот она, война... Любуйся, солдат, она перед тобой, вокруг тебя.

Осмотрелся... Всюду только погибшие товарищи. Вот командир роты старший лейтенант Игнатенков лежит на спине и как бы вглядывается в небо. «А я искал его в развалинах». Здесь же, неподалеку, лежали, уткнувшись в землю, и его друзья — Андрей Пивень, Миша Анисимов.

Среди кусков взломанного снарядам асфальта у исковерканного танка лежал Мишин товарищ Коля Гришин.

Теперь, когда душа была полна живой надежды, вид этого тела поразил. Миша уже видел мертвецов, стал к ним безразличен, но это, полное вечной смерти, лежало по-птичьи беспомощное. Покойник поджал ноги, точно ему было холодно. Ему не стал нужен хлеб и оружие, он не хотел письма от матери. Он был самым слабым — мертвый воробышек, которого не боятся мошки и мотыльки.

Видно, вся рота, весь батальон poleg в этом бою.

Миша повесил на плечо автомат и пошел от развалин к лесу.

По дороге в сторону Выборга вражеские автомашины везли солдат, вездеходы тащили пушки. Миша притаился в окопе, через кусты рассматривал дорогу, не смея шевельнуться.

Была тишина и звон зноя, как летом в сенокос на притихшем лугу...

Приподнялся и опять увидел идущие по дороге танки. Идут без шума и выстрелов, словно по вате. Он удивился этому, но тут же понял, что не слышит... Из-за бугра навстречу танкам показалась пестрая толпа. Сначала замелькали головы, плечи... Гнали пленных. Человек сто, может больше... Люди эти не были уже похожи на бойцов. И Михаил глядел на них с отчаянием. Мысли были невеселые. Но он понимал: раз может двигаться, значит, надо что-то делать, а не только глядеть на дорогу.

Из слаженной колонны немецких танков неожиданно выделился один и направился в сторону дальнего окопа. Остановился на бугре, стал стрелять из пулемета. Миша поглядел в ту сторону и увидел мелькавшие в окопе каски двух бойцов. Танк и стрелял по этим каскам, как по подвижным мишеням. «Уходили бы, уходили в болото кустарником...» - стиснул зубы Миша от досады. Встал в полный рост...

Пулеметная очередь чиркнула строчкой по брустверу сбоку. Он пригнулся, отполз и снова выглянул. Бойцы выскочили из окопа, побежали к лесу. Танк на полной скорости пустился за ними. Они повернули было снова к окопу, но не успели. Миша видел, как танк, круто развернувшись, смял сначала одного, потом другого. Миша пополз к окопу, думая выскочить из него и перебежать к траншее. В конце окопа увидел трех бойцов с простреленными головами. Чтобы не перешагивать через трупы, он выскочил из окопа.

На бегу почувствовал резкий шум в ушах...Лязг гусениц, выстрелы. Будто он вынырнул вдруг из-под воды. Прошла разом глухота, и резче увиделось то, что происходило вокруг... Миша резко обернулся — танк мчался на него. Успел добежать до траншеи и упасть на дно плашмя.

Танк проскочил над ним. Затмило свет. Тело вжало в землю. Стиснуло с боков. Что-то вдавилось в спину, в позвонки... И вдруг свобода, свет. И первой пришла мысль не о гибели, а именно о свободе. О гибели подумать не успелось, как и при контузии.

Миша бессознательно лихорадочно пополз по траншее. Уткнулся головой в ящик бутылок с горючей смесью. И обрадовался, поняв, что теперь не беззащитен.

Когда танк развернулся, чтобы проутюжить траншею, он с бутылками бросился на него. Остервенело и безрассудно швырнул в броню две бутылки. Танк охватило пламенем... Открылся башенный люк. Третья бутылка угодила в крышку люка. Немец в пламени повис на броне.

«Выходит так, - возникла мысль, - что фашисты оставили нас у себя в тылу, не считая уже и за противника? Пренебрегая нами, «уничтоженными». Это они умеют. Научились в Европе...»

И еще была мысль, уже тревожная, что немцы торопятся к Ленинграду. Завтра утром вся эта армада, прошедшая мимо, - и танки, и пехота — кинется с ходу на штурм города. Могут даже и захватить, предположил он мучительно.

К полуночи движение на дороге прекратилось. Миша поднялся, огляделся вокруг, перешел дорогу. Прошел немного — ноги стали отказывать. Выломал палку... Идти стало легче. Отмерил триста шагов. Потом стало хуже.

Останавливался через каждые тридцать шагов. Дождется, пока утихнет саднящая боль в голове, а потом опять вперед. Но сделать и тридцать шагов вскоре оказалось ему не под силу, все чаще и дольше отдыхал.

Вспомнились чьи-то слова: «У каждого человека есть своя сила и еще немножко». Мужайся, солдат, обопрись на спасительное «немножко» - и вперед. Теперь, когда позади осталось столько мучительного и страшного, постарайся выжить. Слышишь, выжить!...

И еще полсотни шагов. «Здесь, на площадке, нам зачитывали приказ командующего: «Стоять насмерть», - вспомнилось Мише.

Огромная скорбь по погибшим друзьям наполнила его. Спрятавшись в кустах, он упал в траву и зарыдал безудержно, как ребенок.

Припомнился школьный выпускной вечер. Как они мечтали тогда о большой жизни! Как думали сделать ее красивой и счастливой! Когда это было?..

Казалось, еще только вчера.

Из кармана гимнастерки он достал уцелевшие документы. Среди них был и комсомольский билет лучшего школьного друга Андрюши Пивня, пробитый пулей и залитый кровью.

Миша вспомнил, как прощался Андрей с родными, как молчал. Куда девалось в ту минуту его остроумие! Он обнял мать, тихо сказал: «Не плачь, мама, через пару недель война кончится. И я обязательно вернусь. Вот увидишь, вернусь!

Ведь я всегда был счастливым!»

... Миша попытался подняться — и не смог. Всегда уверенный в своих силах, сейчас он лежал пластом.

Говорят, что матери на любом расстоянии чувствуют, что происходит с их детьми. Что думала в эту ночь Мишина мама? Он давно уже не имел известий из дому. Ленинград в блокаде, и родителям его, видимо, эвакуироваться не удалось. Как жили она теперь? «Пусть моих родных поддерживает надежда, что я жив и здоров, - подумал Миша. - Взглянуть бы ей на меня в эту минуту! Она бы наверняка заметила, как изменился за эти месяцы ее сын...»

Два с половиной месяца... Но они значили для Миши больше, чем вся предшествующая жизнь. Да разве только для него? Товарищи были не старше по возрасту: им едва исполнилось восемнадцать. Но какими взрослыми, умудренными жизнью были они, эти вчерашние мальчишки, для которых война явилась первым серьезным делом.!

Они относились к войне как к делу — тяжелому, опасному, но совершенно необходимому, в котором мало быть только храбрым.

Среди солдат в те дни ходил рассказ о двух политруках. Один перед каждой атакой обращался к бойцам с пламенными словами: «Умрем в бою! И пусть наша геройская смерть послужит примером для потомков!»

Потом он погиб. Пришел другой политрук. Перед очередной атакой бойцы слышали его слова: «Друзья, нам предстоит тяжелый бой. Я знаю, нет среди нас трусов. Каждый готов отдать жизнь за Родину, но мы должны победить и в следующем бою. Это фашистам надо, чтобы мы погибли раньше времени. А нам надо, чтобы погибли они, чтобы наша земля была свободной. Так будем жить для победы!»

Много смысла заключалось в рассказе о двух политруках. Умный, опытный человек звал бойцов бить врага, оставаясь недосягаемыми. Война требовала решения многих задач, главная из которых — как победить и одновременно уберечь как можно большее число бойцов.

...Небо было звездным. В кустах посвистывал ветерок. Завыли волки, хозяева этих лесов. Мише стало страшно.



Он присел и положил автомат на колени. Почудилось, что в кустах светятся волчьи глаза и лязгают зубы. А может это не глаза? Может, это звезды над самым горизонтом?.. «Это звезды», - успокаивал он себя.

Холод проникал внутрь. Миши ворочался, поджимал ноги, прятал руки в коленях. Одолевала лихорадка... Не то сон, не то бред.

Уснул... И во сне слушался прерывистый волчий вой. Появился отец. Он смотрел на него, потом, исчезая в ночи, крикнул: «Береги себя, сынок! Рановато тебе на войну-то, молод ты еще... У солдата должны быть сильные руки!» И вдруг... из кустов вынырнул волк. Миша наставил на него автомат. Но зверь не разевал пасть, не лязгал зубами, а, приблизясь, лизнул ему руку...

Очнулся в холодном поту. Звезды исчезли, утренний рассвет плыл над кустарниками. Где-то далеко прогремели артиллерийские залпы. И тут же резкие и сухие одиночные pistolетные выстрелы и короткие очереди из автоматов. Они гремели слева, справа, впереди, совсем рядом. Лопающиеся отдаются прямо в раскалывающей голове.

На лицо легла тень, и Миша услышал:

– Поднимайся!

Рядом стоял немецкий офицер с pistolетом в руке. Мишу поразили немецкая форма и русская речь. Такое могло только пригрезиться.

– Ну? - повел pistolетом офицер.

Значит, все наяву. И тут Миша понял, что означают те выстрелы, которые он только что слышал. Надо встать во что бы то ни стало. Они добивают тех, кто не поднимается...

Поднялся. Ноги подкашиваются, голова кружится. Потеряв равновесие, он снова упал в канаву... И все же заставил себя выбраться из нее. Офицер ждал. Его, видно, заинтересовало, чем закончится единоборство русского со смертью. Глаза немца сосредоточенно прищурены, он решает, жить или не жить этому залитому кровью человеку. Офицер считает себя справедливым. Если русский на последних шагах не споткнется, пусть живет.

Ну и живучи эти русские! Качнулся, но удержался. Стоит прямо, словно дает осмотреть себя от головы до ног.

Обыскали, связали, бросили в повозку. Она затряслась по проселку.

Потом втолкнули в автомашину, повезли дальше.

При въезде в поселок Миша успел прочитать табличку: «Хеймала».

Ночь провел в камере-одиночке. А наутро его повезли на допрос.

Форма офицера казалась странной для глаз, привыкших к миру гимнастерок и кителей Красной Армии. А лицо фашиста было обычным - таких желтовато-бледных лиц много и среди русских людей.

Отвечать на первые вопросы было легко, даже приятно, казалось, что и остальные будут такими же ясными, как очевидны фамилия, имя, отчество.

В ответах Миши чувствовалась торопливая готовность помочь фашисту.

Офицер ничего ведь не знал о нем.

Учрежденческий стол, стоявший между ними, пока что не разъединял их. Предварительных вопросов было много, и все спокойнее становилось военнопленному. Скоро дойдут они до сути, и он расскажет, как начал войну, как воевал и как чудом остался в живых.

Вот наконец стало очевидно, что сидевшее у стола небритое существо с раскрытым воротом изодранной, грязной, залитой кровью гимнастерки, с головой в кровавых бинтах имеет имя, отчество, фамилию, родилось в весенний день, русское по национальности, не участвовало в финской кампании, состояло в членах ВЛКСМ в течение четырех лет, окончило среднюю школу, неженатое, из семьи ИТР, орденов не имеет.

Напряжение души Миши было связано с мыслями об окружении, о вчерашнем бое, о погибшем командире, о людях, с которыми воевал. Кто из них уцелел, кто вырвался из окружения? Или все погибли? .. И внезапный вопрос, касавшийся уже совсем не его биографических данных, поразил Мишу.

- Скажите, что это была за часть, оборонявшая данное селение... в которой вы изволили служить?

Миша долго молчал, соображал, отвечать на этот вопрос или нет? Может, это военная тайна? Решил ответить:

- Батальон аэродромного обслуживания.

Фашист кивнул, точно ему было известно это обстоятельство. Потом вздохнул, раскрыл папку с надписью печатным шрифтом, неторопливо развязал белые тесемки, стал листать исписанные страницы, перекладывать фотоснимки, красноармейские книжки. Миша ясно видел на фото знакомые лица. Фашист медленно листал станицы — так студент-отличник листает учебник, заранее зная, что предмет проштудирован им от корки до корки. Изредка он взглядывал на Мишу. И тут уж он был художником, проверяя сходство рисунка с натурой: и внешние черты, и характер, и зеркало души — глаза...

Каким плохим стал его взгляд. Обычное лицо — такие лица часто встречались Мише перед войной — вдруг потеряло свою обыкновенность. Весь он, показалось Мише, как бы состоял из отдельных кубиков, но эти кубики не были соединены и не составляли человека. На одном кубике глаза, на втором — медлительные руки, на третьем — рот, задающий вопросы. Кубики смешались, потеряли пропорции, рот стал непомерно громаден, глаза были ниже рта, они сидели на наморщенном лбу, а лоб оказался там, где надо было сидеть подбородку.

- Предупреждаю: если хотите жить — говорите только правду, - поднимаясь из-за стола, сказал фашист. - Итак, по нашим сведениям, в батальоне, где вы служили, было не больше трехсот человек. Против вас двигалась целая дивизия. Скажите: на что вы надеялись?

Миша пожал плечами.

- Я просил говорить только правду! - назидательно повторил фашист.

- Об этом я как-то не думал. Мы защищали Родину, - откровенно сказал Миша.

Фашист свирепо посмотрел на него:

- Надо думать, молодой человек, когда берешь в руки оружие. По вашему недомыслию погибло много солдат великой Германии, а родину вы все равно не защитили, слишком мало было вас, чтобы выполнить эту миссию.

В комнату вошел офицер, старший по чину. Немец оставил Мишу, щелкнул каблуками, выкинул вперед руку:

- Хайль Гитлер!

- Хайль! - ответил вошедший и, повернувшись к Мише, ласково, вкрадчиво спросил: - Вас ист фюр мэнш?

Миша молчал. Он плохо знал немецкий и не понял его.

- С сопки, господин оберштурмфюрер, - доложил фашист.

Офицер взял Мишу за плечо, повернул лицом к себе. Снял с левой руки перчатку и резко, будто ударом, приподнял Мишин подбородок. Тут же склонился к его уху и сказал:

- О... Это интересно! Счастливчик?.. Повезло парню.

Миша был сбит с толку. Ласковая речь офицера не вязалась с его действиями.

Офицер подошел к столу, взял фотокарточки, стал рассматривать.

- Бедные, бедные мальчики! Жить бы вам да жить. - И уже в приказном тоне: - Вилли, оставь его. Отправь в лагерь... Такие парни нам нужны.

Пусть живет. - И добавил: - Если выживет...

Мишу посадили в кузов автомашины, по бокам уселись два автоматчика, и машина тронулась. Долгое время она неслась легко, по асфальту, затем, свернув в сторону, с надрывным воем пошла по разбитой проселочной дороге, ее мотало из стороны в сторону.

Под вечер въехали в какой-то лагерь. Большая голая поляна, на ней несколько приземистых, наскоро сколоченных бараков. Все это в несколько рядов огорожено колючей проволокой. Вокруг торчали вышки с охраной. Лагерь назывался «Сортировочный».

- Почему такое название? - спросил Миша.

Пленный, прибывший раньше, удивленно посмотрел на него:

- Здесь людей как скот сортируют. Самых сильных отправляют на работы. А таких доходяг, как я, оставляют здесь навсегда.

Тяжелый осадок оставил этот разговор на душе.

Скоро Миша понял, что вся его жизнь теперь зависит от того, попадет ли он в число пленных, которых используют на работах.

К нему подошли конвойные:

- Шнель! Шнель!

Железная дверь. Еще одна. Длинный сумрачный коридор. Третья дверь, решетчатая. Впереди и сзади грохотали сапогами охранники.

Звуки гулко разносились по коридорам.

Тюремная канцелярия. Мишу поставили вплотную лицом к стене. Руки по швам. В который раз обыскали. Дежурный по лагерю что-то записал в толстую черную книгу:

– распишись.

Кругом черные мундиры. Нашивки со свастикой. У стола здоровенный фашист с заложенными за спину руками.

Миша сделал шаг к столу.

Фашист привычным движением вынес руку из-за спины и наотмашь ударил его по лицу. Словно расписался в приемке военнопленного.

Мишу втокнули в барак, и он, оглядевшись в полутьме, казавшейся ему по началу тьмой, услышал негромкий смех.

– Здесь смеются сумасшедшие? - спросил он.

– Нет, - ответил хриплый голос. - Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

– Еще один бедолага попал в нашу конюшню.

Миша стоял у дверей и, жмурясь, чтобы привыкнуть к темноте, отвечал на вопросы.

Сразу же вместе со стонами, зловонием Мишу вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций...

Он хотел шагнуть внутрь сарая, но не смог. Нащупал в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказал:

– Прости, мальчик, я тебя ушиб?

Но мальчик ничего не ответил. Миша сказал в темноту:

– Может быть, вы подвините своего мальчугана? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла раздался истерический актерский хриплый голос:

– Надо было заранее дать телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Мужчина, чье лицо можно было различить в полумраке сказал:

– Садитесь возле меня, тут масса места.

Появилось множество желаний: добраться до щелки и подышать воздухом... помочиться... перевязать рану, снять заскорузлые бинты... и желание, жившее во всем теле, - пить.

Он услышал, как молодой мужской голос сказал:

– Современные немцы — дикари, они даже не слышали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

– А в итоге дикари запрятали нас в конюшню, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне?

Мишу выспрашивали о положении на фронтах. Так как он ничего хорошего не рассказал, ему объяснили, что его сведения неверные, и он понял, что в этой конюшне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

- Неужели вы не знаете, что Гитлеру предъявлен Сталинский ультиматум — в месячный срок убраться из России?

Да-да, конечно, это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум-оптимизм.

Вскоре интерес к Мише прошел, и он сделался путником, не знающим, что с ним будет завтра, таким же, как и все остальные. Имени и отчества его никто не спрашивал, фамилию его никто не запомнил.

Миша даже удивился: всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет. Его поражало, что в постигшем людей огромном бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Мужчина с мальчиком шепотом сказал ему:

- Посмотри на того буржуя: он сидит у щелки, как будто только ему нужно дышать кислородом. Врос в землю.

Ночью все вслушивались в скрипящие шаги охраны, ловили непонятные немецкие слова.

Ужасно звучал язык немца в ночные часы на русской земле, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Миша страдал вместе со всеми от голода и мечтал о глотке воды.

И мечта его была куцая, робкая, ему представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Он почесывался быстрым, коротким движением, как собаки вычесывают блох.

Теперь, казалось Мише, он понял различие между жизнью и существованием. Жизнь кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным, мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетело в решетчатое окошечко. Миша оторвал от своей рубахи лоскут и придвинулся к стене барака, и в том месте, где была небольшая щель, просунул его и ждал, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом он втянул лоскут обратно и стал жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам сарая люди тоже стали рвать лоскуты, и Миша ощутил гордость: это он изобрел способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Миша толкнул ногой, сидел недалеко от него и следил, как люди запускают тряпки в щели. В неясном свете Миша увидел его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет пять. Миша подумал, что за все время его пребывания в бараке с мальчиком никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Миша протянул ему мокрую тряпку и сказал:

- Возьми-ка. Паренек.

Тот молчал.

– Бери, бери, - говорил Миша, и мальчик нерешительно протянул руку.

– Как тебя зовут? - спросил Миша и услышал тихий ответ:

– Витя.

Сосед, отец мальчика, рассказал, что привез сына погостить к бабушке из Москвы, но война отрезала его от матери, вместо бабушки они угодили в гости вот в этот сарай.

Многие с надеждой ждали своей участи, считали, что отпустят их по домам, в худшем случае отправят в лагеря, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут в инвалидные бараки. Все почти непрерывно говорили об этом. А тайный ужас, молчаливый вой не проходил в душе.

Миша узнал, что не только человеческое живет в человеке. Ему рассказали, как немец исколол штыком беременную женщину только за то, что она влепила ему пощечину, когда он разорвал на ее груди рубашку. Ему рассказали, что немцы собрали в селе девушек-комсомолок, заперли в хлеве и сожгли заживо. Ему рассказали о людях, подобно крысам тайно живших неделями в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать, не угодить немцам в лапы.

Миша молчал: жизнь людей при фашизме невыносима, а люди — не святые, не злодеи, они всего лишь люди. Чувство жалости, которое сейчас испытывал Миша к людям в бараке, возникло особенно сильно, когда он смотрел на маленького Витю.

Мальчик, как обычно, молчал и сидел неподвижно. Изредка он доставал из кармана мятый спичечный коробок и заглядывал в него, потом снова прятал в карман.

Уже несколько суток Миша совершенно не спал, ему не хотелось. И в эту ночь он без сна сидел в зловонной темноте, слушал бормотания, вскрикивал и думал, что в спящих, воспаленных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами не передать. Как сохранить, как запечатлеть их, если человечество останется жить на земле и захочет узнать о том, что было?..

– Господи! Да что же это творится на свете! - закричал рыдающий мужской голос.

Прошлое как бы ушло от Миши за горы, далекие, недоступные. Но думы вернули к той жизни, которая осталась за теми далекими и недоступными горами.

Подробнее всего вспоминалось детство.

... В день рождения мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась абсолютно зловещей.

Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видны были оскаленная, красная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Миша. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка полянку, но понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

– Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, - и он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из «Книги джунглей».

Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Миша пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Миши была высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал на песчаном морском берегу, и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик, волны щекотали его тело. На горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она все нарастала, стремительно приближаясь. Миша лежал на теплом песочке, черно-синяя гора воды надвигалась на него. Это страшней волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу. Он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под консервов чашку молока, об этом знала худая кошка с тонким длинным хвостом, бледным носом и заплаканными глазами.

Однажды соседка сказала, что на рассвете приехали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава богу, наконец увезли в институт.

– Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно невысказано, забудь об этой несчастной кошке, - говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. - Как ты будешь жить на свете? Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела отдать его в детский летний лагерь. Он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

– Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь.

Когда мать везла его к бабушке, он в поезде почти ничего не ел, - ему казалось стыдным при всех кушать крутое яйцо или брать из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Мишей пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

– Задушишь, глупенький.

В воскресенье Миша пошел с бабушкой на базар.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд.

Миша увидел, как с подводы сталкивали тело убитого теленка с полуоткрытым бледным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой. Миша шел рядом и хотел ладонью помочь

курице поднять повыше бессильную голову, он поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Миша вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки — интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки — мещане и торгаши. Наверное, потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке, и бабушка стала что-то шептать ему на ухо. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудахтнула, потом старик сделал что-то быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо — она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы — бежало одно безголовое туловище, - старичок убил ее.

Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью Мише казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывается к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, а в самом деле, с невероятной очевидностью. Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, - она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя спрятаться. Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которые доступны лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

В то лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня и сколько веселой насмешливости в его улыбке и покрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, он влезал по шершавому стволу и дотягивался до ягоды. Теленку, привязанному на пустыре, он протягивал кусочек сахара и, окаменев от счастья, долго смотрел в глаза огромного младенца...

Потом мысли переметнулись к последнему предвоенному дню. Всего три месяца прошло с того памятного выпускного вечера. Школа вручала им аттестаты. Одноклассники собрались в поселковом клубе. Взрослые уже люди...

— Значит пойдешь в инженерно-строительный, Лена?

Андрей Пивень, Мишин товарищ, не мог в этот год поступить в институт. В его помощи нуждалась семья, и он собрался пойти работать в геологическую партию. А Лена?..

— Да, в инженерно-строительный... Вот начнутся возле нашего поселка разработки торфа. Народу наедет... сколько надо будет домов построить. Дворцов культуры! Целый город! Я и вернусь сюда.



Такие улицы спроектирую! И памятники красногвардейцам, что в Гражданскую войну погибли...

Расходились по домам утром, уговорившись встретиться в полдень на озере. Только их празднику суждено было закончиться совсем иначе...

Не хотелось Мише открывать глаза, но кто-то отчаянно тряс его за плечи:

- Проснись же, сынок!.. - В голосе матери звучали растерянность и страх. - Война, Миша!...

Наскоро оделся, побежал к Андрюше Пивню. Там уже были все его друзья: Ваня Кудряшов, Коля Гришин, Миша Анисимов.

- Махнем в райком комсомола, - предложил Миша. - В военкомате нам делать нечего. Уверен, скажут, что еще не доросли.

Коридор, кабинеты райкома, улица перед ним — все было запружено комсомольцами, пятнадцати-шестнадцатилетними мальчишками и девчонками, приехавшими сюда со всего района. Все рвались на фронт... Повезло только семнадцатилетним. Из них сформировали комсомольский отряд и направили на строительство аэродрома под Выборг. В отряд попали Миша и все его друзья...

Сейчас ему казалось, что все это было давно. Вот только друзья погибли недавно — вчера... нет, сегодня, сейчас... Он видит их, всматривается в их лица. Вот Андрюша. Он смотрит на Мишу с фотокарточки комсомольского билета, пробитого пулей и залитого кровью.

Миша вспомнил, как погиб Коля Гришин.

Танки, миновав низину, поднялись на высоту и остановились. В то же мгновение из-за брони бросилась на штурм пехота. Ребята открыли по ней огонь из пулеметов. За одним из них лежал раненый Коля Гришин. Не выдержав огня, фашисты залегли. По окнам стали стрелять из орудий и пулеметов танки.

Столб пламени и кирпичной пыли поднялся над тем местом, где лежал Коля. На него рухнули стоявшие рядом деревянные щиты. Коля выбрался из-под щитов, выскочил в окно и побежал прямо на танк. Все затаили дыхание.

- Готов! Нет больше Гришина! - закричал Миша, видя, как маленький Коля, широко взмахнув руками, упал на землю.
- Мо-ло-дец! Обманули фашиста! - радостно протянул командир, наблюдая, как Коля, извиваясь всем телом, нырнул в воронку.

Танк был рядом. Весь в крови, с черным от пороховой гари лицом, Коля выполз из воронки и швырнул под гусеницу танка гранату. Танк вздрогнул, описал на одной гусенице полукруг, остановился.

Через минуту Николай снова поднялся и потянулся ко второму танку. Но пулеметная очередь ударила в спину. Коля упал рядом с танком...

Вспомнив все это, Миша уткнулся лицом в пол и долго лежал с мокрыми глазами...

Утром следующего дня людей из барака погнали на лагерную площадь.

Словно ожившие мертвецы, опираясь на палки, на плечи товарищей, шли Мишины соотечественники. «Шнель, шнель!» - покрикивали конвойные.

Когда колонна построилась, началась проверка, потом — селекция. По рядам шныряли вахманы, сортировали пленных, отбирали наиболее слабых. Отбракованным на шею вешали желтую картонку. Когда отбор закончился, сохранивших силы снова загнали в бараки, бракованных — в крытые машины...

Такие проверки устраивались несколько дней, и с каждым днем людей в бараке становилось все меньше.

Мише повезло.

Оставшихся в живых погрузили на баржу и, прицепив ее к буксиру, поволокли по Финскому заливу...

Михаил невольно посмотрел в сторону бухты, подумал: суждено ли вернуться на этот берег?.. Ведь всему бывает конец: и силам человека, и самой жизни. Тут же остановил мысли: «Пока ты жив, думать только о живом...»

Впервые в жизни Миша попал в настоящий шторм. Баржа качалась и скрипела, ее подбрасывало кверху, швыряло из стороны в сторону.

Возле железного трапа, ведущего на верхнюю палубу, болтался спасательный круг. Мишу осенила мысль схватить его и выброситься за борт. Он даже не подумал, хватит ли сил ему добраться до берега. Правда, вода не ледяная, но ведь плыть-то сколько...

Осторожно, цепляясь за железные ребра корпуса, Михаил стал пробираться к трапу. Но возле самого люка неожиданно увидел немца: с автоматом на груди, тот держался за трап обеими руками. Миша замер.

Баржа внезапно накренилась, и его швырнуло в сторону.

Катер, буксировавший баржу, то зарывался носом в волны, то становился на дыбы. Миша ждал: вот-вот что-то произойдет — или судно рассыплется под ударами волн, или катер перевернется.

Ветер не утихал. По колено в воде, цепляясь за выступы, люди скользили по палубе, их бросало из стороны в сторону.

– Братцы, да что же это!.. Утопнем ведь... Айда наверх! - раздался громкий голос.

Люди бросились к трапу. Но у трапа дорогу наверх им преградил тот же фашист в мокром клеенчатом комбинезоне.

– Састрелю всех! - надрывно закричал он.

«Это не немец — финн», - подумал Миша. Он уже слышал такой выговор в лагере.

– Русские москали! Покатите вы у меня, вот стихнет ветер!..

Палуба, залитая водой, превратилась в пенистый водоворот. Миша увидел, как по палубе волнами швыряет пустую канистру, она с грохотом ударялась о борта. «Это же трап!» - догадался он. Придерживая канистру левой рукой, полез наверх по накренившемуся борту.

– Ну куда ты!.. - услышал сиплый голос. - И метра не проплывешь...

Волной о борт — крышка!

Миша обернулся: кричал коренастый матрос в бушлате.

Этот день в трюме был особенно тяжелым для Миши. Тучи нависли над Балтикой. Холодный ветер с дождем продирался в трюм через люки, наполняя баржу воем и скрипом. Оцепеневшие люди прижимались друг к другу. Самые говорливые притихли, прислушиваясь к вою ветра, к скрипу досок.

Стало темнеть, и казалось, что тьма пришла от невыносимой людской тоски, грязи, от бесконечной военной муки.

Миша стоял у борта, дрожал от холода.

Имел ли он право стрелять по фашистам, если в одной массе с ними был и командир?.. Почему он не попытался убить фашистского офицера, пленившего его, ведь в руках было оружие? Не хватило мужества?..

Почему? Эти вопросы бесконечной цепочкой лезли в голову.

Все в мире ничтожно по сравнению с тем, что он потерял. Все ничтожно по сравнению с правдой, чистотой маленького человека — и царство, раскинувшееся от Тихого океана до Черного моря.

С ясностью он увидел, что еще не поздно, есть в нем еще сила поднять голову, остаться сыном своей матери. Он не будет искать утешения, оправданий. Пусть то плохое, жалкое, подлое, что он сделал, всегда будет ему укором, всю жизнь день и ночь напоминает о себе. Нет, нет, нет! Не к подвигу надо стремиться, не к тому, чтобы гордиться и кичиться этим подвигом. Каждый день, каждый час, из года в год нужно вести борьбу за свое право быть человеком, быть добрым и чистым. И в этой борьбе не должно быть ни гордости, ни тщеславия — одно лишь смирение. А если в страшное время придет безвыходный час, человек не должен бояться смерти, не должен, если хочет остаться человеком.

«Ну что ж, посмотрим, - сказал он себе. - Может быть, хватит у меня силы. Мама, мама, твоей силы».

Вспомнил Миша слова старого человека, соседа по дому, провожавшего их на фронт: «Умирать стоит только за большое дело, например, когда надо пожертвовать своей жизнью ради других...»

Мало кто задумался тогда над его словами. Может быть, потому, что ребята и вовсе не помышляли о смерти. А может быть, потому, что эти слова не были для них новыми.

Сколько вскоре погибло Мишиных товарищей! И погибли они именно так — ради других. Жертвы, принесенные на алтарь победы... Жертвы... И герои. Герои, шагнувшие в бессмертие.

Героями были и Коля Гришин, и все, павшие на маленьком клочке земли русской. Они оставили свое мужество в наследство тем, кто появится на свет после победы. Оно было как эстафета, шедшая из глубины истории. Шторм прекратился внезапно. Ветер стал быстро стихать, треск и стоны железной посуды обрели ритм, тяжелые удары волн сменились мерной

и плавной пляской и постепенно перешли в мертвую зыбь. К берегам Эстонии буксир причалил поздно ночью. С рассветом пленных вывели на берег, построили в общую колонну и погнали по грязной разбитой дороге.

Рядом с Мишей шел его сосед по бараку, невысокий худой мужчина в гражданском, с сыном Витей. Когда мальчик уставал, отец поднимал его на руки, хотя и сам шел, еле переставляя ноги... Потом ему стало совсем плохо. Миша подхватил его под руку.

- Не меня, мальчика возьми. Я как-нибудь, - еле слышно сказал мужчина. Миша взял мальчика, мужчину поддержали товарищи, но он совсем был слаб.

Подбежал конвойный, вывел обессиленного из строя, и Миша услышал короткую автоматную очередь...

«Что же мне с ним теперь делать?» - подумал о Вите.

Миша шел в середине растянувшейся колонны и вел мальчика за руку.

Витя спросил:

- Дядя, а где мой папа?

Миша промолчал.

- Где мой папа? - настойчиво переспросил мальчик.

Пришлось отвечать:

- Заболел папа... Заболел, и доктор взял его к себе.

- Он скоро вернется?..

- Скоро... Поправится и вернется.

Мальчик не успокаивался:

- Зачем же мы идем, если папа остался? Я хочу к папе!..

Миша сказал:

- Ты поменьше спрашивай. Охранники злятся, когда мы разговариваем.

- Я больше не буду. - Витя перешел на шепот: - Они нас накажут, да?

Миша молча кивнул.

- За что, дядя? Я веду себя хорошо.

Михаил устало ответил:

- Потому что мы пленные, а они — фашисты, которых приставили нас сторожить.

Витя ненадолго замолчал, потом заговорил снова:

- Папа придет туда, куда ведут нас?

- Наверное...

- А скоро мы придем?

- Скоро, скоро... Еще немножко.

В полдень колонна вступила в деревню. Жители стояли по обочинам дороги, бросали пленным куски хлеба. Немцы злились, подходящих совсем близко к колонне толкали прикладами, но в жителей не стреляли.

- Я устал, не могу идти, - еле слышно сказал мальчик.

Миша поднял его на руки.

За деревней по обе стороны от дороги простирались поля. На них работали люди. Выбившись из сил, Миша поставил мальчика на землю.

Тот захныкал.

Болели ноги. В ботинки набился песок, тряпичные завязки стерлись, подметки отстали. Миша не смел остановиться, чтобы подвязать их. Фашисты не сводили глаз с колонны. Черные дула автоматов угрожающе смотрели на людей. Миша попытался утешить мальчика:

– Есть хочешь? У меня в кармане кусок хлеба. Буду давать тебе по кусочку.  
Хорошо?

Внимание Вити теперь было приковано к Мишиному карману. Миша совал руку в карман и отламывал маленькие кусочки. Мальчик быстро проглатывал их.

Хлеба хватило ненадолго. Михаил собрал крошки, хотел съесть, но мальчик протянул руку. Проглотив их, он заискивающе спросил:

– А еще есть, дядя?

– Нет больше, все.

Колонна прошла еще одно селение. Здесь сменился конвой, люди так же стояли вдоль дороги, сочувственно глядя на пленных, хлеб не бросали.

Старший конвоя объявил:

– За общение с военнопленными — расстрел на месте!

Миша снова попытался ободрить мальчугана:

Крепись малый, скоро привал. Осталось совсем немного.

Тот молчал.

– Слышишь? - нагнулся он к нему.

Никакого ответа. Больше идти Витя не мог.

«Что же мне с ним делать?» - растерялся Миша и снова взял его на руки.

Опять хуторок. Старушка, увидев парня с мальчиком, запричитала:

«Сиия, калликесед сиия-сиия! Перетай еко мне, после притешь са ним...»

Миша отпустил Витю... Думал, что он сам побежит к старушке. Но ноги мальчика совсем ослабли. Подняв его, Миша понес в сторону, к старушке:

«Будь что будет!» Сзади послышался окрик, но он не обернулся, сжался в ожидании выстрела. Немец пощадил его, не выстрелил. Перешагнув канаву, Миша отпустил мальчика на траву...

Михаилу казалось, что больше ни говорить, ни идти у него не осталось сил. Но он шел, хотя ноги еле переступали. Все идут, и ему надо идти.

Некоторым еще труднее, чем ему. Согнулись дугой и бредут...

Прошел вчерашний страшный день, пройдет и сегодняшний.

Большой город открылся взору. Западные окраины тонули в тумане. Темный дым далеких фабричных домовых труб смешивался с туманом, и шахматная сеть домов покрылась дымкой. Удивительным казалось соединение тумана с геометрической прямизной городских улиц.

На северо-востоке поднималось высокое черно-красное зарево,

казалось, что раскалилось сырое осеннее небо... Иногда из зарева вырывался стелющийся грязный огонь.

Колонна вышла на просторную площадь. Посреди площади на деревянном помосте, какие обычно выстраиваются в местах народных гуляний, стояло несколько десятков людей. Это был оркестр. Люди резко отличались друг от друга, так же как их инструменты. Некоторые оглядывались на приближающуюся колонну. Но вот седой человек в светлом плаще сказал что-то, и люди на помосте взяли за свои инструменты. Вдруг, показалось, робко и дерзко вскрикнула птица, и воздух, разодранный колючей проволокой и воем сирен, смердящий нечистотами, жирной гарью, наполнился музыкой. Словно теплая громада летнего дождя, зажженного солнцем, рухнула, сверкая, на землю. Люди в лагерях, люди в тюрьмах, люди, вырвавшиеся из тюрем, люди, идущие на смерть, знают потрясающую силу музыки. Никто так не чувствует музыку, как они. Музыка, коснувшись гибнущего, вдруг возрождает в душе его не мысли, не надежды, а лишь одну слепую, пронзительную жажду жизни.

Шумок прошел по колонне. Все, казалось, преобразилось, все соединилось в единстве, все рассыпанное — дом, мир, детство, дорога, жажда, голод, страх и этот вставший в тумане город, эта тусклая красная заря — все вдруг соединилось, не в памяти, не в картине, а в слепом, горячем, томящем ощущении прожитой жизни. Здесь, на предлагерном плацу, люди чувствовали, что жизнь больше, чем счастье, - она ведь и горе. Свобода не только благо. Свобода трудна, иногда горестна, - она жизнь.

Музыка сумела выразить последнее потрясение души, объединившей в своей слепой глубине все пережитое в жизни, радость и горе, с этим туманным утром, с заревом над головой. Но может быть, и не так.

Может быть, музыка была лишь ключом к чувствам человека. Она распахнула нутро его в этот страшный миг, но не она наполняла человека. Ведь бывает, что детская песенка заставляет плакать старика. Но не над песенкой плачет старик, она лишь ключ к тому, что находится в душе. Пока колонна медленно вычерчивала полукруг на площади, из лагерных ворот выехал черный автомобиль. Из него вышел офицер — эсэсовец в очках, в шинели с меховым воротником, сделал нетерпеливый жест, и дирижер, следивший за ним, сразу каким-то отчаянным движением опустил руки — музыка оборвалась. Раздалось многократно повторенное: «хальт».

Офицер пошел вдоль рядов. Он указывал пальцем, и колонновожатый вызывал этих людей из строя. Офицер оглядывал вызванных безразличным взглядом, и колонновожатый негромко, чтобы не помешать его задумчивости, спрашивал:

– Сколько лет? Профессия?

Отобранных оказалось около сотни человек. Миша был среди них.

Офицер пошел к машине, потеряв интерес к людям на площади. Отобранных построили по пять человек в ряд, повернули лицом к транспаранту на лагерных воротах: «Работа делает свободным», и погнали в санитарный барак. До них доносятся выкрики товарищей, они сами кричат им, а навстречу идет новая жизнь: полные электричества проволочные струны, бетонированные вышки с пулеметами, бараки, военнопленные «старички» с бледными лицами глядят на них из-за проволоки.

Бараки тянулись, образуя широкие прямые улицы. В их однообразии выжалась бесчеловечность огромного лагеря.

В миллионах русских деревенских изб не может быть двух неразлично схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь гложет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Территория Таллинского лагеря выглядела неожиданно живописно.

Цветочные клумбы с розами и гвоздиками, песчаные дорожки, окаймленные покрытым известью кирпичным поребриком. Среди клумб и газоном площадки с грибочками, покрашенными в зеленый цвет.

Привлекательную картину дополняли сверкающая голубизна осеннего неба и дым, приветливо тянувшийся из трубы лагерной кухни.

Из санитарного барака вышел офицер, за ним со списком в руках следовал старший конвоир. Оба остановились возле поребрика, конвоир подошел ближе к колонне, начал выкрикивать пленных по именам. Миша вошел в санитарный барак. У входа — красный крест на белом круге, одуряюще разило карболкой. Чем тут еще воняло, разобраться было трудно: уборной, тухлой пищей, хлоркой. Но самым отталкивающим был сладковатый запах гниющего мяса. Стены санитарного барака побелены известью. Больные лежали на дощатых двухъярусных нарах.

– Прибывшие, на осмотр! Живей! - приказал санитар.

Врач, молодой мужчина, сидел за столом

- Стисните зубы покрепче, - проговорил он. - У нас тут ни мам, ни няnek нет, - затем уложил Михаила на стол, содрал пропитанные кровью повязки. - Эге... - посмотрел в глаза, нахмурился. Молча смазал раны какой-то мазью, наложил старые, но уже постиранные повязки. - Следующий!..

Чувство пронзительной жалости охватило доктора с такой остротой, что он даже растерялся. Должно быть, эти худые детские глазастые личики, эта грязная, потрепанная одежонка вдруг с какой-то прямо-таки удивительной ясностью сообщили, что ведь это дети, ребята... В армии ребячье, человеческое скрыто под каской, в выправке, в скрипе сапог, в отработанных движениях и словах. А тут все было начистоту. Странно, что от всего сложного и тревожного груза сегодняшних мыслей и впечатлений самой тревожной оказалась эта встреча мальчишками -

вновь прибывшими военнопленными. «Живая сила, - повторял про себя доктор, - живая сила, живая сила.»

После осмотра санитар вывел прибывших во двор.

– Сейчас вам дадут поесть, - тихо, почти шепотом сказал он.

Принесли баланду. Миша не полез в толчею, он поднялся и стоял в сторонке. Когда раздают еду, голодному человеку не усидеть, даже если он смертельно устал. Но он может овладеть собой, надо только отвернуться от котла, приказать себе и ждать.

После обеда санитар повел прибывших по бараку. Они прошли вдоль длинного ряда нар, до отказа заполненных людьми.

– Вот твое место, - показал санитар Мише на нижний ярус. - Отдыхай, пока живой. - и ушел.

Кругом осунувшиеся восковые лица. Один бредил и метался.

К Мише на нары подсел верховодивший среди военнопленных офицер с двумя кубиками в петлицах. Все называли его Алексеем. Немного привалившись к Мише и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо заговорил о порядках в лагере, знакомил с жителями барака.

Не случайно, конечно, лагерный негласный закон определил, что Алексей всем всегда нужен. «Где Алексей? Алешки не видали? Товарищ Алексей!

Алексей сказал... Спроси Алексея...» К нему приходили из других барачков, вокруг его нар всегда движение. Доктор окрестил Алексея «властителем дум». Это был особенный человек. Все для товарища сделает — шинель зимой с себя снимет, последний кусок хлеба отдаст. Умный, образованный. И чистых пролетарских кровей — сын колхозника. Он то вдруг скажет словцо о том, как собирались воевать малой кровью на чужой территории, при этом с усмешкой глянет карим глазом. А через час — каменно-жестко отчитает усомнившегося, прочтет проповедь. А назавтра опять пошевелит ноздрями и скажет невнятно:

– Да, товарищи, мы летаем выше всех, дальше всех, быстрее всех — вот и залетели.

О военном поражении первых месяцев войны говорил умно, с какой-то безжалостностью шахматиста.

С людьми общался свободно, легко, с настоящей товарищеской простотой. Военнопленные, встречая Алексея у своих нар и слыша его любимую фразу: «Гитлер капут!» - улыбались, словно слова эти обнадеживали.

Удивительное было лицо у Алексея — простое, даже грубое, скуластое, смуглое, одним словом — мужское, и при этом уж до того интеллигентное и тонкое, куда там лондонцам да лорду Кельвину.

...До утра прибывших в лагерь больше не трогали, и у Михаила было время подумать о своей судьбе. Больше всего почему-то вспоминалась школа. Закрывал глаза и видел, как, например, однажды всем классом копали картошку. Работали дружно, с песнями, а когда проголодались, разожгли костер и испекли картошку.



Миша больше всего любил недопеченную, с хрустиком.

Он оборвал воспоминания. Надо думать о другом...

Как-то ездили с классом в Эрмитаж. Народу!.. После затяжного ненастья и прохлады установилась солнечная и жаркая погода. На вокзале была толчея. Озабоченные люди будто уезжали из города навсегда и боялись, что не сядут в поезд. Возбужденное состояние вокзальной толпы вспомнилось Мише много позже. А в ту минуту он не замечал посторонних... Видел только Свету и думал о том, что она обижена. А она сожаление свое, что остается дома, высказывала без огорчения, по привычке, как и другие делают в таких случаях. Но он все равно слова ее воспринимал с досадной болью. Света это заметила и как бы поддразнивая нарочно, дурачилась. Вся сияющая и счастливая, неожиданно спросила:

- Ты рад, что я остаюсь дома? - игриво склонила набок голову, заглядывая в глаза. Потом как-то сразу потянулась к нему, застыдилась своих слов, уткнулась в плечо...

Пока стояли в кассу в Эрмитаже, половина дня прошла. Потом ходили по залам с экскурсоводом. Проголодались!.. Обедали в кафе-автомате на проспекте 25-го Октября. Интересно: опустишь жетон — и тебе сосиски с гарниром!..

Ну вот, берег себя от воспоминаний о еде — и опять к ним. Память и та не слушается... А ведь в этих условиях человек может на что-то надеяться только при железном самообладании.

Но ему действительно очень хотелось есть. Из кухни доносился запах еды — казалось, пекли картофельные оладьи на постном масле, слышался стук жестяных тарелок, голоса людей. Боже, как ему хотелось есть! На обед давали какую-то бурду. Миша не доел ее и теперь жалел об этом.

Мысль о еде перебивала, путала другие мысли. И он опять перевел регистр воспоминаний.

...Однажды по осени отец заготовил в лесу колья из ивы, затесал концы, вбил в землю, соорудил изгородь вокруг сада. А весной из этих кольев проросли зеленые ветви. «Смотри, сын, какая сила у всего живого, - говорил отец. - Их срубили, а они опять ухватились за землю. В живом трудно убить жизнь...»

Неспроста вспомнились Мише эти слова сейчас. У него и у всех, кто рядом с ним в этом загоне, то же положение, что у тех кольев. Их срубили с корня, и тот, кому удастся уцепиться за землю, выживет. Пока человек жив — ему о живом и думать.

Утром вдоль длинных рядов нар, вытянувшихся от стены до стены, прошел врач, тот самый, гладкий, что делал осмотр вновь поступивших.

- Меня зовут Оскар Вески... Это для новичков, - произнес он негромко. - Я эстонец. Служил в армейском госпитале. Немцы разгромили госпиталь, и я попал в плен. - Нависшие брови придавали его взгляду и словам строгость. - Здесь я на равных с вами правах, ваш сосед по нарам.

Закончив обход, доктор остановился возле Миши, неподвижный, прямой.

Внимательно посмотрел на него:

- Из Ленинграда?.. - Миша молча кивнул. - Я жил там, очень долго жил, до самой войны, - сказал доктор и, немного помолчав, спросил: - Давно оттуда?

- Порядком... Устоял Ленинград-то? - спросил Миша.

- Как это «устоял»?.. Не смейте так говорить! Я запрещаю вам!.. То, что немец зашел далеко, так для него же и хуже. Длиннее дорога назад...

Такие мысли выбросьте из головы.

До поздней ночи доктор рассказывал о городе, превращенном в крепость, о девушках, копавших окопы, рвы и траншеи.

Вспомнил Михаил, как перед уходом на фронт бродил с друзьями по ночной набережной Невы. Между небом и землей проглянула светлая полоска, ветерок пробежал по Марсову полю, тронул деревья Летнего сада, за которыми были замаскированы зенитки. Вдали над городом поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных рыб аэростаты.

А днем было жарко. Летний запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом, и просторная Нева текла спокойно, поблескивая в лучах отраженного солнца. И дико было даже представить, что в какой-нибудь сотне метров отсюда немецкие солдаты рвутся к дворцам и зданиям, к Неве, к Ростральным колоннам и новому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами...

Доктор прошел на середину барака, громко сказал:

- Санитары есть среди вас?

Молчание.

- Ну а кто сдавал нормы на значок ГСО?.. Способные держаться, конечно, - добавил он.

- Есть такие, - слышалось с нар.

- Будете мне помогать лечить. Как и чем, я вам расскажу.

В бараке много лежало таких, кому требовалась операция. Почему первым на операционный стол доктор положил Мишу?.. Видимо, решил, что во время операции он сумеет сдержать себя, не закричит от боли и его пример поднимет дух других.

Что такое храбрость и трусость, Миша твердо не знал. Но он понимал, что выдерживает напряжение лишь потому, что в нем живут тишина и покой. Он мог есть, что-нибудь мастерить, вести о чем-либо разговор в такие часы, когда, казалось, возможно испытывать лишь бешенство, ужас или изнеможение. Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы оттаяны и безрассудны в бою они не были. Робость, трусость казались Мише временным состоянием, чем-то вроде простуды, которую можно вылечить.

С осторожностью, которой нельзя было заподозрить в его

красных волосатых лапищах, доктор снял покрытые запекшейся кровью бинты с Мишиной головы.

Жалок был набор хирургических инструментов: один пинцет, ложечка, скальпель да ножницы. Деревянный топчан на высоких ножках, обитый старой пятнистой клеенкой, служил операционным столом. Стараясь справиться с болью, от которой ныло, сжималось сердце, Миша лежал молча, крепко сжав челюсти.

После операции его отнесли на нары. И здесь, на нарах, еще долгие дни он вслушивался в протяжный стон из операционной. Как только мог, доктор облегчал страдания тяжелобольным, боролся за жизни людей... Но как ни старался доктор, а люди умирали. Подходил он к покрытому шинелью молодому парню, смотрел в лицо, глубоко задумывался. Потом, не поднимая глаз, проходил мимо нар, как будто был виноват перед людьми. Закрывал за собой дверь операционной и подолгу сидел в одиночестве.

И так ежедневно.

Миша смотрел на закрытую дверь. Хотелось чем-то помочь доктору, успокоить. И однажды он постучал, сперва тихо, потом громче, приоткрыл дверь. Оскар стоял у окна, немного сутулясь, крепко, монотонно выбавая пальцами дробь по стеклу, и не слышал, как Миша вошел. Вдруг он сделал шаг в сторону и прижался лицом к стене, раскинув руки...

– Что с вами, Оскар? - растерянно спросил Миша.

Доктор быстро обернулся:

- А... Извините!.. Ты хороший парень, Миша, и я с тобой могу поделиться... Люди мрут, люди, Миша... А немец, лагерарцт, мне целую лекцию прочитал о том, как важно перед едой мыть руки. - Доктор вынул из кармана шинели исписанные, цифрами листы бумаги и бережно положил их перед Мишей на стол. - Лечить нечем, - хриплым голосом сказал он. - Нечем, Миша! Умирают люди, а он мне о пользе мытья рук. Я ему заявки, рецепты, схемы вручил... И что ты думаешь? Только в одной соломе на нары не отказал. А в остальном — развел руками: «Не в мой компетенции».

Все чаще оставался Миша в операционной наедине с доктором. Все чаще стал приходиться к нему, и не только тогда, когда Оскар звал его. Все в докторе было большим — сидящая вихрастая голова, широкий лоб, мясистый нос, ладони, пальцы, плечи, толстая, мощная шея. И сам он, соединение больших и массивных частей, был большого роста. Странно, что в его крупном лице особенно привлекали и запоминались маленькие глаза: они были узкими, едва видимыми из-под набухших век. Цвет их был неясный, не определишь, чего в них больше — серого или голубого. Но заключалось в них столько пронзительного, живого и какая-то мощная пронизательность.

Казалось, веселые глаза случайно попали на угрюмое лицо.

А иногда они так умно смеялись, что становилось понятно: они-то, глаза, и есть суть доктора. А морщины, унылая, сутулая спина случайно присоединились к этим глазам.

Михаил смотрел на руки доктора, на то, как они держали стакан с чаем. Вроде обыкновенно держали. Тогда он вспоминал руки других. Сначала не замечал разницы, а потом увидел: легкость была какая-то в руках доктора. Будто чашка делалась частью его руки. У других не так... Это он точно знал. Они всегда «держали» в руках. А то, что держишь, может выпасть. А доктор мог только что-то «положить» сам из своих рук... «Знает ли это сам доктор? - подумал Миша. - Наверное, знает. Но как мне самому понять свои руки?..»

Вот когда Миша полюбил профессию врача. Вернее, понял ее. Да это даже и не профессия. Это, скорее, высокий долг одного человека перед другим, перед многими. Только у врача этот долг еще и профессиональный. «Врач — это выше профессии...» Он раньше как бы только догадывался, как слаб, беспомощен человек, если он сам по себе. А тут убедился в его бессилии, если нет рядом другого. Врач — это и есть помощник человеку во всем.

А потом Миша понял, что Оскар — талантливый хирург, «чудодей», как таких называли в больницах врачи, и сестры, и санитарки, и больные. Он почувствовал это после долгих разговоров с ним. А с больными доктор был неразговорчивым. Все внимание его было приковано к больному.

Ничего другого для него не существовало.

Миша понял и разгадал этого человека. И объяснил себе: врач от породы одержимых, тех, кто в прошлом уходили «в народ», чтобы просветить и помочь ему. Видя его духовную угнетенность, они робели, стыдились за себя, а не за свой народ.

Миша понял непреложную истину: такие люди не перевелись на Руси. И не переведутся. Они были и будут светочем, маяком человечности. Только время теперь другое. И народу они служат по-другому. Но сами остаются теми же — страдальцами в глазах других, не понимающих их.

Одержимыми. Но что же это за люди? И почему страдальцы?

Все еще находясь во власти впечатления, Миша спрашивал себя, есть ли у него силы, энергия и воля так же вот, как доктор, поступать. И сомневался в себе.

Тихо было в этой конуре и пусто, тонкие полоски света были на столе, на полу — свет пробивался сквозь щели закрытых ставень. Доктор сидел с опущенной головой в накинута на плечи шинели. Миша подсел к нему.

- Вот так возьмешь да и сойдешь с ума... - сказал Оскар. Потом вздохнул глубоко, добавил: Положение на фронтах ни к черту!.. Сегодня я немецкую газету прочел... Плохо, брат, очень плохо. - И снова тишина. Вдруг доктор как-то быстро откинул назад голову, распрямив широкие плечи, обнял Мишу и, улыбнувшись, сказал: - Все равно, Миша, ни черта у них не выйдет! Не одолеть им Россию...

Фашизм и человек не могут существовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный разумом и добротой, фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми... Запомни это, Миша, крепко запомни! Вот только парней наших жалко... Люди, люди гибнут!

Упоминание доктора о фронтовых делах вернуло и Мишу к тем дням, что остались за горами. Опять все сплывало воедино. Скрутилось, сбилось в клубок мысли и о войне, и о довоенных днях.

В довоенных — появлялось одно и то же утро.

...Речка была совсем близко, под косогором. Но они со Светланкой любили купаться на озере и пошли к нему.

Миша был ровесник Светланки, учился в доном с ней классе и часто бывал у них в доме. Светлане, девочке бойкой, почему-то очень хотелось опекать Мишу, застенчивого паренька. С третьего или четвертого класса она стала приглашать его домой. Спросила как-то за обедом, можно ли приходить Мише. Брат пошутил было, но отец его остановил. И Миша стал к ним приходить. Сначала — чтобы посмотреть книжки с картинками, краски, разноцветные карандаши. Потом они готовили вместе уроки. Первое время Миша стеснялся заходить в дом. Доходил до калитки, отнекивался. Света чуть ли не за руку тянула его. У нее был свой уголок, отгороженный досками в большой комнате, с окном в город. Когда ее мама приглашала Мишу к обеду или к чаю, он краснел и тут же уходил. Даже Света не могла его уговорить.

В старших классах Миша со Светой выходили на озеро, катались на лодке, удили рыбу. Светин брат поддразнивал их, называл женихом и невестой.

«Может, и правда зарождалась у нас любовь...» - мелькнуло слабым светлячком в Мишиных мыслях.

Только одно бревно осталось от мостков через ручей, которые они смастерили в прошлое воскресенье. Миша перемахнул по нему. Светланка пошла вброд... Как он запомнил ее в эту минуту! Она шла, как-то по-женски придерживая халатик, робко пробуя ногой песчаное дно. Полотенце соскользнуло с плеча, и она ловко поймала его над самой водой.

Они поднялись наверх к старой мельнице, обогнули ее — вот и озеро. Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его. Под ивняком была тень, и им казалось, что солнце стоит в нескольких метрах от берега. Как всегда, поплыли к песчаному острову и стали загорать там на отмели.

Оттого вспоминает Миша именно это утро, что уже на следующий день все их радости, их чувства и впечатления перечеркнула война.

Война вспоминалась короткими эпизодами, выхваченными их целых событий...

Началом было то поле с бугорками серых скаток на спинах мертвых бойцов. Отдельные эпизоды вихрем проносились в мозгу. Десятки раз он мог погибнуть, но вот не погиб, не убит...

...Отряд прибыл на место строительства аэродрома. Лес наполнился грохотом моторов, запахом керосина, звонкими голосами. А со стороны Финского залива все чаще и чаще доносились глухие раскаты артиллерийской канонады. По ночам на северо-западе поднималось багровое зарево. Фронт пробуждался медленно, и в первые дни, казалось, только пробовал свой голос.

По вечерам, после ужина, роты занимались боевой подготовкой: изучали пулеметы, автоматы, винтовку, ручные и противотанковые гранаты. До поздней ночи разбирали и собирали оружие, запоминали его устройство. После нелегкой работы и многих часов учебы валялись с ног. Но стоило только Анисимову сесть на пенек с баяном, как усталость забывалась.

Война все еще была для них далекой и какой-то нереальной.

Больше месяца отряд упорно трудился над строительством лесного аэродрома. И однажды наступил день, которого все ждали. Над лесом появился красноразвездный самолет. Он долго кружился над площадкой, почти касаясь крон высоких елей, затем пошел на посадку.

Все затаили дыхание:

– Хоть бы сел! Хоть бы сел!!!

Самолет коснулся земли и побежал по площадке.

– Ур-ра! - загремело над лесом, ребята кинулись к самолету.

Большекрылый, серебристый, он стоял в нескольких метрах от елей. На радостях ребята принялись качать летчика.

– Хватит, товарищи, хватит! Это вас надо качать. Это вы молодцы! - говорил летчик.

Это был праздник для ребят — аэродром, построенный собственными руками, вступил в строй. Роты построили на летном поле для принятия воинской присяги.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым...»

Командир поздравил с принятием присяги, с досрочным завершением строительства аэродрома.

Так они стали бойцами.

Как-то доктор спросил Мишу:

– Почему ты такой скрытный, подавленный?

В своем душевном мучении Миша не мог никому открыться, высказать свои мысли вслух. И сейчас, начав было, не смог говорить. Только прокрутил в голове бесчисленный уже раз весь эпизод боя в том авиагородке... «Что говорить, поймут ли меня?» Доктор не видел, как немцы крутили руки командиру, каким голосом он звал Мишу

на помощь — стрелять и по фашистам, и по нему одновременно. Такого словами не выскажешь...

В груди возник тугой ком, подступил к горлу. «Друзья погибли в том бою, командир убит с моей помощью, а я в живых остался. Да еще и в плену... предал погибших...», - вынес он себе приговор.

Эти же самые слова и хотелось Мише давно в доверительной беседе высказать кому-нибудь вслух. Вынуть их изнутри, излить душу. И вот не выговаривалось. Видимо, не имел права их высказывать. Так судить себя мог только он сам. Другие не поймут... Значит и говорить ни к чему.

– Нет, не могу я об этом... - выдавил Миша едва слышно.

Доктор сел на топчан, посадил Мишу рядом с собой.

Улыбнувшись сказал:

– Выкладывай, легче будет... Я пойму тебя, не бойся.

И Миша сдался. Не зная, как объяснить, что все его друзья погибли в бою, а он остался жить. Миша подробно рассказал доктору о том бое под Выборгом. Рассказывал, вспоминая все детали, будто они выходили из него, как выходят осколки из наболевших ран.

В конце августа часть, в которой служил Миша направили под Выборг, в местечко Маскиеми. К вечеру вереница машин остановилась перед воротами городка авиачасти. Среди лесистых возвышенностей располагался аэродром, построенный в 1939 году. На одном из холмов стояли кирпичные трехэтажные казармы. Вблизи через городок проходила шоссейная дорога.

Аэродром, расположенный по соседству с государственной границей, имел большое значение для советских войск. Роте предстояло замаскировать летное поле и соорудить укрытия для самолетов.

– Быстрее, быстрее, быстрее!.. - торопил ребят командир роты. - Отдыхать потом. Вот-вот нажмут тут немцы... По всему видать.

И ребята торопились. Каждый день отмечали на карте линию фронта, видели, как неуклонно напоздали синие отметины и все тоньше становилась полоса между красной чертой советской обороны и Ленинградом.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, неотвратимого движения.

А в небе от восхода до заката выли немецкие пикировщики, долбили землю фугасными бомбами. И в каждом жила колючая, жестокая мысль: что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искореженная железными зубами немецкого наступления.?

Через неделю аэродром невозможно было отличить от обычной местности. Однажды ночью Миша проснулся с тяжелым чувством близкой опасности. Он не сразу сообразил, что происходит вокруг, и только грохот артиллерийской канонады напомнил ему о войне.

Несколько минут он молча прислушивался, затаив дыхание. Артиллерийская стрельба была такой густой и мощной, что сливалась в сплошной грохот, напоминающий гул гигантского водопада. Не раз он слышал артиллерийские перестрелки. Однако то, что делалось сейчас, было иным. Пол колебался, стекла тихо дребезжали. Миша сел на постели позвал ребят. К его удивлению, Кудряшов сразу же отозвался, будто только и ждал, чтобы его окликнули:

– Что?

– Ты слышишь?

– А как же не слушать, - ответил мрачно Андрей Пивень, поднимаясь.

– Давно началось? - спросил Коля Гришин.

– А леший его знать... Я тилько что пробудився...

Так они просидели часа два. Вдруг грохот усилился настолько, что они одновременно повскакивали с кроватей и стали быстро одеваться. Вышли во двор. Стояла темная прохладная ночь.

– Гляньте вин туды! - воскликнул Андрей прерывающимся голосом, показывая на запад.

Вдали багровело зловещее зарево...

Несколько суток длился непрерывный, ожесточенный бой на маскиемском участке. Этот участок был для фашистов особенно важным — здесь проходила основная автомагистраль к Ленинграду.

На рассвете 28 августа в десяти километрах от аэродрома фашисты выбросили с самолетов крупный парашютный десант. Он повел наступление по автостраде в сторону Выборга. Началась срочная эвакуация аэродрома. Рота выстроилась вблизи летного поля.

– Все здоровы? - подойдя ближе к строю, спросил комроты старший лейтенант Игнатенков.

Молчание.

– Если кто себя плохо чувствует, пусть выйдет из строя.

Снова молчание.

– Так, значит, больных нет?

– Нет... Здоровы пока! - один за другим взброд ответили из строя.

– Тогда слушайте обстановку. Командование возложило на нас ответственную задачу: остановить движущийся по автостраде вражеский парашютный десант... продержаться до ночи, пока не закончится эвакуация.

И командир рассказал, что задача опасная, связанная с риском остаться в окружении... Он так и сказал: в окружении.

Минуту длилось молчание. Каждый думал о том, что придется ему испытать. Наконец командир произнес:

– Добровольцы, шаг вперед!

И на шаг ближе к нему придвинулись все до одного.

Рота заняла четыре кирпичных здания военного городка и территорию



холма. Из окон корпусов просматривалась вся автострада.

Передние склоны высоты были крутые, обрывистые, а дальше раскинулось ровное поле, за которым начинался лес.

Почти все пространство городка было замкнуто в приземистый четырехугольник массивных стен толщиной в три-четыре кирпича, построенных еще в восемнадцатом веке. Они казались неуязвимыми. Из подвалов домов наверх вели каменные лестницы со стершимися ступеньками. Закругленные углы здания с фонарями словно были созданы для наблюдательных пунктов.

Командир роты выбирал места для огневых точек, расставлял взводы.

Они тут же приступали к укреплению позиций. Носили бревна для пулеметных гнезд, закладывали окна, делали бойницы для стрелков и автоматчиков, рыли окопы и траншеи по всей территории участка обороны. В подвале организовали медпункт и укрытие для раненых. Там же был размещен склад боеприпасов.

Роте был придан артиллерийский взвод в двумя полковыми пушками.

Одно орудие установили при входе в подвал центрального корпуса, переделав дверь в амбразуру. Второе командир приказал установить в большом погребе. Бетонный погреб стоял на обрыве высоты в двухстах метрах от основных зданий. Заросший травой и мелким кустарником, он сливался с местностью. Из пробитой в задней его стене амбразуре хорошо простреливался западный склон высоты.

Взводные еще не успели разойтись, как послышался гул. Наблюдатель крикнул тревожно: «Воздух!» Отделенный подал команду: «По самолету!» Из-за деревьев в низком полете вынырнуло черное страшилище с крестами на крыльях. Сами эти кресты казались зловещими, несли смерть. Пулемет тут же длинной очередью поймал самолет. Затакали винтовочные выстрелы... Кто-то заметил на хвосте самолета дымок, когда он резко отвернул в болото, в «свою» сторону...

– За все время первый, - сказал отделенный. - Разведчик. Теперь жди. Вдоль всей обороны по головам пролетел...

Один этот отделенный, выходило, во всем батальоне и знал, что надо было делать с самолетом и как оценить случившееся. Такая досадная мысль мелькнула у комроты. И он сказал отделенному почти что по-граждански, не по-военному:

– Спасибо, молодец. Не растерялся... - И уже командирам взводов, молодым парням, как и он сам: - Так действовать надо!..

Стрельба по немецкому самолету вывела бойцов из состояния какого-то благодушия. Не появление самолета, а стрельба по нему. Все вдруг наконец осознали, что это война и нужно стрелять... Но что-то эта стрельба и нарушила

– Кто разрешил стрелять?.. Демаскировка! - обрушился на отделенного политрук.

Отделенный растерялся было. Разрешения действительно никто не

давал... Но тут же что-то в нем и взыграло. И он спросил:

– А кто запрещал?.. Стрелять по противнику?.. Когда война?!

И, пожалуй, сам только тут осознал, какая нелепость запрещать стрелять. Ведь настоящая же война! А они все еще не знают, надо или не надо на войне стрелять. Какие-то все очень мирные. Только в песнях готовы...

Минуту царило молчание. И отделенный опять решился сказать:

– А самолет подбили. Задымился и отвернул.

Рота строила оборону — по обрыву, перед фасадами зданий, копали траншеи. Комроты решил вырубить перед фронтом обороны кусты и пристреляться на местности. Мишенями расставил ящики из-под патронов. Многие бойцы забыли, когда стреляли. Опять последовал окрик. Кто-то все еще не мог отойти от канонов маскировки, выработанных на учениях. Комроты хотелось верить, что они не простоят тут долго. Перейдут в контратаку, как только передовые части измотают противника на этом направлении фронта.

К полудню впереди, километрах в трех, возникла стрельба. Последовали взрывы. По лесу докатился до роты близкий бой. От непривычного ощущения по телу Миши прошла мурашками дрожь.

Последовала команда быть готовыми.

Бой впереди на дороге вскоре стих...

Коля Гришин не сводил глаз с дороги, на которой должны были появиться фашисты. Каска Коле была велика и сползала на глаза.

– Скоро они, товарищ командир?

– Не терпится? - спросил Игнатенков. - каску поправь, так и просмотреть немудрено, - пошутил он, внимательно вглядываясь в лица солдат.

Ваня Кудряшов и Андрей Пивень с винтовками сидели у одного окна и тоже сосредоточенно смотрели на извилину дороги. Через два окна от них Миша Анисимов обтирал тряпкой приготовленный к бою пулемет. Когда Игнатенков подошел к нему, Миша признался:

– Нервишки шалят, товарищ командир. На душе легче, когда занят чем-то.

– А ты песню.... И себя, и других успокоишь. В руки баян — и песню.

Успеешь за пулемет встать.

– Есть взять баян!

Только успела рота закончить установку орудий и пулеметов, как вдали показались вражеские солдаты. Они шли скорым походным шагом.

– Без команды огня не открывать! - раздалась по фронту команда командира.

Участок обороны приготовился к бою.

Фашисты приближались. Вдруг вперед вырвались шесть мотоциклистов и на полной скорости устремились к городку.

– Откуда у них мотоциклы? - удивился командир. - На парашютах, что ли, сбросили?

Это были легкие, спортивного типа машины. Подпустив мотоциклистов

почти вплотную к решетчатой ограде детской площадки с брошенными ведерками и лопаточками, Игнатенков дал длинную очередь из ручного пулемета.

– Теперь держись, хлопцы! - снова раздалась по фронту команда командира.

Колонна парашютистов, заслышав треск пулемета, мгновенно рассыпалась. Но через несколько минут они цепью пошли в атаку. А из леса двигалась новая колонна. В первой насчитали около двухсот пятидесяти человек. Вторая колонна была не меньше.

Наблюдая за фашистами, командир только сейчас по-настоящему понял и оценил занятую его ротой позицию. Высота господствовала над всей местностью. Нелегко будет овладеть ею.

Немцы это тоже понимали. Подойдя к низине, они залегли полукругом, от них отделился человек с белым флагом. Поднявшись на высоту, он заговорил на русском языке, призывая сложить оружие:

– Если вы не сдадитесь, мы уничтожим вас!

В ту секунду Игнатенков дал предупредительную очередь из пулемета.

Пыль вздыбилась в нескольких метрах от парламентаря...

Миша лежал за пулеметом и видел, как поднялась цепь парашютистов, как пошли они, с автоматами на груди, как бежали к высоте. Вот он, враг, о котором читал Миша в книгах, которого видел в кино. Он смотрел на них, крепко сжимая ручки пулемета. Большие пальцы как-то сами сползали к гашетке. Он поджимал их, а они снова ползли. «Рановато еще, - успокаивал он себя, - еще нет команды». Все тело его пронизывал какой-то холодок.

Не выдержав напряжения, он поднялся.

– Ложись! - прикрикнул на него командир взвода. - Что, страх за горло берет?

– Берет, товарищ командир, дух перехватывает, - сказал Миша подавленным голосом и, снова припав к пулемету, добавил: Смерти страшно и убивать страшно...

– Ты трус, Васильев?! - И тут же более мягко командир поправился: Не паникуй. Спокойней...

Через несколько мгновений сотни автоматных очередей хлестнули по кирпичным стенам казарм. Парашютисты стреляли на ходу. Рота не открывала огня, пока они не приблизились почти к самой высоте. Тогда

Игнатенков в рупор прокричал гулким басом:

– Огонь!

Полоснули пулеметные и автоматные очереди, грянули залпы винтовок.

Ошеломленные силой огня, фашисты опешили, на какое-то мгновение остановились, но тут же, подгоняемые криками офицеров, снова ринулись вперед.

Когда немцам удалось миновать низину и вплотную приблизиться к склону высоты, ожил молчащий до сего времени погреб. Командир

орудия старший сержант Журавлев ударил по ним из пулемета.

Огонь прижал фашистов к земле.

Начался обстрел корпусов из минометов. Осколки изредка попадали в окна. Комроты приказал не отвечать. Через несколько минут фашисты с пронзительными криками снова бросились вперед по равнине.

– Огонь! - снова раздалась команда.

Немцы приближались, хотя вся местность прошивалась пулями. Они уже не бежали, как прежде, а ползли. Преодолели равнину и карабкались по склону высоты, стараясь быстрее войти в мертвое пространство...

Игнатенков перебежал от одной амбразуры к другой, давал указания командирам взводов, в самые критические моменты сам бросался к пулемету.

Продержаться до ночи — в этом заключалась победа!

Ближе всего немцы подобрались к крайнему, южному корпусу. Журавлев приказал открыть из орудия огонь шрапнелью. Наводчик Саша Петров неторопливо наводил орудие и после каждого выстрела, прикрыв глаза рукой, внимательно следил за разрывом снаряда, делал поправку на углемере.

В самый критический момент, когда казалось, что погреб вот-вот будет захвачен, Игнатенков приказал направить туда огонь из второго орудия.

Немцы откатились назад, на поляну. И тут пулеметчики взяли их под перекрестный огонь.

Вскоре парашютисты выдохлись. Им недоставало сил, чтобы опрокинуть заслон, словно вросший в кирпичные стены.

Игнатенков собрал командиров:

– Надо дотянуть до ночи, а там попытаемся уйти.

Во дворе, в просвете между деревьями, показалась чья-то маленькая фигурка.

– Глянь, Васильев. Цыганок наш, Вовик! - обрадованно крикнул Анисимов.

Вовик шел не торопясь, прихрамывая на одну ногу. Его сильно полинявшая от воды и солнца гимнастерка была разорвана, а круглое чумазое лицо все в ссадинах и синяках. Он юркнул в ближайший подъезд и исчез. Ребята побежали ему на встречу.

– Здравьете вам! - поздоровался он со встречавшими и, увидев Мишу Васильева, бросился ему на шею.

– Здравствуй, Вовка! Где ты так поцарапался?

Вовик болезненно сморщил лицо, молча махнул рукой.

– Садись на бочку, - сказал Миша, видя, что Вовик едва стоит на ногах. - Все-таки разыскал нас?

– На-ка вот водички попей, - предложил Кудряшов, и Миша заметил по его сверкающим глазам, что он рад Вовику. Да и Миша не меньше обрадовался.

Вовик сел, смахнул с лица капельки пота и сказал:

– Ночь и день шукал вас... Чуть живой остался.

Всех немцы разбомбили... И дядю комбата тоже.

Вошел Игнатенков. Он подробно расспросил Вовика, что произошло с батальоном, как он сумел найти заслон, что видел в пути, когда пробирался сюда. Потом, обращаясь к Кудряшову, сказал:

– Ваня, накорми Вовика посытнее и немедленно пробирайтесь с ним к Ленинграду.

– Т-ю-ю-ю... Дядя Костя, я не пойду, я с вами! - крикнул Вовик.

– Ты хочешь стать бойцом заслона? - строго спросил парня командир.

– Хочу! - с готовностью воскликнул Вовик.

– Хорошо. Я зачислю тебя в заслон, и выполняй мой приказ: вместе с бойцом Кудряшовым добраться до командира нашего батальона и доложить ему, что у нас все в порядке.

К концу дня в роте осталось не больше сотни бойцов, способных держать оружие. Игнатенков был страшен: лицо серое, волосы вкочлены, полы шинели пробиты пулями. Заслышав хриплый голос командира, бойцы чувствовали себя так, будто к ним подошло подкрепление.

При очередной вражеской атаке тяжело ранило Мишу Анисимова.

Прильнув щекой к пулемету, он остервенело жал гашетку. В это время пуля пробила ему грудь. Коля перевязал рану. Миша стонал. Нужно было отвести его в подвал. Коля оглянулся, чтобы позвать кого-нибудь, и увидел Ваню Кудряшова.

– Ваня, а где же Вовик? - удивился он. - Вы разве не ушли?

– Дороги и тропки перекрыты. Похоже, что нас окружили, - ответил Ваня. Взяв у погибшего солдата винтовку, цыганок встал к окну рядом с Ваней...

Отбив очередную атаку, бойцы постепенно успокаивались. Пили тепловатую воду, крутили сигарки, глубоко затягивались табачным дымом. Каждый понимал, что это еще не все, что многим из них суждено остаться здесь.

Вечером на землю опустился туман. Сначала он растекался тонкой пленкой, потом слой начал утолщаться. По подсчетам, у немцев уцелело не более ста пятидесяти солдат. Часть их находилась на северном склоне высоты. Заняв его, фашисты перекрыли кратчайший путь отхода к лесу. Погибших ребят перенесли в подвал. На переднем крае их не похоронили, убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, ели хлеб, пили из котелков сырую воду.

К командиру второго взвода лейтенанту Цветкову подошел цыганок. Он нагнулся, чтобы смахнуть песок с пилотки, лежавшей на лице лейтенанта.

И Миша увидел, как он погладил пилотку.

Игнатенков обошел бойцов, осмотрел раненых и, приказав позвать старшего сержанта Журавлева, прошел на наблюдательный пункт.

Наступила ночь. Потянуло прохладой...

Странное чувство охватило людей: хотелось потрогать себя за лицо, пощупать одежду, пошевелить пальцами в сапоге. Немцы не стреляли, стало тихо. Тишина вызвала головокружение. Людям казалось, что они опустели, что замирает сердце, как-то по-иному шевелятся руки, ноги. Странно, немислимо было есть кашу в тишине, в тишине писать письма, проснуться ночью в тишине. Тишина породила множество звуков, казавшихся новыми и странными: позвякивание ножа, шелест страниц записной книжки, скрип половицы, шлепанье ног, скрип пера, щелканье оружейного предохранителя и даже тиканье наручных часов.

– Погляди, Миша, ночь-то какая! - восторженно сказал Ваня Кудряшов. - Знаешь, я еще в школе учился, картину такую видел: стоит луна над полем и кругом лежат побитые богатыри... Точь-в-точь как у нас под окнами.

– Что ж тут похожего, - рассмеялся Коля Гришин, - то богатыри, а мы то, воробьиного рода, наше дело телячье.

Пришел Журавлев.

– Что там у тебя? - спросил Игнатенков у Журавлева. - На склоне много засело?

Журавлев доложил:

– Не достать мне их в ложбине-то... Ни картечью, ни пулеметом. Как крысы по щелям забились.

– Попытаемся прорваться, - сказал командир. - Как только я дам команду, откроешь огонь по северному склону. Прорвемся — подождем в лесу... Через час Игнатенков вывел роту из зданий и окопов. Забрали раненых и документы убитых. Под покровом тумана медленно поползли к обрыву. Игнатенков условным знаком приказал готовиться к броску. Как хорошо, какое счастье участвовать в битве за родину! Как томительно, ужасно подняться перед смертью в рост, не хорониться от смерти, бежать ей навстречу. Как страшно погибнуть молодым. Жить-то хочется. Нет в мире желания сильнее, чем сохранить молодую жизнь. Это желание не в мыслях, оно сильнее мысли, оно в дыхании, в ноздрях, в глазах, в мышцах, в гемоглобине крови, жадно пожирающем кислород. Оно настолько громадно, что ни с чем не сравнимо, его нельзя измерить.

Страшно. Страшно перед атакой.

– Вперед! - разорвала тишину команда.

Забрасывая фашистов гранатами, горстка в сотню человек — все, что осталось от заслона, - бросилась вперед.

Среди грохота пальбы и разрывов доносился чуть слышный протяжный звук: «А-а-а-а!...» В этом протяжном крике поднявшихся в атаку людей было не только грозное, но и нечто печальное, тоскливое.

«А-а-а-а!» - разносилось над возвышенностью... Боевое «ура», пройдя над холодной ночной землей, под звездами холодного осеннего неба,

словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое — не задор, не лихость, а печаль души, словно прощавшейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата...

На склоне высоты немцы были разгромлены. Но лощина встретила атакующих таким плотным огнем из автоматов, что атака захлебнулась, рота прижалась к земле и, чтобы не растрачивать попусту силы, отошла к корпусам.

Канонада на границе стихла. Теперь с минуты на минуту следовало ожидать основные вражеские силы. Надо было под покровом темноты все же попытаться счастья в другом месте.

Положив тяжелораненых на носилки, снова двинулись к лесу с восточной стороны казарм. Но едва прошли несколько десятков метров, как с опушки затрещали автоматы.

– Ложись... - чуть слышно скомандовал Игнатенков.

Бойцы бросились на землю и поползли в обратную сторону, рассчитывая добраться до леса справа от шоссе. Но и там их встретили пули.

– Отходить к корпусам! - раздался голос командира.

Все снова вернулись в казармы. Игнатенков собрал командиров взводов и отделений:

– Немцы окружили нас, и нам не выбраться отсюда. Теперь драться до последнего... Иного пути нет. Зайдем круговую оборону. - И, обращаясь к Журавлеву, добавил: - Орудие из погреба перекатите в крайний корпус. В погребе оставьте двух бойцов с пулеметом.

Люди верили командиру, надеялись на него. А на кого было ему опереться? Помощь не пришла, и ждать ее теперь неоткуда, пробиться невозможно.

Ребята долго не могли прийти в себя. У всех были суровые, изменившиеся лица. Много курили, пили воду. Пили с жадностью, но никто не притрагивался к еде.

– Вы как хотите, а я залягу вздремнуть, - сказал Андрей. Он расстелил на полу плащ-палатку, завернулся в нее и, положив под голову ситор, закрыл глаза. Вскоре он уже похрапывал.

– Здоров спать! - удивился Миша.

– Намайлся, - только и ответил Ваня Кудряшов.

Помолчали, затем, шелестя плащ-палатками, стали укладываться на отдых и другие.

Все вокруг притихло, замерло. Кто не спал, лежал молча, глядя на редкие вспышки вражеских ракет... Ни о войне, ни о безвыходном своем положении они не говорили. Надо было использовать затишье, хотя бы на часик-полтора уснуть, набраться сил. Но мысли о доме, о родных, товарищах мешали спать. Мысленно Миша побывал с своим доме, школе.

Потом долго говорил с комсоргом школы, стройной и большеглазой Светланкой. Он ее часто вспоминает. Письма от нее аккуратно завернул в целлофан и хранит вместе с комсомольским билетом. Здесь же, в кармане, и ее фотокарточка. Хочется взглянуть на нее, но это невозможно: в помещении совсем темно.

Увез он из дома и память о прощании с матерью, отцом, сестренкой в светлый летний вечер. Застучали колеса, ударил в открытую дверь вагона ветер, завыл, подхватил непокрытые волосы.

«Надо спать», - решает Миша. Но сосед Ваня Кудряшов ворочается и что-то бормочет вполголоса.

Казалось, все силы души Миша потратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Ваню, надо было повернуть голову, но Миша не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду», - подумал он.

– Чего не спишь? - спросил он Ваню.

– Мать... Слабенькая она у меня, часто хворала. Писем что-то нет.

– Пришлет...

Помолчали

– И цыганка жалко. Хороший парень, сгинет тут... Пуля-то ведь дура, не разбирается.

– Может, обойдется.

Снова помолчали.

– Ну а ты чего не спишь? - в свою очередь поинтересовался Ваня. - Или комсорг школы спать не дает?

– Вспомнил и ее... Знаешь, Ваня, чувствую я, словно бы другим человеком стал. Вспомнится что-нибудь — и кажется, не я это был, а кто-то другой.

Вот вспомнил, как первый раз на вышку лазил, и не верю, что я таким был... Рассказать? Тебя тогда не было.

– Валяй!

– В выходной как-то собрались поехать на озеро. Ну, загорали, купались, а потом кому-то в голову пришла идея — забраться на спортивную вышку.

Все прыгнули, а я оробел. Посмотрел вниз и не смог решиться. А товарищи уже плавают, кричат мне, поторапливают. А я как истукан стою и не знаю, что мне делать-то. И все же не стал прыгать. Этак

осторожненько спустился на землю. А ребят нету. Ушли. Сел я на попутную машину — и домой. Ладно! На другой день выхожу гулять, а ребята стали подтрунивать надо мной... А тут еще Светлана... прихожу к ней домой звать ее в волейбол играть. А она отказалась. И так мне обидно стало. В следующее же воскресенье поехал к озеру и раз семь с вышки прыгнул. И все вниз головой. Вот я теперь и думаю: на пустяковом деле струсил, а здесь, на войне, вроде не хуже других...

– Конечно, не хуже, - согласился Ваня. - Я вот я — наоборот. Ты же знаешь, дома был такой выносливый, такой настырный, а здесь чуть что — и



скисаю.

Помню, как с Галей Волхонской ночью поездом в Ленинград ехали. Сначала сидели, разговаривали, ничего. А потом стал сон одолевать. Галя положила голову мне на плечо и уснула. И вот я, чтобы не потревожить ее, сидел по команде «смирно» и за всю дорогу не шелохнулся. Самое тяжелое было до половины дороги. Думал: «Выдержу ли?». Если выдержу — наверняка полюбит». Выдержал. Когда поезд остановился в Ленинграде, веришь, я не мог даже подняться с места — ни согнуться, ни разогнуться. А здесь не то. На какой пост поставят — смены не могу дожидаться. Что-то так и подмывает... как на пожар спешу куда-то.

– Не клевети на себя. Парень ты что надо. А разницы никакой. Что до войны, то и сейчас.

Застонал Анисимов:

– Водички бы холодненькой...

Миша вскочил, побежал с котелком к бочке.

Поднялись и остальные. Не тревожили только цыганка. Он лежал на охапке сена, закутавшись в плащ-палатку, и крепко спал.

На фронте для солдата время на сон не предусмотрено. Остаток ночи собирали пригодное для стрельбы оружие, набивали патронами пулеметные ленты. Кирпичами закладывали окна, оставляли лишь мелкие бойницы. Некоторые, примостившись у зажженной свечи, писали письма в надежде, что когда-нибудь они найдут адресата. Наутро предстоял тяжелый бой. Скорее всего — последний...

Миша написал матери и теперь медленно выводил строчки Светлане. Вырвав из блокнота лист, Кудряшов тоже подсел к Мише. Принялись за письма и Коля с Андреем.

Первая половина ночи прошла спокойно. После полуночи небо затянуло тучами, заморосил мелкий холодный дождик. Воспользовавшись темнотой, фашисты подобрались в погребу, в котором Журавлев оставил двух пулеметчиков. Ребята проморгали немцев и поплатились за это своими жизнями. Блиндаж заняли фашисты. Вскоре, установив в нем станковый пулемет, они открыли по корпусам огонь трассирующими пулями.

– Эх, ребяташки, проморгали! - чуть не закричал Игнатенков. - Теперь попробуй-ка выбей их оттуда.

– Разрешите мне, - обратился Миша к Игнатенкову.

– Сначала разберись, где ребята, - как бы вместе с немцами своих не подорвать.

– Постараюсь...

– Вдвоем идите. Напарника подбери сам.

– Я пойду, - просовывая голову под ремень автомата, сказал Коля Гришин.

Приготовили по две гранаты и вышли во двор.

– К погребу пойдем с двух сторон, - предупредил Миша Колю. - Ты слева, я

– справа. Ударим одновременно. Следи за моими движениями. Их сразу охватила темнота. Но только на минуту. Едва прошли завалы, как в трех метрах взвились ракеты, ярко осветив огромную площадь, покрытую кирпичным щебнем, воронками от мин. И подступы к высоте были освещены ракетами, вспышками взрывов и тоже казались пустынными. Свет то мерк, то разгорался, секундами ослепительно вспыхивал. Миша всматривался в пологий скат высоты, изрытый траншеями, в громоздившиеся вдоль реки груды камня, они выступали из тьмы и быстро вновь уходили во тьму.

Громкий голос медленно, веско пел:

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,  
Идет война народная, священная война...

И так как людей внизу и на скате не было видно, а все кругом — и земля, и река, и небо — было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, без людей, катит пудовые слова.

– Большую воронку видел? - спросил Миша Колю, когда ракета с треском шлепнулась на землю.

– Ага...

– Держи пока на нее.

Коля сдвинул автомат на спину и пополз по-пластунски. Первые полсотни метров были преодолены успешно, если не считать, что при очередной вспышке ракеты Коля ткнулся в кирпич и ободрал себе лоб.

Вскоре подполз и Миша:

– Ну как?

– Порядок, - ответил Коля и пополз дальше.

До воронки было рукой подать. Когда в небо вновь взвилась голубоватая ракета, Коля не замер на месте а, наоборот, еще энергичнее задвигал руками и ногами, чтобы скорей очутиться в воронке. Он едва добрался до края, как над головой засвистели трассирующие пули: уить, уить, уить.

Коля бухнулся в воронку.

Дальше они двигались очень осторожно, но немцы все же заметили их. Друзья замерли на минуту, потом поползли быстрее. Спустя секунду они были уже за спасительным кустарником и, пригнувшись, несколько метров пробежали вдоль него. Пулемет немцев продолжал бить по кустам, срезая ветки и скашивая высокую пахучую траву. Впереди канава.

Она-то и спасла им жизнь. Друзья бросились в нее и переждали, пока успокоится вражеский пулеметчик.

Стало светлее. Сквозь разорванные тучи временами проглядывал лунный серпик. Над головами посвистывали пули. Фашистов не было видно, и только короткие вспышки выстрелов указывали их расположение.

Погреб рядом. Гребень его ясно темнел на фоне неба. Отчетливо теперь доносились голоса фашистов. Заметив ложбинку, Миша вполз в нее, положил перед собой гранаты. Коля пополз левее. Внимательно

осмотревшись, Миша увидел поблизости два трупа, как ему показалось, в красноармейской форме. Он пополз к ним. Это были бойцы Журавлева. Расправившись с ними, немцы, видимо, выбросили тела из погребка.

Над головой повисла ракета. Из погребка снова затарахтел пулемет. Миша вскочил и изо всех сил швырнул в амбразуру противотанковую гранату. Раздался взрыв, дождем посыпались комья земли. Не успела она осесть, как раздался второй взрыв. Миша облегченно вздохнул: молодец Коля!

Издали красные груды кирпича казались огромными клочьями дымящегося сырого мяса. Серо-зеленые немецкие солдаты, возбужденно и быстро жужжа, перебежали среди кирпичных глыб разрушенного погребка.

В ответ на нанесенный удар немцы открыли мощный огонь из минометов по площади, на которой лежал Миша. Казалось, земля сама по себе извергала молнии, грохот, дым и красную пыль. Застигнутые обстрелом, Миша с Колей кинулись в сторону ничейной земли. Расстояние между ними и немецким расположением было так невелико, что часть удара пришлось по фашистам. Повалились в глубокую яму на сырое, липучее дно. В яме тьма была тройная, сплетенная из тьмы ночи, из дымовой и пыльной тьмы, из тьмы глубокой могилы.

Сплошной взрыв не мог длиться долго, таким сверхнапряжением был полон он. Но время шло, а ревуший грохот не ослабевал, и черная дымовая мгла, не светлея, а наливаясь, все прочней связывала землю и небо.

Миша нащупал Колину руку и пожал, и ответное доброе движение на миг утешило его в этой незасыпанной могиле. Близкий взрыв накидал в яму комьев земли и каменной крошки. Куски кирпича ударили Колю по спине. Тошно стало им, когда земля пластами поползла по стенам ямы. Вот она, яма, в которую человеку пришлось залезть, и уж не увидать света: немец с неба засыплет, заровняет края.

Время потеряло свой плавный ход, стало безумным, рвалось вперед, как разрывная волна, а то вдруг застывало, скрученное в бараний рог. Но вот люди в яме приподняли головы — над ними стоял мутный полусвет, дым и пыль уносило ветром... Земля затихла, звуковой сплошняк распался на отдельные взрывы. Муторное изнеможение овладело душой. Мише казалось, что все живые силы выдавлены из нее, осталась одна лишь тоска.

Он приподнялся — подле него лежал покрытый пылью, изжеванный войной с пилотки до сапог немец. Миша растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, руку немца он спутал с Колиной рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба они были беспомощны перед ней, она не защищала никого из них, а одинаково угрожала и одному, и другому. Они молчали, два военных жителя. Совершенный и безошибочный автоматизм — убить, которым

оба обладали, не сработал.

А Коля сидел поодаль и тоже смотрел на заросшего щетиной немца. И хотя он не любил долго молчать, сейчас молчал. Жизнь была ужасна. В глубине глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в яму, вдавившая лицами в землю, будет ждать не только побежденных.

Они, словно договорившись, полезли из ямы, подставляя свои спины и головы под выстрелы, непоколебимо уверенные в своей безопасности. Коля поскользнулся, покатился вниз, ругая и проклиная белый свет, куда все же снова упорно полез. Миша и немец вылезли на поверхность, и оба посмотрели — один на восток, второй на запад, - не видит ли начальство, что, вылезая из одной ямы, они не убивают друг друга. Не оглянувшись, пошли каждый к своим укрытиям по перепаханной и еще дымившейся земле.

После этого случая у Миши стали сильно дрожать руки. Поднося кружку ко рту, он расплескивал воду, а иногда вынужден был ставить кружку обратно на стол, чувствуя, что дрожащие пальцы не в силах ее удержать. Пальцы переставали дрожать лишь после того, как он поднимался и пил стоя.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя, - это ощущение времени. Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что является полной неожиданностью, - не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

Ночь прошла. На подступах к вспаханной минами площади среди опаленного кустарника лежали тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышало речка. Тоска охватывала сердца при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки израненных домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро — по самый край — наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. И позади был такой же день. Ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Но бойцы выдержали немецкий напор, оставшиеся в живых были живы... утро выдалось ветреным и хмурым. По небу проплывали свинцовые темные тучи. Но за лесом, в стороне Выборга, все шире и шире разрасталась красная полоска рассвета.

В наступившей тишине послышался треск моторов. По дороге неслись два мотоциклиста. У моста через речку им преградил дорогу солдат с флажками. Он пытался их задержать. Но изрядно подвыпившие мотоциклисты, поравнявшись с сигнальщиками, только увеличили скорость. Первый из них, в больших дорожных очках, в легкой зеленоватой куртке с засученными рукавами, гнал машину в открытые ворота городка.

Появление мотоциклистов было настолько неожиданным, что Игнатенков растерялся и выглянул в окно. Ему сначала показалось, что это прибыли

связные от своих.

Командир роты поймал фашистов на мушку «максима», как только первый проехал ограду детского садика. Он дал по ним короткую очередь. Мотоцикл с ходу врезался в ограду, водитель упал в траву. Второй, увидев это, закружился по двору, но очередь ударила ему в спину, и мотоцикл со скрежетом уткнулся в каменное крыльцо здания.

- Везет нам на мотоциклистов, - улыбнулся командир. - Машины сюда! Обыскать убитых!

Наблюдавшие за происшедшим фашисты еще не успели сообразить, в чем дело, как ребята втащили оба мотоцикла в здание. В тюках, привязанных к багажникам, среди личных вещей были портативный радиоприемник и фотоаппарат.

- Давай, Мишук, сыйми нас всех, - обрадовался Андрей. - ты же умеешь, в фотокружке в школе бул. Колы до дому придем, на память карточки будут.

В полевой сумке одного из убитых обнаружили полевые карты, на которых был обозначен маршрут передовых частей врага.

- Игнатенков расстелил на полу большую карту на шелковой подкладке и стал ее рассматривать.
- Смотрите, куда целят! На Ленинград и дальше... Все наши северные города поподчеркивали.
- Товарищ командир, - обратился Андрей к Игнатенкову, - послушать ба приемник фашистский... Мобуть, сводку скажут. Чи далэко ли фашисты пройшлы.

Игнатенков включил приемник, настроил на нужную волну. Москва. Льетса легкая музыка, песни... Клавдия Шульженко исполняет «Синий платочек». Все как в мирное время. Но вскоре концерт закончился и диктор объявил:

- «Передаем сводку Информбюро за 8 сентября 1941 года. От Советского Информбюро. Из утреннего сообщения 8 сентября.

В течение ночи на 8 сентября наши войска вели упорные бои с противником на Кингисеппском, Гомельском, Днепропетровском и Одесском направлениях. После ожесточенных боев наши войска оставили Днепропетровск.»

- Значить, уже далэко, - глубоко вздохнул Андрей. - Що це таке... и Киев, значить, позади остався?
- Киев стоит железно! - сказал командир. - Руки у фашистов коротки, чтобы Киев взять! Да и Ленинград!.. Хотя и близко, хоть и в тиски берут, а зубы об него поломают.

В это же время вбежал командир орудия сержант Смирнов.

- Танки!.. Танки на дороге! - закричал он и бросился к своему орудию.
- Приготовить к бою противотанковые гранаты! - разнеслась по корпусам команда.

На автостраде показались немецкие танки.

За ними шла автомашины с солдатами. Через несколько минут вся автострада заполнилась войсками. У речки, вдоль которой окопались парашютисты, головной танк остановился, за ним и остальные. Немцев, видимо, поразила картина: вся прилегающая к автостраде равнина была усеяна трупами.

Из окна верхнего этажа Игнатенков наблюдал, как двигались, маневрируя по низине, танки, как, укрываясь за броню, шла за танками пехота. Он понимал, что, каково бы ни было расположение заслона, как бы ни были прочны стены зданий, с таким вооружением, как у роты, против танков много не навоюешь! Чтобы напрасно не терять людей, он приказал всем бойцам покинуть верхние этажи. И чтобы разрядить плотность — скопление людей, часть роты разместил в окопах на территории городка.

Когда снаряды начали рваться в зданиях, разбрасывая кирпичи и поднимая облака розовой пыли, в комнатах на этажах уже никого не было.

Все спустились в подвал к тяжелораненым.

Коля Гришин сидел на бочке и перевязывал себе глаз. Пуля задела веко и переносицу. Глаз вспух и не раскрывался.

– И надо ж было угодить прямо в глаз, - ругался он.

– Тише, братцы, прервал его Боря Матвеев, - будто бить перестали.

Прислушались. На дворе действительно стало тихо.

В это время, громко стуча сапогами. В подвал вбежал Игнатенков.

– Все, кроме раненых, наверх! - закричал он. - Раненые, займите место у подвальных окон.

Обгоняя один другого, ребята выбежали из подвала. Командир роты, прижавшись к стене, давал им дорогу.

– А раненые разве не люди? - проворчал Коля Гришин и, взяв автомат, поднялся вслед за Мишей.

– Не открывать огонь, пока пехота не выскочит из-за прикрытия танков! - скомандовал Игнатенков.

Прошла минута, другая... Танки, миновав низину, поднялись на высоту и остановились. В это же мгновение из-за брони бросилась на штурм пехота. По ней открыли огонь пулеметы. За один из пулеметов лег Коля Гришин.

Не выдержав огня, немцы залегли. По окнам снова стали стрелять из орудий и пулеметов танки. Столб пламени и кирпичной пыли поднялся рядом с тем местом, где лежал Коля Гришин. Оглушенный взрывом, поцарапанный осколками, он выскочил в окно и побежал прямо на танк.

– Нет больше Гришина! - закричал Миша, видя, как маленький Коля, широко взмахнув руками, упал на землю.

– Мо-ло-дец! Обманул фашиста! - обрадовался командир, увидев, как Коля нырнул в воронку.

Танк был рядом. Весь в крови, с черным от пороховой гари лицом, Коля

выполз из воронки и швырнул гранату.

Танк вздрогнул, описал на одной гусенице полукруг и остановился. Через минуту Коля снова поднялся, уже ко второму танку. В тот же миг пулеметная очередь из танка ударила ему в спину.

Как только фашисты поднимались в атаку, наши встречали их плотным огнем из всех видов оружия, не давали подойти к стенам. Бойцы, размещенные в окопах, боролись с танками: швыряли в них противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью...

Тогда немцы задействовали артиллерию.

Бойцы снова укрылись в подвалах.

Кирпич превращался в груды красного песка. Корпуса разваливались на части. Пыль густо клубилась, ползла по подвалу.

Миша сидел на полу, обхватив голову руками. В его мозгу с необычайной яркостью пронеслась мысль о том, что здесь он видит последние дни своей родины. Чувство обреченности охватило его. Этот страшный крик мечущихся среди развалин раненых людей, эти тревожные голоса, эти бегущие к укрытиям люди! Погибала Россия! Погибала здесь, загнанная в развалины, в леса Карельского перешейка, погибала под угрюмым осенним небом, и милая, бесконечно любимая им русская речь слилась с воплями ужаса и отчаяния.

В эту горькую минуту он испытал и гнев, и ненависть к врагу, и чувство братства ко всем гибнущим товарищам по оружию.

«Что ж делать, суждено...» - подумал он и понял, что жить на свете ему не нужно, если поражение сейчас свершится.

Игнатенков облил Мишу водой.

– Что ты, дружок, что ты? Держись, надо, понимаешь... Надо!

Под сводами подвала было темно и душно. Некоторые из раненых бойцов лежали на полу, другие сидели, прислонясь к стене, не выпуская из рук автомата. У всех была уверенность, что после артобстрела немцы пойдут на штурм. На последний... Каждый знает, что отступить некуда, что подмоги не будет, что живым со своего поста никто не уйдет. Измученные жаждой ребята то и дело хватались за фляги. Губы потрескались, на зубах поскрипывала кирпичная пыль. В ушах — лязг железа. Запах бензиновой гари и обгоревшего железа проникал в подвал. Подбитые танки врага чернели за окнами обгорелыми тушами. Они еще продолжали дымиться.

Сколько человек осталось от роты!..

Куда ни шагнешь, всюду лежат погибшие... Товарищи еще недавно державшие в руках оружие...

При входе в подвал, в грудах кирпича, торчала рука и пола шинели. Игнатенков разбросал кирпич и приподнял голову погибшего. Из-под кирпича показалось мраморно-серое лицо цыганка... Прощай и ты, боевой товарищ...

Почти вся рота полегла в этом бою. Осталось всего несколько человек, способных держать оружие. Надо было продолжать бой.

Фашисты снова пошли на штурм.

Но сейчас они уже не бежали, как раньше, а ползли, укрываясь за каждым бугорком, ползли не спеша, всматриваясь в руины.

– Гранатами! - скомандовал Игнатенков.

Из маленьких окошек подвала полетели гранаты...

И снова орудия открыли огонь по зданиям, по окнам подвалов. Маленькие окошечки завалило землей и битым кирпичом.

Миша, еще несколько минут назад сидевший на полу с поникшей головой, сейчас не чувствовал слабости. Его сила, его дух подчиняли в бою и его товарищей, но суть их не была военной и боевой — это была простая, рассудительная человеческая сила. Сохранять ее и проявлять в аду сражения могли лишь редкие люди, и именно они, эти обладатели домашней и рассудительной человеческой силы, были истинными хозяевами войны.

Снаряд угодил в торцевую стену. Образовалась большая брешь, осветив галерею дневным светом. Ослепительно яркий огненный столб вырос совсем рядом, там, где стоял Игнатенков. Его швырнуло в сторону... фашисты уже шныряли по подвалам.

Когда стихла стрельба, Миша услышал, как они галдели, даже их смех доходил довольно ясно. Немцы жутко картавили, произносили слова не так, как преподаватель в школе.

Свет ракет заполнил подвал, и Михаилу показалось, что в подвале нет воздуха, что он дышит какой-то кровянистой жидкостью, что эта жидкость течет с потолка, выступает из каждой кирпичины.

Вот немцы лезут из дальних углов, подбираются к нему, сейчас его схватят, поволокнут. Необычно близко, совсем рядом тыркали их автоматы.

Может быть, немцы очищают второй этаж? Может быть, не снизу появятся они, а посыпятся сверху, из пролома в потолке?

Наступили последние мгновения неравного боя. Фашисты, видимо, решили взять оставшихся живыми и теснили их одиночными выстрелами.

И вдруг в темноте подвала заиграл баян Миши Анисимова. Превозмогая боль он пел:

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает.

Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает...

Песню подхватили все, в ком еще теплилась жизнь...

Игнатенков пришел в себя, поднялся, подошел к бочке и окунул голову в воду.

– Кажется, вдвоем остались, - сказал Миша командиру. - Бегите! Я прикрою вас.

Игнатенков молчал и напряженно смотрел в светлеющий квадрат пролома.

– Сейчас и сюда придут, - повторил Миша.



Игнатенков отошел от пролома, взял из ящика несколько гранат, вставил в них капсули.

Нет, Васильев. Мое место здесь... до конца! А вот ты попробуй. Авось да проскочишь...

Миша крепко обнял командира, взял автомат и через пролом выбрался во двор. Не успел проползти и десятка метров, как несколько очередей вздыбили вокруг него кирпичную пыль. Бежать было безрассудно, и он повернул назад. Через ту же дыру снова спустился в подвал и, передвинув вглубь галереи оружие, зарядил его.

Обшарив все этажи, немцы через пролом проникли и в ту часть подвала, где находились Миша с командиром. Толпой двинулись в их сторону. Проникающий через пролом дневной свет хорошо освещал галерею. Фашисты были на виду. Оружие находилось в темноте. Миша дал несколько выстрелов. В узком пространстве галереи нельзя было промахнуться.

Немцы разобрали завал и подтянули к пролому танк. Снаряд угодил в балку перекрытия, не долетев до конца галереи. Миша выстрелил по танку. Из танка тут же застучал пулемет. Пули зацокали по оружейному щиту. Миша успел отскочить в смежное с галереей помещение. И тут услышал голос командира:

– Не выйдет, гады, живым не возьмете!

Миша вбежал в соседнее помещение. Четверо фашистов крутили руки командиру. Не мгновение опешив, Миша хотел было броситься на помощь. Но Игнатенков, увидев его, крикнул:

– Стреляй, стреляй!..

Что делать? Сзади уже слышалась чужая речь. В дверь ворвались немцы.

Не раздумывая больше, он повел автоматной очередью вокруг себя...

Падая, один из фашистов бросил гранату. Вспыхнуло пламя, Миша потерял сознание...

Миша рассказал доктору и почувствовал душевное облегчение, будто покаялся в своей невольной вине или проступке. И от первого в своей жизни гражданского покаяния обрел внутреннюю силу и веру.

На следующий день доктор рассказал ему о своем сыне и последнем письме друга, в котором тот сообщал о его гибели.

- Они погибли в боях за Родину, Миша, ведь вот какая штука-то. Гордиться надо ими. Сейчас гибнут тысячи, и у каждого остается кто-то близкий. Только вот представь себе, что оставшиеся, а это вся Россия, падут духом. Что тогда?.. Да немцам этого-то только и надо, чтоб нас на колени поставить.

Из немецких газет Оскар узнал, что положение на Ленинградском фронте все время ухудшается, немцы подтягивают к городу все новые и новые силы. Ленинград оказался в кольце блокады. Доктор спал плохо — волновался за семью, которая осталась в оккупированном городе, переживал за город: непрерывные бомбежки, обстрелы — что от него останется?

Мишины родители тоже оказались в зоне оккупации.

По ночам и он не спал. Что же будет дальше?  
 Доктор как будто разгадал Мишины мысли. Он подошел к его нарам и в темноте сунул в руку маленькую звездочку:

- Возьми... Эта звездочка будет напоминать тебе, что Россия остается Россией. Скоро, Миша, немцы побегут назад... Помни мое слово!.. Конечно подарок доктора больше подошел бы какому-нибудь мальчишке-школьнику, а Миша был уже давно не мальчишка, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, он вынимал из кармана звездочку, смотрел на нее, и, честное слово, ему становилось полегче.

В барак зашел лагерный врач оберлейтенант Вальтер Брюгман. Он хорошо говорил по-русски, но больше молчал, крепко сжимая челюсти. Говорил, опустив глаза, хмуря большие черные брови.

Оскар в это время делал перевязку.

Больной, казавшийся бледнее и слабее других, но с весело поблескивающими глазами, привлек внимание оберлейтенанта, и он с интересом устремился к операционному столу. Оскар только недавно прооперировал этого больного. Гнойный плеврит, развившийся после осколочного ранения легких. На правом боку был сделан разрез. Рана уже затянулась, в нижней части шва виднелся небольшой свищик, из него виднелась сукровица.

Оберлейтенант осмотрел шов... Никакого нагноения!

- Невероятно!.. И как прошла операция?
- Нормально! - сухо сказал Оскар.

Нормально — значит операционный стол, инъекция новокаина, хирургические инструменты. Но этого ничего не было!

- Бедняга впился зубами в собственную руку, чтобы не закричать от боли... Оберлейтенант надел очки, снял, снова надел, поглядел на Оскара и произнес:
- А говорят, русские лодыри и, как это говорится, профаны... - И двинулся по проходу. Запах лизола, выбеленные стены, на нарах солома.
- Что с ним? - спросил, остановившись перед тучным парнем.
- Ранение в голову... здесь добавилась водянка. Жидкость доходит почти до области сердца, - ответил Оскар.
- Снять штаны! - приказал оберлейтенант.

Парень покорно спустил штаны. Открылось ужасающее зрелище: раздутые ноги, точно накачанное водой туловище, кожа натянута как на барабане.

Оберлейтенант опешил. Он надавил пальцем на отечное место. Палец оставил глубокую впадину.

- Чем лечите? - спросил немец.
- Это же дистрофические отеки, вызванные голодом, господин доктор, если вам угодно знать! И вся терапия тут только в соответствующем питании: хороший хлеб, масло, мясо, овощи.

А все остальное есть нонсенс, сиречь чепуха... Может, вы пропишите это, господин доктор? - добавил Оскар.

Немец поморщился и пошел дальше.

- Перелом бедра? - Он остановился возле другого больного, у которого нога была забинтована от ноги до паха.
  - Да, перелом бедра... И дистрофия.
    - А у этого?
    - Тоже, и хронические язвы голени.
- Подтянуть штаны! - приказал немец и для большей ясности пояснил жестом.

Больной сел на край нар, согнул ногу и засучил штанину. Нога от щиколотки до колена была завязана постиранными бинтами.

- Размотай-ка, - спокойно сказал Оскар.

Из-за бинтов показались глубокие синевато-красные язвы. На еще не зарубцевавшихся ранах присохли пропитанные мазью кусочки марли.

- С такими язвами почти весь барак, - сказал Оскар.

Он осторожно снял марлевые салфетки. Открылись гнойные язвы, обрамленные венчиками ярко-красных пузырьков. Помогая больному, Оскар продолжал:

- Первые язвы исчезли, но рядом появились новые. Исчезают одни, появляются другие, свежие, и так без конца.

- Чем же вы их лечите?! Чем?! - Оберлейтенант смотрел на доктора. Оскар нахмурил брови и не ответил немцу.

Вальтер Брюгман прошелся по бараку, брезгливо, скорей для вида, осмотрел еще двоих лежащих и, садясь на табурет, неожиданно сказал:

- Для начала совсем неплохо... Даже очень неплохо! - и, взглянув на доктора, добавил: - Вы делаете успехи, коллега.

- Успехи?..

Улыбка исчезла с лица оберлейтенанта:

- А вы что... хотите, чтобы Германия для всех своих врагов госпиталей понастроила?

Оскар взял табурет, сел рядом с немцем:

- Я знаю, сейчас в госпиталях лечат раны стрептоцидом, сульфидином. У вас, конечно, есть эти лекарства... И еще йод нужен! Помогите мне, - попросил он.

Немец вспыхнул, поднялся с табурета.

- Вы соображаете, что говорите, о чем просите?! - уставился он на доктора. - Да за это у нас голову снимают... Или, в лучшем случае, на фронт! Нужно быть безумным, чтобы помогать врагу.

Немец был тщательно выбрит, пробор блестел, у него свежее лицо, превосходные зубы. Говорил он с длинными паузами, словно хотел показать доктору, что хотя он и моложе его, однако не бросает на ветер ни единого слова. И в этих словах — тень превосходства.

Оскар тоже поднялся:

- Вы кровный враг России, а попадете к ней в плен — вас будут лечить. Для врача нет врагов, есть больные. Люди есть люди. Вы читали Чехова? - спросил он.
- Читал, - улыбнулся тот. - Я знаю о нем многое... Я уважаю его.
- Так вот, раз вы его читали, должны помнить, что он сказал о людях... Чехов сказал, как никто до него: все мы прежде всего — люди... Он сказал : самое главное то, что люди — это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие, немцы. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они русские или немцы, татары или украинцы, - люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов — знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, - истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Ведь наша человечность всегда по-сектантски непримирима и жестока. Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был — архиерей, мужик, фабрикант-миллионщик, сахалинский каторжник, лакей из ресторана: начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия, пока не состоявшаяся демократия русского народа. Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии.
- Доктор, а как увязать страстную речь о чеховской человечности с вашим, в России, гимном Достоевскому? - спросил Брюгман. - Для Достоевского не все люди в России одинаковы. Гитлер назвал Некрасова ублюдком, а портрет Достоевского, говорят, висит у него в кабинете. Я немец, а родился в России, я не прощаю русскому писателю его ненависти к инородцам. Не могу, даже если он и великий гений. Слишком досталось инородцам в царской России, да и в советской тоже, крови, плевков в глаза, погромов. В России у великого писателя нет права травить инородцев, презирать поляков, татар, евреев, армян, чувашей.
- Я глубочайше уважаю вашу любовь к своему народу, - улыбнулся доктор, - но разрешите мне тоже гордиться тем, что я русский, разрешите мне любить Достоевского не потому, что он нехорошо писал об инородцах, а потому, что он великий писатель, патриот своей Родины. Нам, русским, почему-то нельзя гордиться своим народом, сразу же попадаем в черносотенцы.
- Немец встал, лицо его покрылось жемчужным потом, он сказал:
- Если вспомнить вашу революцию, как выжигали русские тех, кем гордится немецкий народ, всех наших культурных людей...

Кровь стынет в жилах.

– Не только ваших, били и наших... - сказал Оскар. - Вспомните Гражданскую войну. Если мы заглянем в историю, человечность окажется не на стороне немцев.

Немца расстроил спор с Оскаром. Здесь, в лагере, фальшиво, бессмысленно прозвучали для него самого слова. Которые он столько раз произносил у себя дома в беседе с друзьями. Прислушиваясь к разговорам среди своих, он часто ловил слова «Ленинград», «Москва», с ними, хотел он этого или нет, связывалась судьба мира. Рассказывая об этом Оскару, молодой немец показал ему знак виктории:

- Молюсь за вас, Ленинград и Москва остановили лавину. - И доктор ощутил счастливое волнение, услышав эти слова. - Знаете, Гейне говорил, что только дурак показывает свою слабость врагу. Ну ладно, я дурак, вы совершенно правы, мне ясно великое значение борьбы, которую ведет ваша армия. Горько немецкому социалисту понимать это и, понимая, радоваться, гордиться, и страдать, и ненавидеть вас. - Он смотрел на доктора, и тому казалось, будто глаза немца налились кровью.
- Но неужели вы до сих пор не осознали, что человек не может жить без свободы?.. Ведь, без всякого сомнения, человек, попав под гнет другого человека, рано или поздно сбросит этот гнет, давивший его. Там, дома, вы забыли об этом? - спросил доктор. Оберлейтенант наморщил лоб. - властители сегодняшней Германии решили — пришла пора осуществить самые жесткие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы, - продолжал доктор, - Поймите, лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность, наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться. Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи не будут знать удержу. Ведь главный враг фашизма — человек. Осенью сорок второго имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов. В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы гестапо. Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.
- Послушайте, хватит полемики. - Брюгман оглянулся, и доктор подумал, что он встревожен, видят ли посторонние, как запросто разговаривает с ним русский военнопленный. Он, вероятно, боялся этого перед своими, но больше всего стыдился перед русскими военнопленными.
- С вашей точки зрения я тоже виноват?.. - спросил он доктора. - Да, по-видимому, так оно и есть. Ты не свободен, ты есть раб. Я свободен, я есть поработитель. Так?..

Я строю фарнихтунгслагерь, я отвечаю перед людьми, которых буду душить газом. Да, я могу сказать: «Нет!» Это верно. Какая сила может запретить мне это, если я найду в себе силы не бояться уничтожения? Но дело-то в том, что я очень, очень хочу жить! И сказать «Нет!» мне пока не под силу. - Рука немца коснулась седой головы доктора: - Дайте вашу руку.

«Ну, сейчас будут продолжать увещевание пастырем заблудшей в гордыне овцы», - подумал доктор.

«Так вот ты какой, - подумал доктор об этом человеке. - тебя как бы и не касается, что тут происходит, чистеньким хочешь остаться...»

Немец потупил взор, будто угадал мысли доктора. И вроде обиделся, что так о нем думают.

- Объяснения даст время, коллега, - сказал, как ему, наверное, подумалось, самое важное. Но тут же осекся, неловко смолк, встретив явно презрительный взгляд. Понял, что сказал не что иное, как ходячее, пошлое: «Война все спишет...», и, обескураженный, хотел исправить свою оплошность: - Да не в том дело, коллега... - Помолчал, прошелся к окну. - Время нужно, чтобы самому взвесить и понять... А так ведь можно и дров наломать, оправдываясь войной. Кто знает, может, сам же и придешь к выводу, что вы правы.

В словах сквозила прямота и жестокость. Но в то же время доктор уловил и сочувствие... И потому сдержанно промолчал. А тот еще раз зачем-то повторил:

- Я жить хочу...

- Ничего не скажешь, хорошая у вас война, чего доброго, еще и жалеть будете, когда она кончится, - назидательно сказал доктор.
- Немец промолчал, только едко усмехнулся, глядя на Оскара. Но в этом его взгляде было и трусливое опасение, и злорадство, и чувство превосходства над Оскаром.
- Я пойду, - сказал он, помедлил и повернулся к двери, щелкнул зажигалкой, прикурил. Застучал по доскам каблуками с железными подковами. У самой двери обернулся, отнял папиросу от губ: - Я буду рад, если вы меня правильно поняли.
  - Не получилось... - устало сказал доктор, усаживаясь на нары.
  - Зачем вы так, Оскар... - сказал Миша укоризненно. - Уж больно рискованно! Сейчас пойдет в комендатуру...
- Оскар улыбнулся:
- Не пойдет, Миша. Он еще к нам вернется. Как говорится — диалог не окончен.
  - Офицер же.
  - Офицер, - согласился Оскар. - Офицер, но не кадровый. А это разница. Это сугубо гражданский человек. И мозги у него гражданские. А потом... он врач и родился в России.

Вечером следующего дня в барак вошел офицер с двумя автоматчиками.

Оскар в это время осматривал больного. Фашист подошел к нему:

– Ауфштеен! - Оскар медленно поднялся. - Шнель!..

В сопровождении двух автоматчиков и офицера Оскара увели из барака.

– Это серьезно... - сказал Мишин сосед, как только они вышли. - «Не кадровый, гражданский...» Вот тебе и гражданский. Все они сволочи! Миша лег, и снова пошли чередой беспокойные мысли. И не ради себя, нет, ради доктора он вдруг попросил, сам не зная у кого — у судьбы, чтобы дверь распахнулась и вошел доктор, такой же, как всегда, в шинели, в старой застиранной гимнастерке, которая, казалось, сейчас треснет на его широких плечах, в фуражке, из-под козырька которой виднелось его лицо с твердыми уверенными глазами. «Пусть он войдет.

Если есть на свете справедливость и честь! Пусть он войдет!»

И он вернулся...

– Немца оперировал, - сказал доктор.

Случилось непредвиденное. У лагерного врача оберлейтенанта Вальтера Брюгмана случилось прободение гнойного аппендицита. Гангрена. Требовалась срочная операция. Брюгман сам хотел, чтобы его оперировал русский врач.

Миша медленно шел по узкому проходу между двухэтажными нарами-крестами, тоска вновь охватила его. Дальний конец стометрового барака тонул в махорочном тумане. И каждый раз казалось, что, дойдя до барачного горизонта, он увидит новое, но было все то же — тамбур, где под деревянными желобами-умывальниками стирали портянки военнопленные, швабры у обшитой фанерой стены, крашеные ведра, матрасики на нарах, набитые вылезавшей сквозь мешковину соломой, ровный гул разговора, все одного цвета, худые лица военнопленных. Большинство людей, ожидая вечернего отбоя, сидели на нарах, говорили о довоенной жизни, о супе и хлебе, о женщинах, о сегодняшнем и завтрашнем дне.

Миша шел медленно, слушая обрывки разговоров, и казалось, все ода и та же нескончаемая беседа длится месяцами среди сотен людей на этапах, в эшелонах, в лагерных бараках: у молодых — о женщинах, у старых — о еде. Особенно было нехорошо, когда о женщинах жадно говорили старики, а о вкусной вольной еде — молодые ребята.

«Скорей бы отбой, - лечь бы на нары, закрыть голову ватником, не видеть.

Не слышать», - пронеслось в голове.

Один рыжеволосый парень, кажется, звали его Ромашкой, сидя на нарах, рассказывал, как он, увидев немца, шедшего по дороге в обнимку с женщиной, заставил их упасть на землю и, прежде чем убить, раза три дал им подняться, а затем снова заставлял упасть, подымая пулями облачка пыли в двух-трех сантиметрах от ног.

- А убил я его, когда он над ней стоял, так крест-накрест и полегли на дорогу.

Рассказывал Ромашка лениво, и рассказ его был ужасен тем ужасом, которого никогда не бывает в рассказах солдат.

– Давай, Ромашка, без бреху, - прервал его сосед.

– Я без бреху, - сказал, не поняв, Роман. - Мой счет двадцать восемь на сегодняшний день.

Мише хотелось вмешаться в разговор, сказать о том, что ведь среди убитых Ромашкой немцев могли быть и люди, простые смертные люди...

Об этом следует помнить, иначе можно превратиться в крайних националистов. Другое дело — в бою... Но Миша молчал. Эти мысли ведь не были нужны для войны, они не вооружали, а разоружали.

– Я сам, значит, псковский колхозник, - продолжал Ромашка, - Фашисты натворили больших чудесов в моем селе. Я сам маленько кровь потерял — был ранен. Вот и сменял колхозника на снайпера.

Угрюмый сосед объяснил, как лучше выбрать место у дороги, по которой немцы ходят за водой и к кухням, и между прочим сказал:

– Жена писала — гибли в плену под Новгородом, сына убили за то, что назвал я его Владимиром Ильичом.

Второй сосед, Халимов, из Узбекистана, волнуясь, рассказал:

– Я никогда не тороплюсь, если сердце держаем, я стреляю. Я на фронт приехал, мой друг был сержант Чуров, я учил его узбекски, он учил меня русски. Его немец убил, я двенадцать свалил. Снял с офицера бинок, себе на шею одел: приказания Сталина выполнял. Я, как животный, в авиации не разбирался, в летчики не годился, солдатом пошел.

Угрюмый сосед, чувствуя серьезность собеседника, так же серьезно сказал:

– Я не вполне согласен с тобой. Собаки, например, разбираются в авиации. Когда мы стояли в деревне, там был один Керзон, дворняга. Идут наши «Илы», он лежит и даже головы не подымет. А чуть заноеет «Юнкерс», и этот Керзон бежит в щель. Без пол-литра разбирался.

«Скорей бы отбой, - лечь бы на нары, закрыть голову ватником, не видеть, не слышать», - повторил Миша мысленно и вернулся на свое место.

– Мучит меня, братцы, один вопрос еще с первого дня войны... - Над Мишиными нарами сидел долговязый детина с забинтованной головой. - Что мы тогда — трусили, испугались воя сирен? Ведь так оно было-то?

Отступаем мы, значит, и вдруг слышим — моторы режут. Что такое? А они уже над нами, птички небесные. Прочесывают шоссе, сыпят бомбы, поливают из пулеметов. Это бы все ладно, но страшнее всего — сирены.

Как завоют, так лошади на дыбы! А на шоссе что творилось! Я под издыхающей лошадейю очутился прямо посреди поля, чуть богу душу не отдал. Н-да. Потом слышу, приказывают нам собираться, кто жив остался.

Я не малолеток и вроде бы не трус... Словом, что тут рассказывать...

Ринулись на нас танки, а им не подмогу пехота. Окружили нас - «Руки вверх!» - и прямым ходом в плен. С этого дня и мучаюсь я этим вопросом:



то ли сами страху поддались, то ли пикирующие бомбардировщики виноваты? Ты слышишь меня, Сергей?..

– Слышу, - донесся из темноты голос.

- Ты, небось, скажешь — внезапное нападение, дескать, мы не были готовы, и все такое прочее. А я скажу: вой этот...
- ты бы лучше лежал спокойно, - входя в барак, обратился к рассказчику Оскар.
- Да какое тут лежание, товарищ военврач, когда на сердце тошно? У меня из головы не выходит... Сначала тесаком по голове, а потом... Это на нашей-то земле, товарищ военврач! Почему же это случилось?..
  - Почему это случилось, Георгий? - машинально повторил Оскар. - Сегодняшний проигрыш завтра обернется выигрышем. Сломает себе шею Гитлер на войне с нами. И перед своим народом тоже оскандалится. Ты думаешь, Гитлер далеко прорвется?..
  - Если бы я так думал, товарищ военврач, то дуло в рот — и шабаш. Я знаю, что его остановим, но сколько крови прольется.
    - В этом ты прав, Георгий, - тихо сказал доктор. - Перед войной я встречался с немцами-туристами. Обыкновенные были немцы. Мирные. Никто из нас не думал что с такими нам и придется воевать. О дружбе говорили. А вот что фашизм с этими обыкновенными и мирными немцами сделал, куда их завел.
- Что же они, те немцы, с Гитлером не могут справиться? Трудящиеся они, рабочие?..

Вот нетронутая еще область науки — общественная психология, подумал доктор. Как она меняется! Каким законам подчиняются человеческий ум и сердце? И почему подчиняются порой вопреки здравому смыслу?.. Вот и он живет и все ждет хорошего, и верит, и боится зла, и полон тревоги за жизнь живущих, и не отличает от них тех, что умерли. Стоит и спрашивает себя, почему смутно будущее любимых им людей, почему столько ошибок в их жизни, и не замечает, что в этой неясности, в этом тумане, горе и путанице и есть ответ, и ясность, и надежда, и что он знает, понимает всей своей душой смысл жизни, выпавшей ему и его близким друзьям. И хотя ни он и никто из них не скажет, что ждет их, и хотя они понимают, что в страшное время человек уже не кузнец своего счастья, и мировой судьбе дано право миловать и казнить, возносить к славе и погружать в нужду, и обращать в лагерную пыль, но не дано мировой судьбе и року истории, року государственного гнева и славе, и бесславию битв изменить тех, кто называется людьми, и ждет ли их слава за труд или одиночество, отчаяние и нужда, лагерь и казнь, они проживут людьми, а те, что погибли, сумели остаться людьми, - и в этом их вечная горькая людская победа над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит.

Ночью доктор долго сидел молча. Миша тоже не спал.

Война соединила их, двух незнакомых людей, в этом бараке — русского и эстонца. Накануне наши войска оставили Красную Поляну, немцы вплотную подошли к Москве.

- Человек не понимает, что созданные им города не есть естественная часть природы. Человек не может выпускать из рук ружья, лопаты, метлы, чтобы отбивать свою культуру от врагов, волков, метели, сорных трав. Стоит зазеваться, отвлечься на год-два, и пропало дело — внезапно нападут на тебя враги, из лесов пойдут волки, ползет чертополох, города завалит снегом, засыплет пылью. Сколько уже погибло великих столиц от беспечности людей. Мы тоже забыли об этом, вот и платим своим народом, своими городами, своими селами.

Все, что говорил доктор, было далеко не ясно, но Миши слушал его и верил... Врач, человек гуманной профессии, в первые дни на фронте видел войну тоже как бы со стороны. Но вот убил первого немца.

- Как случилось, Миша, что я, врач, убил человека?.. Я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право.

Так доктор стал солдатом. Больше он не наблюдал, не смотрел на войну глазами врача. Он был теперь настоящим солдатом и делал все, что в его силах.

Миша не знал, интересна ли их беседа доктору, но ему, Мише, было интересно слушать, когда тот что-либо рассказывал. Слушать и говорить самому, когда слушает его доктор. Миша знал на печальном опыте, как часто приходится сталкиваться с собеседником, который как будто и умен, и остроумен, и в то же время невыносимо скучен.

Были такие, в чьем присутствии Мише даже слово произнести было трудно, его голос деревенел, разговор становился бессмысленным и бесцветным.

Были люди, давние знакомые, в присутствии которых Миша особенно ощущал одиночество.

Отчего это происходило? Да оттого же, что вдруг встречался человек, короткий ли дорожный спутник, сосед по нарам, участника случайного спора, в чьем присутствии внутренний мир другого человека терял свою одинокую немоту.

Как-то вечером Миша вошел в операционную. Доктор сидел на полу, обхватив руками колени, дверца «буржуйки» была открыта, и угли бросали слабый красноватый свет на его лицо, показавшееся Мише особенно озабоченным в эту минуту.

- Как пытки не хочу, но должен сказать, и ты слушай, - сказал он Мише. - Это касается и тебя, и меня, и всех здесь живущих. Слушай, что пришло мне в голову: мы ошиблись, когда опустили оружие. Лучше было умереть, но не сдаваться. Наша ошибка вот к чему привела — видишь... мы с тобой должны просить прощения у нашего народа за наше малодушие. - Он поднял голову, попросил:

– Дай-ка мне закурить... - и продолжал: Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь — два. Мы плохо понимали свободу. Мы раздавали ее, не ценили: она основа, смысл, базис над базисом. Без свободы нет жизни. Вот два, и слушай — три. Мы проходим через лагерь, кабалу, но вера наша сильнее всего. Не сила это — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, во имя жизни не выпускать из рук оружие, иначе они погибнут, попадут в лагерь. А здесь, в лагере, тот же инстинкт нам велит не меняться: если не хочешь накрыться деревянным бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия... Две стороны медной монетки... Если мы не можем жить как люди, лучше умереть — вот мой сказ.

Эта ночь была самая тяжелая для Михаила. Он лежал не шевелясь, стиснув зубы, глядя широко открытыми глазами на стену с темными следами давленных клопов. А вокруг, рядом, спал лагерь — спал тяжело, громко, некрасиво, в тяжелом, удушливом воздухе, с храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными стонами и вскрикиваниями.

Миша вдруг приподнялся на нарах, снова уткнулся в матрац и зарыдал на весь барак...

Припомнилась ему вся довоенная жизнь. Снова смотрел он на свой родной рабочий поселок... Вот здесь стояла школа, там была любимая площадка для игр, где зимой они носились друг за другом на коньках, а летом гоняли футбольный мяч. Рядом, в сосновом леске, учились они ползать по-пластунски, метать учебные гранаты, преодолевать различные препятствия. Как скоро пригодилось им все это! Занимались допризывной подготовкой с интересом, но в те мирные дни разве думал кто-нибудь из них о кровавых сражениях, о гибели тысяч людей, сожженных городах и селах...

Тогда с увлечением участвовали они в комсомольских субботниках и воскресниках. До войны в поселке насчитывалось около двухсот комсомольцев. Какая это была сила! Тогда за два предвоенных года при самом активном участии комсомольцев в поселке были построены Дом культуры, спортивный городок с футбольным полем и беговыми дорожками.

В выходные дни молодежь протянула линию электропередачи длиной пять километров — для Дома культуры и кинопередвижки. Миша вспомнил, как копали они канавы для осушки заболоченных улиц, строили деревянные мосты через эти канавы, высаживали деревья в новом парке. Работая, ребята не забывали чеховские слова: «если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!»

Перед войной поселок изменился до неузнаваемости. Улицы стояли чистыми, зелеными.

Возле каждого дома были разбиты цветочные клумбы и газоны. В центре поселка очистили и углубили маленькое озерцо, превратив его в плавательный бассейн. Вокруг посадили липы и посадили сад. Жизнь расцветала у всех на глазах...

Теперь все это было порублено, сожжено, истоптано сапогами чужеземцев, разрушено, превращено в пепел.

Накануне вечером и ночью Миша думал об отце, ему нестерпимо хотелось видеть его. Впервые в жизни захотелось жалости к себе и он представлял, как подойдет к отцу, дыхание прервется и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить». Отец обнимет его, и он положит голову на грудь и заплачет, без стыда, горько-горько. И они так долго будут стоять, сын выше на голову...

В эту ночь у Миши был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по затылку кулаками.

Утром, когда пленные поднимались с нар, к Мише подсел Алексей, спросил:

– Что это ты метался так ночью? Баба снилась? Ржал даже.

– Тебе бы только баба, — ответил Миша.

– А я думал, ты во сне плачешь, — сказал Алексей, — я тебя разбудить хотел.

Миша вздохнул, сказал:

– Знаешь, надо написать о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть особая, которая не душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.

Миша сидел на нарах, опустив плечи, и тихо покачивал головой.

Казалось, не только темные глаза, но все тело было наполнено тоской. Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных. Глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Вездесущий желтолицый сосед, указывая на Мишу, шепотом сказал доктору:

– Либо повесится, либо рехнется.

Доктор, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

– Слушайте меня, богатыри. Вчера я был таким же, как Миша сегодня, а теперь понял, что я балда. Выше головы, друзья мои! Ведь, право, хорошо: каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма... У него нет выбора — либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Всем нам надо глубоко понять: чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы их осилим. — Он резко повернулся к Мише, сказал: — Ну что ж это вы, а? Помните у Горького,

когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходи голова вверх!»

Все рассмеялись.

- Верно, верно, давайте головы вверх, - сказал доктор. - Вы подумайте — огромное, великое Советское государство защищает свою идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Ленинград стоит, держится. А если погибнуть придется тут, в вонючем лагере, уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

- А о чем? - громко спросил Миша.

Сидевшие переглянулись, помолчали.

- Эх, Миша, Миша, - сказал вдруг Алексей. - Верно нам доктор сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь?.. А ты подумай — попасть к своим в лагерь, свой к своим, вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни... Бежать нам надо, и как можно быстрее...

Было уже поздно, когда дверь в барак распахнулась, вошел Брюгман. Он держал в руках большой сверток, перевязанный шпагатом.

Оскар провел немца в операционную. Немец поставил на стол бутылку коньяка.

- За чудесную операцию, коллега? - предложил он.

Но доктор отказался. Он подвигался на стуле, достал из пластмассового портсигара папиросу, размял ее в коротких пальцах, встал и вышел на середину комнаты, явно обеспокоенный и сострадавший.

Немец остался сидеть и был, как показалось доктору, равнодушен к тому, что происходит. Только искоса с любопытством бросил раза два взгляд на то место, где стоял доктор, и опять вроде бы улыбнулся скрытой, злорадной, нехорошей улыбкой, сказал:

- А я выпью немного, коллега. С вашего разрешения, конечно...

А когда изрядно выпил, разговорился:

- Вообще-то не пью, а сегодня не могу удержаться. Надо снять напряжение. Не по-медицински, но что поделаешь... Вы чертовски здорово воскресили меня... И я вас поздравляю... вернее — благодарю. Если можно так выразиться, я был уже там двумя ногами... Там, коллега! И себя я тоже поздравляю. - Посмотрел на доктора печально, вроде жалостливо: - Но знаете — вы на эту операцию не имели права. Совсем! Никакого! Но не имели права и не делать. Такие вот казусы бывают в нашем деле. Не имеешь права, а надо!.. Звание врача обязывает делать выбор... Как на войне в безвыходной ситуации, - улыбнулся он. - Больного вы спасли, коллега, а себя — погубили. Запомните мое слово: по-гу-би-ли! Сейчас вы внесли свое имя в Книгу Гиннеса, в солдатский сказ-легенду, а это для вас не очень хорошо... даже совсем нехорошо. Теперь вас постараются запрячь в нашу скрипучую телегу... А это плохо, очень плохо!

Потом он говорил о «разъездном хирурге», о себе.

«Вроде пожарника», - сравнил свою работу. Говорил не торопясь. Иногда отдыхал. И коллеге советовал быть самим собой. А если потребуется, «пройти свой трудный путь в лагере с честью». «Иначе будет тление...» - закончил он.

И вдруг продолжил о руках хирурга:

– Руки и интеллект — тут все связано. Сметливость, золотые руки, находчивость и решительность — такое сочетание может быть у человека, воспитанного трудом. Не иначе, - подчеркнул он. - Трудолюбие и добронравие -

для врача качества первейшие. А потом уже и то высшее, что дано тебе от Бога. Словами тут не объяснишь... - Помолчал грустно. - Надеюсь, вы поняли меня, коллега?.. Главное в жизни — не запятнать своего мундира и человеческую совесть... - Вдруг, точно испугавшись кого-то, поспешно сунул в руки Оскара сверток: - Да... Я принес вам лекарство, которое не каждый медицинский госпиталь имеет, - и небрежно оглянулся, но в этой небрежности было что-то осторожное, словно кто-то следил за ним. Он быстро открыл дверь и вышел.

Миша взглянул на доктора: только что мрачное, озабоченное лицо его сейчас вдруг преобразилось.

– Вот видишь, не все немцы сволочи, - сказал он, радостно улыбаясь, развязывая пакет. - Скажу вам откровенно — для меня этот пакет дороже всего: золота, бриллиантов. Это хлеб. Он — жизнь. Теперь и обреченные воскреснут!

Все важное в жизни, как необходимое и неизбежное, совершается естественно и просто, хотя и настает неожиданно. И эта неожиданность вызывает удивление, потому что разом ломает привычное. Ведь правильно замечено, что сострадательный человек, большой воли и большой доброты, обрекает себя первым на гибель, когда она грозит многим.

Как-то ночью в барак вошел унтер-офицер, эсэсовец, разбудил доктора и молча вывел его на улицу. Холодный ветер порывами дул в лицо. Они вошли в дверь лагерного управления. Здесь уже не пахло лагерным аммиаком, ощущался холодный табачный дух. Доктор заметил на полу большой окурок, и ему захотелось поднять его, бросить в урну. Минувя первый этаж, они поднялись на второй, конвоир велел доктору вытереть ноги о половик и сам долго шаркал подошвами. Доктор, задохнувшийся от подъема по лестнице, старался успокоить дыхание. Они зашагали по ковровой дорожке, устилавшей коридор. Спокойный свет шел от ламп — маленьких полупрозрачных тюльпанов. Они прошли мимо полированной двери с небольшой дощечкой «Комендант» и остановились перед такой же нарядной дверью с надписью:

«Оберштурмбанфюрер Курт Ульбрихт».

Рассказывали, кто побывал здесь, что Ульбрихт допрашивал без переводчика, - он был рижским немцем, знал русский язык.

В коридор вышел молодой офицер, сказал несколько слов конвоиру, впустил доктора в кабинет, оставив дверь открытой.

Кабинет был пуст. Ковер на полу, цветы в вазе, на стене картина: опушка леса, красные черепичные крыши крестьянских домов.

Доктор подумал, что попал в кабинет директора скотобойни, - рядом хрип умирающих животных, дымящиеся внутренности, забрызганные кровью люди, а у директора покой, ковры, и только черные телефонные аппараты на столе говорят о связи скотобойни с этим кабинетом.

В глубине кабинета открылась дверь. И тут же скрипнула дверь, ведущая в коридор, - видимо, дежурный прикрыл ее, увидев, что Ульбрихт в кабинете.

Доктор стоял наморщившись, ждал.

- Здравствуйте, - тихо произнес высокий человек с эсэсовской эмблемой на рукаве серого мундира.

В лице оберштурмбанфюрера не было ничего отталкивающего, и потому особенно страшно показалось доктору смотреть на него, - горбоносое в шрамах лицо с внимательными темно-серыми глазами, лобастое, с бледными худыми щеками, придававшими ему выражение аскетичности.

Ульбрихт выждал, пока доктор прокашляется, и сказал:

- Мы с вами достаточно знакомы, чтобы хитрить друг перед другом. Мне хочется говорить с вами.
- А мне не хочется говорить с вами, - ответил доктор и покосился на дальний угол, откуда должны были появиться помощники эсэсовца — чернорабочие заплечных дел — ударить, оглушить.
- Я вполне понимаю вас, - сказал Ульбрихт, - садитесь, - и усадил доктора в кресло, сел рядом.

Говорил он по-русски каким-то бестелесным, пепельно-холодным языком, которым пишутся научно-популярные брошюры.

- Вы себя плохо чувствуете?

Доктор пожал плечами и ничего не ответил.

- Да, да, я знаю. Вас навещал наш лекарь. Извините, я вас потревожил среди ночи. Но мне очень хотелось поговорить с вами.
- Я вызван на допрос. А разговаривать нам с вами не о чем, - сказал доктор.
- Почему? - спросил Ульбрихт. - Вы смотрите на мой мундир. Но я не родился в нем. Я интересуюсь вопросами философии, истории, но я и член партии.

Доктор следил за лицом оберштурмбанфюрера, и ему подумалось, что это бледное высоколобое лицо надо рисовать в самом низу антропологической таблицы, а эволюция пойдет вверх и придет к заросшему неандертальскому человеку.

- Если бы ваша партия поручила вам другое, не свойственное вам дело, разве вы могли бы отказаться? Отложите Гегеля и пойдете. Мы тоже отложили Гегеля.

Доктор покосился на говорящего, - странно, кощунственно звучало имя Гегеля, произносимое грязными губами... В трамвайной давке к нему подошел опасный, опытный ворюга и затеял разговор. Стал бы он слушать? Нет, только следил бы за его руками, вот-вот сверкнет бритва, ударит по глазам.

А Ульбрихт поднял ладони, посмотрел на них, сказал:

– Наши руки, как и ваши, любят большую работу, не боятся грязи.

Доктор поморщился — такими нестерпимыми показались движения и слова, повторившие его собственные.

Ульбрихт говорил быстро, оживленно, точно уже раньше разговаривал с доктором и теперь радовался, что может закончить прерванный, незаконченный разговор.

Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы сморим в зеркало. В этом трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать? Остановить? - Лицо оберштурмбанфбрера приблизилось к лицу доктора. - Понимаете вы меня? Я нехорошо владею русским языком, но мне очень хочется, чтобы вы поняли меня. Вам кажется, вы ненавидите нас, но это кажется: вы ненавидите самих себя в нас. Ужасно, правда? Вы понимаете? Доктор решил молчать, оберштурмбанфюрер не втянет его в разговор. Но на миг ему показалось, что человек, вглядывающийся в его глаза, не собирается его обмануть, а искренне напрягается, подбирает слова. Казалось, он жаловался, просил помочь в чем-то.

Один немецкий человек, - продолжал Ульбрихт, - вы хорошо знаете его умную работу, сказал, что трагедия всей жизни Наполеона была в том, что он выразил душу Англии и именно в Англии имел своего смертельного врага. Вот и я с вами...

«Ох, лучше бы сразу приступили к мордобою, - подумал доктор и сообразил: - А, это он о Шпенглере».

Ульбрихт закурил, протянул портсигар доктору. Доктор отрывисто сказал:

– Не хочу.

Ему стало спокойнее от мысли, что все жандармы в мире, и этот, говорящий о Гегеле и Шпенглере, пользуются одним идиотическим приемом: угощают арестованного папиросами. Ульбрихт, не заметив, что доктор отказался от сигареты, пробормотал:

– Да, да, пожалуйста, правильно, очень хороший табак, закрыл портсигар, поднялся. - Вас удивляет мой разговор? Вы ждете другой разговор?.. Извольте. Вы хороший доктор, очень хороший! Об этом мы осведомлены. У нас в Германии есть такие, но сейчас идет большая война, и наша медицина не в состоянии охватить своим персоналом всю армию. - Глаза оберштурмбанфюрера приблизились к доктору. - Немецкое командование предлагает вам... как это лучше сказать по-русски... компромисс. Вы беретесь лечить солдат великой империи...

- Я русский! - отрезал доктор, поднимаясь с кресла.



- Успокойтесь, я отлично это знаю, - сказал Ульбрихт, усаживая доктора в кресло. - Но это хорошо, и даже очень хорошо!.. Два плюса! Конечно, так! Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня эта ужасная война. Мы — ваши смертельные враги, да, да. Но наша победа — это ваша победа... Вы понимаете меня?

Доктор повторял про себя: «Молчать, главное — молчать, не вступать в разговор, не возражать».

- Немецкое командование будет вас оберегать, хорошо платить. Вы будете у нас большим доктором... Поверьте, немцы высоко ценят тех, кто им помогает.

Для чего этот всемогущий оберштурмбанфюрер, вместо того чтобы смотреть трофейные кинофильмы, пить водку, писать доклад Гитлеру, читать книги по философии, баловаться с молодыми девушками, отобранными с очередного эшелона, либо, приняв лекарство, улучшающее обмен веществ, спать в своей просторной спальне, вызвал к себе ночью старого, пропахшего лагерным зловонием русского доктора?

Что задумал?..

- Вас оденут в немецкую форму, получите высокое звание, хорошую квартиру, адъютанта.  
Доктор молчал.
- Главный хирург армейского госпиталя!.. Вас устраивает эта должность? - Оберштурмбанфюрер положил руку на плечо доктора. - Ваше слово — и вы на этой должности. Честное слово гестаповца — это не шутка.
- Не трудитесь, господин оберштурмбанфюрер. - Доктор поднялся, убрал со своего плеча руку гестаповца. - Я вам сказал, что я русский и ни при каких обстоятельствах не изменю своей Родине... А теперь можете меня убить.

Оберштурмбанфюрер, как бы отвечая на отрицание доктором предложенного компромисса, раскрыл стол и вынул из него шкатулку, открыл ее и брезгливо, двумя пальцами, вынул пачку разных лекарств. И доктор сразу узнал их — это были остатки лекарств, принесенных Брюгманом.

Ульбрихт, очевидно, рассчитывал, что, внезапно увидев эту шкатулку, доктор придет в смятение... Но доктор не растерялся. Он смотрел на нее почти радостно: все стало ясно, идиотически грубо и просто, как и всегда бывает при полицейских допросах.

Ульбрихт придвинул к краю стола шкатулку, потом потянул ее обратно к себе и вдруг заговорил по-немецки:

- Видите, вот это у вас изъяли при обыске. Я не спрашиваю, откуда вы взяли столько лекарств.

Доктор молчал. Ульбрихт постучал пальцем по шкатулке, приглашая — приветливо, настойчиво, доброжелательно. Доктор молчал.

- Я не спрашиваю у вас, кто вам приносит ценнейшие формы лекарств,

обворовывая раненых великой империи.

- Давайте, давайте, - торопливо и зло проговорил доктор, - перейдем к делу. Эти лекарства? Да, да, они у меня взяты. Вы хотите знать, кто их принес? Не ваше дело. Может быть, я сам украл их в вашей амбулатории. Может быть, вы велели своему агенту сунуть их незаметно в санитарный барак.

Ясно?

На миг показалось, что Ульбрихт примет вызов, взбесится, крикнет: «У меня есть способы вас заставить отвечать!» Доктору так хотелось этого, так бы все стало просто и легко. Какое простое и ясное слово — враг. Но

Ульбрихт спокойно сказал:

- Зачем вы нервничаете? Это не полезно. Не все ли равно, кто их вам приносит? Главное: не вы и не я... Как мне печально. Подумайте, доктор, над моим предложением, хорошо подумайте. - Он подмигнул: - Мне поручено с неба достать хорошего специалиста, и я его обязан достать. Глядя прямо в глаза Ульбрихта, громко — вероятно, голос его слышала стоявшая под дверью охрана — доктор сказал:
- Мой совет вам: не теряйте зря времени со мной. Ставьте меня к стенке, сразу вздерните, укокошьте.

Оберштурмбанфюрер поспешно проговорил:

- Вас никто не хочет кокошить. Успокойтесь, пожалуйста.
- Я не беспокоюсь, - весело сказал доктор, - я не собираюсь беспокоиться. Надо, надо беспокоиться! Пусть моя бессонница будет вашей бессонницей. В чем, в чем причина нашей вражды? Я не могу понять ее... Мы строим два дома. Они должны стоять рядом. Мне хочется, доктор, чтобы вы пожили в спокойном одиночестве и думали, думали перед нашей новой беседой.

- К чему? Глупо! Бессмысленно! Нелепо! - сказал доктор.

Оберштурмбанфюрер встал, и доктор в смятении, восторге, ненависти подумал: «Сейчас застрелит — и конец!»

Но Ульбрихт, словно не слыша слов доктора, почтительно мотнул головой:

- Будем думать вместе. - Лицо его было печально и серьезно, а глаза смеялись. Он позвонил, негромко сказал: - Возьмите, если вам нужно, эту шкатулку. Мы скоро увидимся. Gute nacht.

Доктор, сам не зная для чего, взял шкатулку со стола, сунул под мышку.

Его вывели из здания управления, он вдохнул холодный воздух, - как хороша была эта и сырая ночь, и завывание сирен в дорассветном мраке после гестаповского кабинета, тихого голоса национал-социалистического философа.

Когда его подвели к бараку, по грязному асфальту проехала легковая машина с фиолетовыми фарами. Доктор понял, что Ульбрихт ехал на отдых, и его с новой силой охватила тоска. Конвойный ввел его в барак, запер дверь.

Доктор сел на нары, подумал: «Если бы я верил в Бога, то решил бы, что этот страшный собеседник мне послан в наказание за мои убеждения». Спать он не мог, уже начинался новый день. Опершись спиной о стену, сколоченную из занозистых шершавых еловых досок, доктор стал вдумываться в сказанное Ульбрихтом. Потом поднялся, прошел в операционную, подошел к окну, поднял светомаскировку, погасил свет, и утро угрюмо посмотрело ему в глаза. Доктору показалось, что сейчас, впервые со дня прихода в этот лагерь, он увидел дневной свет.

«Скоротали ночь», - подумал он.

Было ли худшее утро в его жизни? Неужели, счастливый и свободный, несколько месяцев назад он беспечно лежал в бомбовой воронке и над головой его выло гуманно железо? Но время смешалось: бесконечно давно вошел он в этот барак, и так недавно он был в Ленинграде. Какой серый, каменный свет за окном, выходящим во внутренний дворик кухни-столовой. Помои, не свет. Еще казенней, угрюмей, враждебней, чем при электричестве, казались предметы при этом утреннем свете.

Настал день, когда пришел и Мишин черед покидать барак. С доктором подошли они к двери, остановились у порога.

- Держись, Миша! Ты хороший парень, и я люблю тебя... Помни, всегда помни — придет и на нашу улицу праздник! - сказал он на прощание, улыбнулся по-отцовски, с грустинкой, мягко пожал его плечи обеими руками: - Пошел.

... «Придет и на нашу улицу праздник!» - повторял Миша, шагая в общей колонне военнопленных на работу. Он не знал, что в эти минуты немцы уже разгромили санитарный барак. «Симпатии» врача-немца к русскому доктору обернулись для тяжелораненых русских военнопленных непредсказуемым испытанием.

Философ-гестаповец оберштурмбанфюрер Курт Ульбрихт, перешел от философии, к прямым своим функциональным обязанностям.

Комендант лагеря оберштурмбанфюрер Хайнц Шнебель вызвал к себе фельдфебеля Шуберта:

- Из санитарного барака всех на работу!.. Кто не поднимется — в расход! - приказал он.

Оскар стоял перед фельдфебелем с непокрытой головой, в вылинявшей полевой гимнастерке, в брюках-галифе со множеством темных пятен, в брезентовых сапогах. Немец же — в новом френче, на френче Железный крест, откормленный, взгляд его перебежал с одного пленного на другого, спокойный и невыразительный взгляд пастуха, привычно пересчитывающего коров в своем стаде. Его литое, шафранового цвета лицо с карими, какими-то пластмассовыми глазами выражало в этот вечер благодущие. Пухлая, белоснежная, без единого волоска рука, с пальцами, способными давить лошадь, похлопывала по плечам и спинам заключенных. Для него убить было так же просто, как ради шутки подставить ножку.

После убийства он ненадолго возбуждался, как молодой кот, поигравший с майским жуком. Его глаза, казалось, не принадлежали живому существу.

То была затвердевшая, как бетон, желто-коричневая смола... И когда в этих глазах появлялось веселое выражение, людям становилось страшно, так, вероятно, страшно делается рыбке, вплотную подплывшей к полужасыпанной песком коряге и вдруг обнаружившей, что темная осклизлая масса имеет глазки, зубки, щупальца.

Здесь, в лагере, фельдфебель переживал чувство превосходства над жившими в бараках художниками, учеными, офицерами, инженерами, студентами. Тут дело было не в зерне кофе и порции эликсира. Это было чувство естественного превосходства, оно приносило ему много радости.

Он радовался не своей громадной физической силе, не своему умению идти напролом, сшибать с ног, взламывать кассовую сталь. Он любовался своей душой и умом, он был загадочен и сложен. Его гнев или расположение возникали, казалось, безо всякой логики. Когда однажды с транспорта в особый барак были пригнаны отобранные гестапо русские военнопленные, фельдфебель попросил их спеть «Широка страна моя родная».

Пятеро русских с могильным взглядом, с опухшими руками выводили:

Я другой страны такой не знаю,

Где так вольно дышит человек..

Фельдфебель слушал, поглядывая на стоявшего с краю скуластого парня. Из уважения к артистам фельдфебель не прерывал пения, но когда певцы замолчали, он сказал скуластому, что тот в хоре не пел, пусть теперь поет соло. Глядя на грязный ворот гимнастерки этого парня со следами кубиков на петлицах, фельдфебель спросил по-немецки:

– Ты русская офицерская шваль? - добавил по-русски: - Ты понял, сука?!

Парень ответил, он понял. Фельдфебель взял его за ворот и легонько встряхнул, как встряхивают неисправный будильник. Прибывший с транспорта военнопленный врезал фельдфебелю в скулу кулаком и ругнулся.

Казалось, русскому пришел конец. Но гауляйтер особого барака не убил Алексея, а подвел его к нарам в углу у окна. Они пустовали, ожидая приятного для фельдфебеля человека. В тот же день немец принес Алексею бутерброд с ветчиной и, хохоча, проговорил: «Лопай, морда!»

С тех пор фельдфебель хорошо относился к Алексею. И в бараке с уважением относились к нему, его нестигаемая жесткость была соединена с характером мягким и веселым.

В этот вечер веселость фельдфебеля вызывала в людях повышенное чувство напряжения и страха. Жители барака всегда ждали чего-то плохого, и страх, предчувствие, томление и днем и ночью, то усиливаясь, то слабей, жили в них.

С фельдфебелем в санитарный барак вошли восемь лагерных полицейских — капо в дурацких, клоунских фуражках,

с ярко-желтой повязкой на рукавах. По их лицам видно было, что свои котелки они наполняют не из общего лагерного котла. Командовал ими высокий белокурый немец, одетый в стального цвета шинель с нашивками. Из-под шинели видны были лакированные сапоги, кажущиеся от алмазного блеска белыми. Это был начальник внутренней полиции унтер-офицер Роберт Штейберг, эсэсовец.

Начался обыск. Капо привычно, выстукивали нары, встряхивали тряпье, быстрыми пальцами проверяли швы на одежде, просматривали котелки.

Во время обыска пленные стояли, построившись в шеренгу.

Доктор и Алексей стояли рядом, поглядывали на фельдфебеля и унтер-офицера. Фигуры обоих немцев казались литыми. Ткнув пальцем в сторону фельдфебеля, доктор сказал Алексею:

– Ах и субъект!

– Ариец классный, - сказал Алексей. Не желая, чтобы его услышал стоявший вблизи немец, он сказал на ухо доктору: - Но и наши ребятки бывают дай боже!

– Священное право всякого народа иметь своих героев, святых и подлецов, - сказал доктор. - Конечно, и у нас найдешь мерзавцев, но что-то есть в немецком убийце такое неповторимое, что только в немце и может быть. Обыск закончился. Бала подана команда отбоя. Пленные стали взбираться на нары.

– Отставить!.. Всех больных на работу! - сказал фельдфебель по-немецки. - Нихт больной! Арбайтен, арбайтен!

Оскар не шелохнулся. Глаза под мохнатыми бровями смотрели строго, не мигая.

– Ты что, не понял команду?.. Нет больных! Симулянты! Всех на работу! Всех!

Доктор пожал плечами. Он действительно не понимал фельдфебеля.

– Чтоб в пять минут вся эта мразь выкатились из барака!

Доктор еще раз посмотрел на фельдфебеля и молча пошел к выходу. За ним, медленно поднимаясь с нар, пошли и больные.

– Антретен! Марш, марш! - покрикивал фельдфебель, а когда больные построились в колонну, доложил коменданту: - Семьдесят два симулянта.

Комендант метнул взгляд на Оскара:

– А вас, господин доктор, попрошу ко мне в шрайбштубу, - улыбнулся, повернулся и направился восвояси...

Когда доктор вошел, комендант уже сидел за письменным столом. Глаза его показались доктору дружелюбными. Он кивнул на табурет.

– Так-так, значит, русскому доктору непристойно лечить солдат великой империи? - спросил оберштурмбанфюрер. - Что-то не вяжется с убеждениями медиков: «Для доктора нет врагов, есть только больные». -

Немец смотрел и улыбался.

Доктор молчал.

От крашеного пола, от цветочных горшков на окне, от ходиков на стене веяло провинциальным покоем. Привычным и милым казалось подрагивание стекол и грохот, шедший со стороны города, - видимо, разгружались советские бомбардировщики.

Как не похож был немецкий армейский офицер с погонами боерштурмбанфбрера на того офицера гестапо — оберштурмбанфюрера Курта Ульбрихта, беседовавшего с доктором несколько дней назад. Но вот оберштурмбанфюрер с меловым следом на плече от мазаной печи подошел к сидевшему на деревенской табуретке доктору медицинских наук, носившему военную форму, человеку, рожденному доброй матерью, и врезал ему кулаком по лицу. Доктор провел рукой по губам и по носу, посмотрел на свою ладонь и увидел кровь, смешанную со слюной. Потом он пожевал. Язык окаменел, и губы онемели. Он посмотрел на крашенный, недавно вымытый пол и проглотил кровь.

И тут же появились приметы «того» в наигранной манере «этого»... У «ласковых» злодеев больше всего и получается злодейство. «Ласковые» - самые страшные. У них свое зло, как нарыв в утробе, покоя им не дает, - пришли на ум мысли из деревенских мальчишеских рассказов о «порчах» колдунами людей. И этот их таких.

Ночью возникло чувство ненависти к фашисту. Но в первые минуты не было ни ненависти, ни физической боли. Удар по лицу означал духовную катастрофу и не мог ничего вызвать, кроме ощущения оцепенения, остолбенения.

В душной каморке с бревенчатыми стенами его захлестнули отчаяние и ярость — он терял самого себя. Выродок бил его. Мутилось сознание, и до судороги в пальцах хотелось броситься на фашиста.

Доктора поместили в освободившуюся одиночку. Он в полутьме различил на столе котелок и нащупал рядом вылепленного из хлебного мякиша зайца. Видимо, предшественник совсем недавно выпустил его из рук: хлеб был еще мягкий, и только уши зайца зачерствели.

Стало тише... Доктор. Полуоткрыв рот, сидел на нарах, не мог спать — слишком о многом надо было думать. Но оглушенная голова не могла думать, виски сдавило. В затылке стояла мертвая зыбь, все кружилось, качалось, плескалось, не за что было ухватиться, чтобы начать тянуть мысль.

Ночью в коридоре послышался шум. И тут же дверь в камеру отворилась, немец крикнул:

– Входи!

Перед доктором стоял человек, босой, в нижнем белье.

Доктор много видел плохого в жизни, но, едва взглянув, понял — страшней этого лица он не видел. Оно было маленькое, с грязной желтизной. Оно жалко плакало все — морщинами, трясущимися щеками, губами. Только глаза не плакали, и лучше бы не видеть этих страшных глаз — таким было их выражение.

Ночью у Оскара был сердечный приступ. Он лежал, упершись головой в стену, в ужасной тоске, какая приходит к умирающим в тюрьмах. От боли доктор на время потерял сознание. Он пришел в себя, боль ослабла, грудь, лицо, ладони покрылись потом. В мыслях наступили кажущаяся, мнимая ясность.

Наутро доктора снова повели в комендатуру. Он вдыхал сырой холод, и сердце его наполнилось верой и светом, - страшный сон, казалось, кончился.

- Вы эстонец, я отлично это знаю, - сказал комендант, когда доктор вошел. - Но это и хорошо, даже очень хорошо... Немецкое командование будет вас оберегать, хорошо платить. Вы будете у нас большим доктором. Немцы высоко ценят тех, кто им помогает...

- Об этом я уже слышал, - твердо сказал доктор.

Он стоял перед комендантом в своей жалкой одежде, держа в руке шапку, суровый, непоколебимый, уверенный в своей железной правоте.

Комендант грузно поднялся:

- Я, должно быть, неудачно высказал свои мысли и вы не поняли меня?..

- Гут! Сейчас вам помогут получше осмыслить мое предложение. Он открыл дверь, крикнул: - Херейн!

Вошел рослый немец с засученными рукавами черной рубахи, с ним еще двое.

- Помогите русскому доктору, у него что-то неважно с мышлением, - сказал им комендант. - Полечите его покрепче.

Доктора били, но не по-простому, по лицу, как в первый раз, а продуманно, научно, со знанием физиологии и анатомии. Били его двое одетых в гражданские костюмы молодых людей.

- Какие только матери народили на свет подлецов таких?! Вы же не люди, звери, хуже зверей!.. - кричал им доктор.

Они работали не сердясь, без азарта. Казалось, били не сильно, без размаха, но удары были какие-то ужасные, как ужасно бывает подлое, спокойно произнесенное слово.

У доктора полилась изо рта кровь, хотя по зубам его ни разу не ударили, и кровь эта шла не из носа, не из челюстей, не из прикушенного языка...

Это шла глубинная кровь из легких. Он уже не понимал, где он, не помнил, что с ним...

Вскоре доктор снова сидел у стола, слушал толковые вразумления. Шли часы, беседа продолжалась, казалось, уже ничем нельзя ошеломить доктора, вывести его из сонной одури. Но все же, слушая новую речь фашиста, он удивленно полуоткрыл рот, приподнял голову.

- Будем так уродовать вас неделю, месяц, год... - улыбаясь, говорил комендант. - Давайте по-простому: вы соглашаетесь работать на великую Германию, а мы вам — все привилегии. И допрос окончен, никаких обвинений. Думаете, мне приятно, когда вас бьют?

Под утро доктора снова били, и ему казалось, что он погружается в теплое черное молоко... Фашист, пытливо глядя на доктора, никак не мог понять, почему землисто-желтое лицо доктора, с запавшими, затекшими глазами, с черными следами крови на подбородке, улыбается счастливо и спокойно. Он принял его улыбку за проявление безумия.

И снова доктора увидел хмурый дневной свет, казалось, он шел не от солнца, не с неба, а от серых досок лагерной тюрьмы. Нары были пустыми — то ли соседа перевели, то ли его здесь и не было. Доктор лежал расплосованный, потеряв себя, с заплеванной жизнью, с ужасной болью в пояснице, кажется, ему отшибли почки.

В горький час сокрушения жизни он понял силу женской любви. Жена!

Только ей дорог человек, затоптанный чугунными сапогами. Весь в харкотине, а она моет ему ноги, распутывает его спутанные волосы, она глядит ему в закисшие глаза. Чем больше раскрыли ему душу, чем отвратительней он и презренней для мира, тем ближе, дороже он ей.

Теперь он знал, как раскалывали человека, как подчиняли его своей воле.

В кабинете представителя национал-социализма человек начинает осознавать, что его прожитая жизнь ничего не значит, его знания, его работа — чепуха! И еще: человек не только физическое ничтожество. Тех, кто продолжал упорствовать в своем праве быть человеком, начинали расшатывать и разрушать, раскалывать, обламывать, размывать и расклеивать, чтобы довести до той степени рассыпчатости, рыхлости, пластичности и слабости, когда не хочется уже ни справедливости, ни свободы, ни даже покоя, а хочется лишь одного: чтобы избавили от ставшей ненавистной жизни.

Разрушая физическое, а затем духовное в человеке — бесприкрытый ход гестаповской работы. Душа и тело — сообщающиеся сосуды, и, разрушая, подавляя оборону физической природы человека, нападающая сторона всегда успешно вводила в прорыв свои подвижные средства, овладевала душой и вынуждала человека к безоговорочной капитуляции.

Думать обо всем этом не было сил, не думать об этом тоже не было сил. Мысли жгли так сильно, что доктор минутами забывал о ломоте в спине и пояснице, не ощущал, как набрякшие ноги распирали голенища сапог.

Боль в спине и боль в ногах, изнеможение подминали его.

Днем принесли миску супа, рука так дрожала, что приходилось наклонять голову и прихлебывать суп с края миски, а ложка стучала, выбивая дробь.

— Кушаешь ты, как свинья, - с грустью сказал охранник.

Потом было еще одно «событие»: доктор попросился в уборную. Он был уже не в состоянии размышлять, идя по коридору, но, стоя над унитазом, он все же подумал: хорошо, что спороли пуговицы, пальцы дрожат — ширинку не расстегнуть и не застегнуть.

Снова шло, работало время. Национал-социализм в погонах оберштурмбанфюрера исполнял свои обязанности. Густой серый туман стоял в голове, наверное, такой туман стоит в мозгу обезьяны.



Не стало прошлого и будущего. Лишь одно — скорее бы конец. Ощущение легкости и чистоты охватило доктора. Он сидел в спокойной задумчивости. Он не верил в Бога, но почему-то в эти минуты казалось —

Бог смотрит на него. Никогда в жизни не испытывал Оскар такого счастливого и одновременно смиренного чувства. Уже не было силы, способной отнять у него правоту. «Как мне хорошо, светло», - подумал он.

Никогда, казалось, он не был так серьезен в своих мыслях о жизни, о близких, в понимании себя, своей судьбы.

Итак, Миша влился в общую массу жителей вонючих бараков, спал на голых досках двухъярусных нар, в общем строю шлепал по лужам на работу. Лозунг на лагерных воротах «Труд делает свободным» теперь поглотил в себя и Михаила.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы, «отборной картошки» и саго, которое русские называли «рыбий глаз», - все это было одинаково для сотен жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке.

Военнопленные понимали друг друга в своем разноязычии, их связывала одна судьба. Студенты Ленинградских вузов и выпускники российских средних школ лежали на нарах рядом с узбекскими сборщиками хлопка и грузинскими чабанами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал своей жене завтрак и тревожил маму своим плохим аппетитом, и тот, кто лопал соленую треску с ячневой кашей в поселковой столовке, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами, и с тоской поглядывали, не идут ли носильщики бачков - «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садом на берегу реки, с непосильным трудом на колхозных полях или зубрежкой учебников перед сессиями в учебных заведениях — у всех военнопленных, до единого, прошлое было прекрасно. Чем тяжелей была у человека лагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и командиру крупных воинских частей с кубиками в петлицах, младшим командирам с треугольниками и солдатам с обмотками на ногах национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы в морском порту и на железнодорожной товарной станции.

Казалось, что для управления громадой военнопленных нужны были миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так.

Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС. Сами военнопленные приняли на себя обязанности полицейской охраны в лагерях.

Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, смотрели, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Военнопленные были врачами, уборщиками, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных автомашин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — капо, носившая на левых руках широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры охватывали своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных событий до частных дел, происходивших ночью на нарах. Военнопленные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на наказание провинившихся карцером и ночной каторгой. Казалось исчезни начальство — заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проводке, чтобы не разбежаться, а работать.

Это капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже плакали по тем, кого отводили в карцер. Однако раздвоение это не шло до конца — своих имен в списки на наказание они не вставляли.

В пять часов утра дневальные будили пленных. Стояла глубокая темнота, бараки в это время освещались безжалостным светом, которым освещаются тюрьмы, узловые железнодорожные станции. Сотни людей, харкая, кашляя, подтягивали ватные штаны, наворачивали на ноги вонючие портянки, чесали бока, животы, шеи. Когда спускавшиеся со вторых этажей деревянных нар задевали ногами головы одевавшихся внизу, те не ругались, а молча отодвигались, отпихивали рукой толкавшие их ноги.

В ночном пробуждении массы людей, мелькании портянок, движении спин, голов, махорочного дыма, в воспаленном электрическом свете была пронзительная неестественность: над огромным городом застыла полная тишина, а лагерь был набит людьми, полон движения, дыма, света.

На широком лагерном поле под непрерывный лай собак начиналась проверка. Голоса конвойных звучали простужено и раздраженно... Но вот широкий, взбухающий от обилия живой поток поплыл по городу в сторону двенадцатичасовой каторги.

В этот холодный ночной час начинался рабочий день на лагпункте великой лагерной громады немецкого национал-социализма.

Скотское обращение вершителей судеб, постоянный страх перед ними опустошили людей лагерного барака, - не только быт их, но и мысли были бедны, однообразно тоскливы.

Постепенно Миша подчинился этому унылому однообразию. Он был всегда равнодушен к еде, а здесь постоянно думал о ней. Кислая болтушка из шрапнельной крупы или чахлой капусты на первое, гнилая картошка на второе стали кошмаром его жизни.

Сидя в полутемном бараке за дощатым столом, залитым лужами супа, глядя на людей, хлебавших из плоских жестяных мисок, он испытывал тоску, хотелось скорей выйти из-за стола, не слышать стука ложек, не ощущать тошнотворного запаха. Но он выходил на воздух, и пища снова влекла его к себе, он думал о ней, высчитывал часы до завтрашнего обеда.

Никогда Миша не думал, что человеческая спина может быть так выразительна, так пронзительно передавать состояние души. Люди, подходившие к окошечку пищеблока, как-то по-особенному вытягивали шеи, и спины их, с поднятыми плечами, с напряжинившимися лопатками, казалось, кричали, плакали, всхлипывали.

Вначале Миша удивился, что люди барака, казалось, не думали о войне, головы их были забиты вопросами жратвы, курева, стирки. Но вскоре он заметил, что и его голова полна всяких бытовых тревог, надежд и огорчений. Долгое время он не понимал, почему так часто стал чесываться, не замечал понимающей улыбки собеседника, когда во время разговора вдруг свирепо скреб под мышкой или ляжку. День ото дня он чесался все усердней. Привычными стали жжение и зуд возле ключиц, под мышками. Ему казалось, что у него началась экзема, и он объяснил ее тем, что кожа у него стала сухой, раздражена телесной грязью. Иногда зуд был таким томлящим, что он, сидя на нарах, неожиданно начинал скрестить ногу, живот, копчик.

Особенно сильно чесалось тело ночью. Миша просыпался и с остервенением долго драл ногтями кожу на груди. Однажды он, лежа на спине, задрал кверху ноги и, стелая, стал чесать икры. Экзема усиливалась от тепла, он подметил это: в одежде тело чесалось и жгло совершенно нестерпимо. Когда он раздевался, зуд стихал.

Как-то утром он оттянул ворот гимнастерки и увидел на воротнике вдоль швов шеренгу сонных, матерых вшей. Их было много. Миша со страхом, стыдясь, оглянулся на лежавшего по соседству с ним парня, парень уже проснулся, сидел на нарах и с хищным лицом давил на своих раскрытых подштанниках вшей. Губы парня беззвучно шептали, он, видимо, вел боевой счет.

Миша снял с себя рубаху и занялся тем же делом.

Сосед, серьезно глядя на Мишу, доверительно сказал:

- Есть один хороший способ. Нюхательный табак! Натолочь кирпича и смешать с нюхательным табаком. Посыпать белье. Вошь начнет чихать, мотнется и раздробит себе башку о кирпич.

Лицо его было серьезно, и Миша не сразу понял, что сосед шутит. Частым собеседником был странный, неопределенного возраста человек - Георгий. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша.

Военнопленные звали Георгия «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью.

Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким ясным голосом может действительно говорить только безумный.

Познакомился Георгий с Мишей таким образом: подошел к Мише и молча долго всматривался ему в лицо.

- Что скажет добрый товарищ? - спросил Миша и усмехнулся.
- Не смейтесь надо мной! - Горестный голос его прозвучал трагично. - Я не ради шуток подошел к вам... Вот я хотел спросить комсомольского человека. Говорят, товарищ Миша, что при коммунизме все станут получать по потребности, это как же тогда будет, если каждому, особенно с утра, по потребности, - сопьются все?

Миша повернулся к Георгию и увидел на его лице истинную заботу. А Миша смеялся, смеялись его глаза, большие широкие ноздри раздувало смехом.

Сосед с перевязанной окровавленным, грязным бинтом головой спросил:

- А вот насчет колхозов я бы так сказал: ликвидировать их, к чертям собачьим, после войны.

Георгий работал на очистке выгребных ям и вывозке помоев. Рабочих на этом участке называли золотокопами, обычно сюда попадали люди провинившиеся или пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Георгия были маленькими, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный нечистотами, мокрый, подходил к нарам Михаила и спрашивал:

- Разрешите посидеть возле вас?

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей, темно-коричневой шеи и рук с обломанными ногтями.

Ночью, когда лагерники засыпали, Георгий становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его исступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного лагеря. Жилы напрягались на его шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства.

Молился он долго, и Миша засыпал под негромкий быстрый шепот Георгия. Просыпался Миша, обычно поспав полтора-два часа, и тогда Георгий уже спал. Спал бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божией Матери.

Он никогда не укорял людей за безбожие,

часто расспрашивал Мишу о Ленинграде, слушая, кивал, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях. Его черные глаза с печалью смотрели на Мишу. Иногда сердито спрашивал:

– Вы меня понимаете?

Миша улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и соусе из помидоров:

– Я понимаю вас, что вы говорите, я не понимаю только, о чем вы думаете и на что намекаете.

Сегодня Миша узнал о судьбе Оскара. Маршируя в колонне на работу, к нему пробрался сквозь строй Алексей.

– О докторе что-нибудь слышал? - спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: - Фельдфебель донес, что дела его плохи. Он так и сказал: «Обрабатывает его сам Хайнц Шнебель. А это не шутка». - Алексей посмотрел вокруг, его темные глаза вдруг заблестели. Он нагнулся к Мише поближе: - Бежать надо поскорей отсюда.

Мише показалось, что Алексей пошутил, он уже не раз слышал как бы случайно брошенные им слова о побеге, но на этот раз он был совершенно серьезен.

– При такой-то охране?! Да еще с нашими силенками... - удивился Миша. Алексей отнесся к его словам спокойно, только сдержанная усмешка тронула губы:

– На то у нас и котелок на плечах... Что-нибудь придумаем.

– По пути в лагерь я всю дорогу думал, да толку что... Случая так и не подвернулось, - сказал Миша.

– Ждать случая — это ждать погоды у моря... Слышал когда? - спросил он Мишу.

– Слышал... А ты слышал: «Риск жизни стоит»? - спросил Миша Алексея.

– Это когда как. Есть ребята, которые делали попытку.

– Ну и что?

– А ничего... Не очень здоровы, но живы.

Помолчали.

– Комендант здесь с вывихом, - сказал Алексей. - Бандит, а к подобным делам у него свой подход. За мелочи могут застрелить на месте. До коменданта и не дойдет. А вот дела покрупнее — доносятся. Тут- то он и начнет отводить душу... И странное дело, - продолжал он, - чем меньше человек провинится, тем больше этот бандит издевается над ним. И наоборот... Когда пленный совершит, ну, скажем, побег, у него даже глазищи засверкают. Потом посадит в блок, если не окочуришься — снова в колонну... Непонятная сволочь... У меня дружок бежал — поймали.

– Издевались? - спросил Миша.

Еще как! Ходит теперь со шрамами на лице. Сначала он думал, не выдержит, вконец измотали. То в бункер, то в штрафной блок, то, как и других, чучелом в огород...

Очищал уборные, возил бочку за город, исполнял должность лошади, - пошутил Алексей. Он помолчал немного, потом едва слышно повторил: - Бежать надо и нам, Миша, и поскорей! Побыстрее на фронт, отвоевывать грехи наши, - улыбнулся он.

Миша смотрел на Алексея — у него словно внутри огонь. Смуглое энергичное лицо, сильная костистая фигура. На лице тоже были шрамы.

– Как тебе удалось сохранить силы — спросил Миша.

Алексей улыбнулся, хитро подмигнул:

– Друзья мои, лагерники, эстонцы, познакомили меня с земляками... в лагере по найму работают. Дошло? - спросил он Мишу.

– Не совсем, - сказал Миша.

– Кое-кто работает столярами. У них всегда клей казеиновый. Некоторые — малярами, у них малярный клей — заваренная ржаная мука, обои клеят. Вот мы клей и рубаем от пуза... Завтра же и тебя устрою. Четвертым будешь. Силенка для побега нужна, - добавил он.

Жизнь Алексея до войны была нелегкой. Родители его, крестьяне, работали в колхозе под Кингисеппом. Колхоз был бедный, а семья большая, и они едва перебивались, как говорится, с хлеба на квас. С трудом удалось Алексею окончить военное училище, а в 1940 году военная часть, в которой он служил, вошла в Эстонию. Здесь и встретил войну. В боях под Псковом Алексея ранило, и он попал в плен, был помещен в Таллинский лагерь для военнопленных.

В конце августа, во время работы на товарной станции морского порта, Алексею удалось перехитрить охрану, и он бежал из плена.

По пути к линии фронта решил заглянуть домой. Чтобы не заблудиться в лесу, шел вдоль шоссе. Мимо него изредка проходили автомашины, мотоциклисты, конные повозки.

По пути попался овраг, под мостом протекал ручей. Алексей подошел к ручью напиться. В это время со взгорка, замедляя газ, вынырнул мотоциклист. Чтобы не рисковать, Алексей спрятался под мостом.

«Неужто остановится»? - подумал он.

Мотоциклист остановился у самого моста.

– А ну, вылезай, босяк! - крикнул он Алексею по-русски, слезая с мотоцикла.

Алексей стоял по колени в воде и не двигался с места. Мотоциклист подошел ближе, заглянул под мост.

– Почему прячешься?.. Подойди сюда, - сказал он спокойно.

К горлу подкатил давящий комок. Алексей вышел.

– Подойди ближе!.. - приказал мотоциклист.

Медлить было нельзя. Метнулся к немцу, сшиб его с ног, сдавил горло. Лицо немца налилось кровью, стало темнеть. Алексей отпустил руки.

Мотоциклист лежал с открытыми глазами, потом пошевелил губами.

Очухался? - спросил его Алексей.

- Не совсем... - едва слышно ответил тот. - Зачем ты так? Я ведь не фашист...
- Все вы ангелы, как дело до смерти дойдет. Куда стопы направил? - спросил Алексей, рассматривая отобранные у мотоциклиста документы.
- Колонист я... Из-под Кингисеппа. Советский немец, служу переводчиком в штабе дивизии.
  - Предатель, значит... Куда, говорю, чешешь? - повторил Алексей.
  - Я не делал ничего плохого, заставили. Еду домой, в Кингисепп. «Что же мне делать с ним?» - подумал Алексей. И тут неожиданно пришла идея.
    - Раздевайся! - приказал он мотоциклисту. Тот приподнялся, устался на Алексея.
- Я ничего тебе не сделаю, - улыбнулся Алексей. - Поменяемся костюмами, и все тут. С вашего разрешения я укачу в твоей форме и на твоей коляске... Понял?
  - Понял, - ответил тот и стал раздеваться.
- А ты пешком, здесь до города - рукой подать... Извини, у меня выхода нет, ты все равно меня немцам заложишь.

Алексей скинул свою одежду, надел немецкую форму, сел на мотоцикл и помчался по шоссе в сторону Кингисеппа.

По обе стороны дороги тянулись леса и болота, штабеля заготовленной древесины, лагерная проволока, бараки и землянки, словно поганые грибы на высоких ножках, стояли сторожевые вышки. Дважды Алексея задерживали — дорожная стража, видимо, искала заключенного, совершившего побег. Хотя на плечах Алексея были лейтенантские погоны, а документы выправлены по всем правилам, при проверках он все ждал, что ему скажут: «А ну, поворачивай», и отвезут в лагерь.

Видимо, даже воздух в этих местах был какой-то запроволоочный.

К вечеру мотоцикл доставил Алексея в деревушку, лепившуюся между опушкой леса и краем болота. Он запомнил закат, такой тихий и кроткий среди болота. Избы при вечернем свете казались совершенно черными, вываренными в смоле.

Села своего Алексей не нашел. На том месте, где должны были ютиться стройные рубленый поселковые дома, торчали обгорелые трубы и обугленные фундаменты. Алексей пробовал расспрашивать одиноких сельчан, но они отвечали односложно, видимо, боялись его военной немецкой формы. Наконец, нашел поселенцев своего сожженного села. Он вошел в землянку, вместе с ним вошел вечерний свет, а навстречу — сырость, духота, запах пищи, одежды и постели, дымное тепло...

Из этой темноты возник отец — худое лицо, прекрасные глаза, поразившие Алексея своим непередаваемым выражением.

Старые, худые, грубые руки обняли шею сына, и в этом судорожном движении измученных старческих рук были выражены робкая жалоба и

такая боль, такая доверчивая просьба о защите, что только одним мог ответить на все это Алексей — заплакал.

Потом они постояли над тремя могилами: мать умерла вскоре по приходе немцев, за ней старшая сестра, Галина, а потом и младшая, Вера.

Кладбище в лагерном крае слилось с бывшей деревней, и тот же мох рос под бывшими стенами изб и на скатах землянок, на могильных холмах и на болотных кочках. Так и останутся мать и сестра под этим небом — и зимой, когда холод вымораживает влагу, и осенью, когда кладбищенская земля набухает от подступающей к ней темной болотной жижи.

Отец стоял рядом с молчавшим сыном, тоже молчал, потом поднял глаза, посмотрел на Алексея и развел руками: «Простите меня мертвые и живые, не смог я сберечь тех, кого любил».

Ночью отец рассказывал спокойно, негромко. О том, о чем говорил он, лишь спокойно и можно было говорить, - воплем, слезами этого не выскажешь.

На ящике, покрытым тряпкой, лежали привезенные сыном позаимствованные у немца-колонииста угощения, стояла поллитровка.

Старик говорил, а сын сидел рядом, слушал.

Отец рассказывал о голоде, о смерти деревенских знакомых, о сошедших с ума старухах, о детях — тела их стали легче балалайки, легче куренка.

Голодный вой день и ночь стоял над сожженной деревней.

Жители села и окружных деревень сотню километров шли пешком, удирая от немецкого нашествия. И женщины несли детей на руках.

Прошла эту пешую дорогу и больная мать Алексея, тащилась и в дождь, и в жару, с потемневшим разумом. Немецкие пикировщики нависали над дорогой, по которой шли беженцы, расстреливали людей из пулеметов, сбрасывали бомбы. Отец рассказал, как немцы отрезали перед ними дорогу, окружили то место, по которому рассеялись люди, собрали их снова на дорогу и погнали обратно... Привели в сожженное село, а потом в это болото, не ни землянки, ни шалаша, и начали они там новую жизнь, разводя костры, устраивая постели из еловых веток, подогревая в котелках болотную воду. Рассказал, как хоронили умерших...

— На все воля Божья, - сказал отец, и в словах его не было гнева, обиды — так говорят простые люди о могучей, не знающей колебаний судьбе.

А утром в землянку пришли немцы, и прямо в нижнем белье увезли Алексея обратно в Таллинский лагерь для советских военнопленных.

Комендант лагеря оберштурмфюрер Хайнц Шнебель не расстрелял Алексея за побег, положил руку на его плечо, сказал по-русски: «С приездом!» - и отправил в карцер.

В рассказе Мише о неудавшемся побеге из лагеря своего дружка Алексей рассказывал о себе, но признаться в этом не захотел.

На следующий день копали ямы для телефонных столбов на территории лагеря. Мимо в барак прошел рабочий с ведром в руках. Алексей поздоровался с ним, кивком головы показал на ведро.



Рабочий тоже кивнул Алексею. А когда часовой отошел в сторону, Алексей быстро юркнул в барак. Рабочий уже ждал его, сунул в руку кусок картона вместо ложки... Наевшись, Алексей незаметно вышел из барака.

– Иди — шепнул он Мише.

Рабочий поставил перед Мишей ведро, а сам встал у двери. На дворе было тихо, только изредка доносились надрывные голоса конвойных да звонкие удары ломов о каменистую землю. Миша поел немного, кивнул рабочему в знак благодарности и вышел из барака.

Вскоре возле работающих появился фельдфебель. За ним неотступно следовал конвойный.

– Полундра! - шепнул Алексей. - Пошевеливайся... Нельзя останавливаться, пока тут торчит эта сволочь.

Он взялся за столб, пытался поднять его. Одному не справиться, Миша подхватил с другого конца, но поскользнулся, выпустил бревно из рук.

– И это называется работа?! - заорал фельдфебель. - Саботажник! Лос, лос! Далли, далли! - У него на висках вздулись вены.

Фельдфебель обошел вырытую яму, не выпуская Мишу из поля зрения, приблизился к нему. Конвойный сорвал с плеча карабин, затрусил за фельдфебелем, словно идущая по следу охотничья собака. Фельдфебель остановился возле Миши, упер кулаки в бок.

– Варум ни хт работай! - закричал он.

Миша молчал... Да и что отвечать, ведь работает же, но поднять бревно ему не под силу. Пожав плечами, Миша показал на здоровенный столб, лежавший у его ног.

– Не поднять одному, - сказал он твердо.

– Поднимешь! Далли, далли!

Миша наклонился, но недостаточно проворно. Конвоир повернул карабин прикладом вперед.

– Ты что, не слышишь, что сказал господин фельдфебель?.. А ну! - Подкованный железом приклад угрожающе завис над Мишиной головой. Миша попятился и, оступившись, упал на столб, соскользнув, повалился лицом на землю. Его обожгло точно огнем. «Вскочить и вцепиться в глотку этой сволочи», - пронеслось в голове, судорожно вцепился пальцами в гладкую поверхность бревна так, что сломал ногти.

Отвращение, предчувствие своей покорности охватило его. Не было, не было сегодня в нем силы. Не только страх сковывал, но и совсем другое, покорное чувство.

Как страшно устроен человек! Он нашел в себе силы отказаться от жизни в бою — и вдруг тяжело отказаться от нее сейчас. Попробуй отбрось все сильную руку, которая вот-вот схватит тебя за горло!

Конвойный снова занес приклад:

– Кто приказал ложиться?.. А ну вставай, саботажник!

Фельдфебель отстранил конвойного.

- Отнеси бревно к яме! - приказал он Мише.  
За второй конец взялся Алексей.

- Нет, понесешь один! - скомандовал фельдфебель и оттолкнул Алексея в сторону.

Миша что было мочи напряг мускулы, Попытался рывком поднять бревно на плечо, вот оно уже отделилось от земли... Еще немножко! Ну хоть полметра!..

Алексей снова поспешил на помощь.

- Хальт! - закричал фельдфебель.
- Не отпускай! - взмолился Алексей. - Еще немного — и ты выдюжишь! От натуги в глазах поплыли серебристые огоньки. Еще одно, последнее усилие... Но тут бревно выскользнуло из рук и упало на землю. Конвойный направил на Мишу дуло карабина, щелкнул затвором. Миша не помнил, как снова взялся за бревно, как обнял его руками, как напрягся из последних неизвестно откуда взявшихся сил, волоком потащил бревно к яме...

- Гут! - удовлетворенно буркнул фельдфебель, показывая свою власть. Миша молчал, но молчание его не было легким. Холодок страха коснулся Миши, того, что всегда тайно жил в сердце, - страха перед зверствами немцев, страха оказаться жертвой этого зверства, обращающего человека в пыль.

Этот день показался Мише каким-то кошмаром. Даже поздно вечером, когда в лагере наступила тишина, перед его лицом все еще крутились лица фельдфебеля и конвойного, ямы, бревна, камни... двенадцать часов под проливным дождем: таскать, копать, грузить, разгружать, поднимать... «Бегом, марш! Не останавливаться! Шнель-шнель! Давай!» - эти выкрики застряли в мозгу на всю жизнь.

Полумертвые, доплелись они до барака и, едва покончив с едой, заползли, с трудом сгибая руки и ноги, на свои нары...

У Миши появились новые друзья — Урмас Вильман и Микк Тяяль. С ними познакомил его Алексей. «Свои в доску, - сказал он. - Верь, как себе».

И он рассказал о Микке, о дружбе с ним и первой с ним встрече еще до лагеря.

- Я все не мог отделаться от навязчивой мысли: кого же мне напоминает Микк? И в первую очередь эти мысль у меня зародилась. Но отошла. Привык к нему, такому, каким видел его за работой. И вот опять надавило на память... Среднего роста, поджарый. Светлые волосы, и лицо вроде бы в мелких веснушках, как у мальчишки, моложавый вид, неторопливый и назойливый. Не нахален, одним словом...

И вспомнился-таки Алексею один стрелок-бронбойщик. Похож больше не внешностью, а какой-то своей незаметностью, неказистостью.

А было так. Пошел как-то Алексей по окопам вдоль переднего края обороны. Увидел бронбойщика, рыжеватого, в веснушках паренька...

Он так вроде бы и сидел у своего ПТР. У бойца была медаль «За боевые заслуги». Он ее пришил к гимнастерке крест-накрест суровыми нитками, видимо, прихваченными из дому. Мать, конечно, надоумила.

Алексей улыбнулся, поглядел на такое изобретение воина, подумал о суеверной примете — оберег от пули ниточным крестом. А парень, заметив взгляд Алексея, сказал о медали:

- Потускнела, зато на солнце не блестит... Ниткой пришил — цепляется, когда ползешь. Неровен час, оборвется.
- По танкам-то приходилось стрелять? - спросил Алексей шутливо. Кто-то рядом хохотнул. Главное, мол, чтобы танк тебя не увидел. А бронбойщик, не обращая внимания на смешок, сказал, ничуть не удивленный вопросом:
- Пять легких подбил... Тут уж не дам соврать. Если тяжелые, то бьешь по гусеницам. А потом, как танк встанет, артиллеристы его добивают снарядами... Им почет тут и слава. А так по амбразурам больше, по пулеметным гнездам... Ружьишко хорошее, метко бьет, ничего не скажешь. В пятка не ручаюсь, а в каску не промахнусь на сто пятьдесят.

Опять кто-то сострил:

- За сто пятьдесят?.. Это можно.

Стрелок не ответил.

Алексею понравилось уверенное «на сто пятьдесят». Он спросил об этом стрелке «старичков»:

- Как могло случиться, что герой остался незамеченным?

Политрук роты был новичок, ничего объяснить не мог, а солдаты опять шутили:

- Он у нас везучий. Как пришел в роту, так и не отдыхал.

«Отдыхать» - означало побыть в госпитале после легкого ранения.

- А разобраться, так он настоящий герой, - сказали о нем бойцы. - Просто Микк не любил хвастаться. Вылезет вперед в укромное местечко и постреливает себе молчком. И нам хорошо, в отличии от фрицев. Дзоту их уж не даст жить...

И действительно, какое тут геройство! Просто парень метко стрелял из-за бугорка или из лощинки, где оборудовал свой окопчик.

Стрелок-бронбойщик, то ли шутя, а похоже, что и всерьез, сказал Алексею:

- Без больших наград спокойнее. Жив — это и награда. А тут наградят, а награда-то возьмет да и отымет главную твою награду — жизнь. Так лучше уж без наград. Вот медаль дали...
- Это и был Микк. Здесь я его просто не узнал в другом наряде, - закончил Алексей свой рассказ.

Мише сейчас почему-то подумалось: бронбойщик остался в живых. А те, погибшие на поле, танком раздавленные, живыми не виделись. Словно они и не были никогда живыми.

Но жалость к ним жгла душу со знанием какой-то невольной своей вины перед ними. И чувство это уже не отступит...

Солдаты всегда чувствовали себя в долгу перед теми, кто погиб рядом с ними. Не лично перед ними, погибшими, а перед их детьми, сиротами. И там, на фронте, каждый считал себя обязанным потом, в мирной жизни, если она ему выпадет, облегчить участь осиротевших...

Урмас поставил на стол котелок с водой и сказал Мише:

– Два сухаря есть, погрызем?

- Погрызем, - согласился Миша, с улыбкой поглядывая на высокого парня с худощавым волевым лицом.
  - Улыбаешься чему? - не понял его Урмас.
- Шинель у тебя не по фигуре. Ты в ней как клоун в цирке... Видал когда? Урмас посмотрел на свою заношенную, пропитанную маслом и грязью шинель, вполне серьезно сказал:
- Действительно, не первой она свежести, пообтрепалась немного. - Потом улыбнулся, добавил: - Она мне к лицу: рожа чумазая, и шинель ей под стать.

Макали в воду черные сухари, посыпали их крупной солью и жевали, поочередно запивая водой из котелка. Урмас много рассказывал, человек он, как видно, выдающегося таланта, говорил обо всем многословно, книжными словами. Не верилось, что он происходит из семьи матроса Балтики — такой гладкой была его речь. Был он человек добрый и возвышенный, а выражение лица имел хитрое, жесткое.

Не походил Урмас на матроса Балтики и тем, что совершенно не пил спиртного, боялся сквозного ветра, опасаясь инфекций, непрерывно мыл руки и обрезал корку с хлеба в том месте, где касался ее пальцами. Миша удивился: человек так изящно, смело мыслил, лаконично выражал и доказывал сложнейшие и тонкие идеи и так нудно и многословно во время встреч травил баланду.

На следующий день Миша сидел с Микком, сероглазым пареньком со светлыми бровями. Лишь внимательно всмотревшись в широконосое лицо Микка, Миша подметил в нем едва уловимые отклонения от обычного русского, славянского типа. А в короткие мгновения, при неожиданном повороте головы, все эти мелкие отклонения объединялись, и лицо преображалось в лицо прибалта.

Вот так же иногда на улице Михаил угадывал евреев в некоторых людях с белокуроыми волосами, светлыми глазами, вздернутыми носами. Что-то едва осязаемое отличало еврейское происхождение таких людей, - иногда это была улыбка, иногда манера удивленно морщить лоб, прищуриваться, иногда пожатие плеч.

Родился и вырос Микк, как и Урмас, в Прибалтике, в небольшом городе Тапа. Там жила его мать. Урмас — из Орры. Они говорили, и Миша долго не мог понять то особенное, что было в их разговоре.

Потом понял: они говорили не о войне. Микк сказал только, что он ранен под Кингисеппом, здесь и попал в плен.

Эти ребята не ходили на работу в общей колонне, они работали в автогараже слесарями.

Микк стал жаловаться Мише: его агитируют вступить во власовскую армию, если не согласится, выгонят из гаража и направят рыть котлованы.

Они сидели на гряде досок, и Микк, широконосый, широколобый, настоящий сын своего народа, глядя в сторону часового, ходившего неподалеку, сказал:

- Некуда мне податься, только в добровольческое формирование или в доходяги и накрыться.
  - Для спасения жизни, значит? - спросил Миша.
- Я вообще не кулак, - сказал Микк, не вкалывал на лесозаготовках, а на коммунистов все равно обижен. Вторглись без спросу и диктуют, как хотят. Этого не сей, на этой не женись, эта работа не твоя. Нет вольного хода. Человек становится как попка. Мне хотелось с детских лет, магазин свой открыть, чтобы всякий в нем все мог купить. При магазине закусовая, купил, чего тебе надо, и пожалуйста: хочешь — пивка, хочешь — пей рюмку, хочешь — жаркое. Я бы, знаете, как обслуживал? Дешево! У меня в ресторане и деревенскую еду бы подавали. Пожалуйста! Печеная картошка! Сало с чесноком! Капуста квашеная! Я бы, знаете, какую закуску людям давал — мозговые кости! Кипят в котле, пожалуйста, сто грамм выпей — и на тебе косточку, хлеб черный, ну, ясно, соль. И всюду кожаные кресла, чтобы вши не заводились. Сидишь, отдыхаешь, а тебя обслужат... Скажи я такое дело — меня бы сразу в Сибирь. А я вот думаю: в чем особый вред для народа в таком деле? Я цены назначу вдвое ниже против государственных. - Микк покосился на Мишу: - В нашем бараке восемь ребят записались в добровольческое формирование.
  - А по какой причине? - спросил Михаил.
  - За суп, за шинельку, чтобы не работать до перелома черепа.
    - И еще по какой?
    - А кое-кто из идейности.
    - Какой?
  - Да разной. Некоторые за погубленных в лагерях. Другим нищета деревенская надоела. Коммунизма не выносят. А некоторые — в отместку за оккупацию в сороковом.
- А ведь это подло! - Алексей с любопытством поглядел на Микка, и тут увидел это насмешливо-недоуменное любопытство. - Бесчестно, неблагоприятно, отвратительно, - сказал он. - Не время счеты сводить, не так их сводят. Нехорошо перед самим собой, перед своей землей. Правда, не время счеты сводить. А к Власову не ходи. - Он вдруг запнулся и добавил: - Слышишь, друг мой, не ходи!..

Я тебя на всю жизнь из памяти вычеркну.

После вчерашнего аппеля вчетвером забирались на нары. Урмас и Микк много рассказывали об Эстонии, о людях, живущих в этом краю. Учили

Мишу и Алексея говорить по-эстонски. Они охотно запоминали незнакомые слова, - им часто приходилось обращаться к эстонцам, работавшим в лагере. Лучше эстонский язык давался Алексею.

Как-то Микк, улыбнувшись, сказал ему, присаживаясь рядом:

- Крепкие у тебя нервы, видать... Нервы и память. Мне бы такие...
- Скромничаешь. Я видел тебя в деле, - улыбнулся Алексей. - Со слабыми нервами на войне плохо, слабонервных первыми кладут в яму... А у нашего брата, бронбойщика, нервы должны быть крепкими — как телефонный кабель... Сидишь, - начал рассказывать он, - в укрытии и видишь — ползет на тебя танк. А в танке засел враг и смотрит на тебя сквозь щель. А много ли ему оттуда видно? Разные там кустики, пни, бугорки... но немец давно воюет, всю Европу прошел и уже наловчился. Он догадывается, что за каким-то из этих кустов притаился наш брат и готовит ему могилу. Но за каким именно кустом, этого он не знает. И начинает на всякий случай стрелять по кустам и бугоркам. Глаза у него наметанные — знает, куда нужно стрелять. Вот тогда-то и требуются крепкие нервы. У кого нервы слабые, тот начинает отползать в сторону, туда, где только что разорвался немецкий снаряд, надеясь, что там уцелеет. Я по опыту знаю, что это мало помогает. Пока ползешь, он тебя приметит и сразу догадается, где скрыто оружие. Тогда он хорошенько прицеливается — и трах!.. Или, скажем, наш брат не двигается с места, но теряет голову и начинает стрелять слишком рано. С такими нервами ему немца не победить. Уловил? А сейчас я расскажу про свою систему.

Вырветесь отсюда — может, испытаете. По правде говоря, не я ее придумал, но именно она принесла мне орден Красного Знамени. Итак, предположим, немец стреляет. Пусть себе стреляет — ты сиди спокойно! Так или иначе, он по твоему кусту выпустит снаряд. Но дело в том, что немец стреляет по десяти кустам, а ты стреляешь по одному танку. Ты его видишь, а он тебя нет. Верно, что он начинает первым, но зато стреляет издалека. А издалека либо попадет, либо нет... Улавливаете?

- Как же так! - воскликнул Микк. - А если попадет?

Алексей посмотрел на Микка... Взгляд его все время менялся: то строгий, то колючий, то мягкий и ласковый.

- Попадет?.. Если попадет, тогда и говорить не о чем. Солдат, жалеющий себя, далеко не уйдет. - Он улыбнулся. - Как видите, я во многих сражениях бывал, а все-таки жив и здоров. Скажете — случайность? Нет, не случайность, а закон. Немцу никак не удастся меня на тот свет отправить — не даюсь я ему. И брони у меня нет — одна лишь тонкая кожа, а ничего ей не делается. Здесь главное — выдержка. Тебе уже кажется, что рукой до танка подать, а уж из пушки и подавно достанешь.

Но я помалкиваю и выжидаю.

Вот уже пятьдесят метров остается. Я все жду... Сорок — молчу... И что ты думаешь — боюсь промахнуться? Об этом и говорить нечего! Если захочу — и шапкой в него попаду, но не в этом дело. Я, например, подпускаю совсем близко и бью наверняка. Тогда танк останавливается или начинает вертеться на месте.

- Ну, а если он все же проскочит и прямо на тебя? - спросил Урмас.
- Это тоже не страшно. Пригнись пониже в укрытии, чтобы не попортил прическу, и проскочит над тобой. Вот тут ты и не зевай...

Алексей умолк, и ребята молчали, ждали, что он еще скажет. И он, осмотревшись по сторонам, сказал:

- Выберемся из лагеря — свою истребительную группу организуем. - Понизив голос, добавил: - Местечко бы иметь на примете, где можем остановиться. Соберемся вместе и... Только бы побыстрее выбраться отсюда.

О том, кто где воевал, как чудом уцелел, о себе за весь вечер больше никто из них так и не обмолвился. Знали, что тут у каждого выйдет вроде бы как об одном и том же. Даже подвиги, самые дерзкие и отчаянные, в чем-то схожи... Неповторимы только думы о пережитом, но их не перескажешь, они как болезнь, которую самому не понять.

А на нарах продолжали травить. В душном воздухе стоял гул разговора.

- В бою солдат обычно прислушивается в разрывам вражеских мин и снарядов: случайный? Единичный? Пристрелка? Не взял бы вилку. А вдруг огневой налет? - усердно рассказывал один.

Люди, привыкшие к войне, умеют из сотни звуков отличить один, истинно тревожный. Сразу же, Чем бы ни занят был солдат, держал ли в руке ложку, чистил ли винтовку, писал ли письмо, ковырял ли пальцем в носу, читал ли газету или был поглощен полным бездумьем, которое посещает иногда в свободные минуты солдата, - он мгновенно поворачивает голову, тянет жадное, умное ухо.

- И тотчас же получается ответ. Несколько разрывов послышатся справа, затем слева, и все вокруг затрещит, загремит, задымится, задвигается... - продолжал рассказчик.

Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди лидеров национал-социализма. Слухи всегда были хорошими и лживыми - опиум лагерного народа.

В рассказах часто вспоминалось о подвигах погибших товарищей. Те, что умерли, убиты, казнены, продолжали свою связь с живыми. Они помнили их улыбки, шутки, смех, их грустные и растерянные глаза, их отчаяние и надежды.

Как правило, человеческое сознание, обращаясь к прошлому, всегда просеивает сквозь скупое сито сгусток великих событий. Отсеивает солдатские страдания, смятение, солдатскую тоску. В памяти остается пустой рассказ, как были построены войска, одержавшие победу,

и как были построены войска, потерпевшие поражение. Число колесниц, катапульта, слонов либо пушек, танков и бомбардировщиков, принимавших участие в битве. В памяти сохранится рассказ о том, как мудрый и счастливый полководец связал центр и ударил во фланг и как внезапно появившиеся из-за холмов резервы решили исход сражения. Вот и все, да обычный рассказ о том, что счастливый полководец вернувшись на Родину, был заподозрен в намерении свергнуть владыку и поплатился за спасение отечества головой либо счастливо отделался ссылкой.

А вот созданная художником картина прошедшей битвы: огромная тусклая луна низко нависла над полем славы — спят, раскинув широко руки, богатыри, закованные в кольчуги, валяются разбитые колесницы либо подорванные танки, и вот победители с автоматами, в развевающихся плащ-палатках, в римских касках с медными орлами, в меховых гренадерских шапках.

А солдат же, обращаясь к прошедшим боям, всегда в первую очередь вспоминает самое близкое ему, касающееся его самого и близких товарищей. Старается рассказывать подробно, вспоминая до мелочей свои боевые похождения, подвиги павших в бою героев. Слишком крупные раны остаются на сердце солдата, нанесенные войной.

Вдруг Алексей вскочил на нарах, на весь барак громко закричал:  
– Братцы! Да ведь сегодня же праздник, наше родное Седьмое ноября.  
Выпьем за нашу победу!

Он разлил воду в кружки. Стало тихо, все следили за ним особым взглядом. Этот взгляд глубок и серьезен, в нем нет тревоги, одна лишь вера в справедливость.

Оглядывая лица спящих, Миша подумал: «Хорошо бы здесь был Оскар. Вот ему бы налить...» Но доктор уже выпил отпущенное ему число чарок.  
Больше пить ему на этом свете не полагалось.

Алексей поднялся, кружкой нарисовал в воздухе восьмерку и сказал:  
– Что ж, ребята, поднимем бокалы. С праздником вас! За победу!  
Застучали жестяные кружки, закричали выпившие, покачали головами. Люди тут были самые разные, и государство перед войной расселило их разное, и они не встречались за одним столом, не хлопали друг друга по плечу, не говорили: «Нет, ты послушай сюда, что я тебе скажу». Но здесь, в вонючем бараке, возникло то братство, за которое жизнь не жалко отдать, так хорошо оно. Пожилой военнопленный с седыми волосами, грузин, запел старую грузинскую песню, которую любили петь у себя на Родине в кругу друзей за праздничным столом:

Долго я томился и страдал,  
Где же ты, моя Сулико...

Пел он пронзительно, тонко, голосом своей молодости, и потому, что голос молодой поры стал ему чужим, он сам себя слушал с каким-то насмешливым удивлением, как слушают загулявшего постороннего человека.



Второй, черноголовый, тоже пожилой, серьезно нахмурившись, слушал песню про любовь и любовное страдание. И верно, хорошо было слушать пение, хорош был чудный и страшный час, связавший студента и колхозника, рабочего и директора, ночного сторожа, охранника смешавший прибалтийца, русского, грузина.

А черноголовый, как только грузин закончил петь про любовь, еще больше нахмурил и без того хмурые брови, медленно, без страха и без голоса запел:

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног..

Алексей рассмеялся, замотал головой:

– Друг ты мой хороший, это не из этой оперы!

Черноголовый сразу замолчал, поглядел, потом сказал:

– А я вот думал из той. Померещилось.

Миша тоже улыбнулся и тоже попытался петь:

Орленок, орленок, взлети выше солнца,

Собою затми белый свет.

Не хочется думать о смерти, поверь мне,

В шестнадцать мальчишеских лет.

Ну как? - спросил он Алексея.

Тот потрепал Мишу по голове, улыбнулся доброй, «пьяной» улыбкой:

- Здорово!.. А ну еще!

Поздно ночью, когда все стали засыпать, Алексей сказал Мише:

– А ты молодец, растревожил мне душу. Эту песню вот всем бы баракком, вот был бы фейерверк.

Чем большая тяжесть ложилась на плечи Алексея, тем сильнее были его плечи. Он и сам не знал своей силы. Покорность, оказалось, не была свойственна его натуре. Чем больше было насилие, тем злей, задорней становилось желание драться. Иногда он спрашивал себя: почему ему так ненавистны власовцы? Их воззвания писали о том, о чем рассказывал отец, да о чем и сам он прекрасно знал: о нелегкой довоенной жизни, о повсеместной несправедливости в житейских вопросах со стороны властей, о массовых репрессиях... Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь.

Он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с фашистами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, погибает отец.

Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Алексей знал лагерную жизнь, видел силу подкупа, страха, жажду набить желудок, видел, как некоторые меняли честные гимнастерки на власовские голубые шинели с погонами. Он видел подавленность, угодливость, вероломство и покорность, он видел ужас в глазах, видел, как столбенеют люди перед страшными чинами.

Он часто думал: «Сколько ничтожества вокруг! Как люди боятся защищать свое право быть честными, как легко уступают, сколько соглашательств, сколько жалких поступков».

И все же в мыслях оборванного пленного не было фантазерства. В мрачное время стремительного немецкого продвижения на Восточном фронте он поддерживал своих товарищей веселыми, дерзкими словами, уговаривал опухших бороться за свое здоровье. И в нем жило нерушимое, задорное, неистребимое презрение к насилию. Люди чувствовали веселый жар, шедший от Алексея, - такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова.

Должно быть, это доброе тепло, а не только сила ума и сила бесстрашия поспособствовало Алексею стать вожаком военнопленных в лагере.

Алексей решил для себя, что Михаил третий человек, которому он откроет мысли об организованном побеге из лагеря. Он лежал на нарах, смотрел на шершавый дощатый потолок, словно изнутри гроба на крышку, а сердце билось. Здесь, в лагере, он, как никогда за двадцать пять лет своей жизни, переживал ощущение собственной силы.

Как-то вечером, когда все собрались на нарах, Урмас сказал:

- Сегодня я подготовил машину, которая будет вывозить трупы за город на кладбище... Сбоку, под грузовиком, ящик для запаски. Если запаску вынуть, можно человеку вместо нее забраться. Дверца есть...
  - А если шофер заглянет в этот ящик? - спросил Алексей.
  - Дело случая, - сказал Урмас. - Может получиться и такое. Но вряд ли... По опыту знаю — ни один шофер при выезде из гаража не вспомнит о запаске. Баллон в ящике закрыт, что с ним станет?
  - А проходная? - спросил Миша.
  - Урмас пожал плечами:
  - Тоже дело случая... Но я точно знаю: если шофер немец, машина не проверяется. - Он поднялся и, улыбнувшись, сказал: - Что и говорить, лазейка подходящая, верная, но... для одного, - заключил он. - А нас пятеро.
  - Подходит. - решительно сказал Алексей. - Ускользнет один — все выберемся... Начнем с доктора. - Алексей задумался на минуту, потом спросил: - Где прячут его, знаешь?
  - Знаю, в бункере, - сказал Миша, - несколько дней, как его перевели туда из карцера.
  - Верно... Надо подумать, как его оттуда вытащить.
- На следующий день, работая в порту на погрузке автомашин, Алексей все время присматривался к тому ящику под кузовом.
- Поздно вечером, как только собрались в бараке, уединились в дальнем, свободном от людей углу. Алексей говорил вполголоса:
- В этом бункере, в котором доктор сидит, я дважды «загорал». Точно знаю - он не охраняется, запирается дверь снаружи - и все дела.

Территория лагеря просматривается с вышек, а охрана только у въездных ворот... Так что придумывать ничего не надо. - И, обращаясь к Мише, сказал: - Пойдешь после отбоя, когда все угомонятся. Остерегайся, как бы с вышек не заметили, - предупредил он. - С доктором напрямиком к гаражу.

Урмас встретит вас.

После отбоя Миша незаметно вышел из барака. Алексей сунул ему в руки гаечный ключ. Миша удивленно уставился на Алексея:

– Это к чему?

– Я же говорил — дверь на всячем замке... Пригодится.

Михаил взял ключ, сунул его за пояс и быстро пошел к скверу. Пришлось пробираться ему по пустырю, сплошь изрытому канавами. В них стояла вода. Тусклый свет слабо горевших фонарей на столбах вдоль забора блеснул в воле. Он оглянулся вокруг — ни души. Припомнил маршрут, по которому водят особо провинившихся к бункеру, и, чтобы проскочить незамеченным особо гладкое место, опустился на колени, пополз, потом снова поднялся на ноги и пошел крадучись, едва переставляя ноги, низко пригнувшись.

Машины с затемненными фарами прогрохотали по шоссе за забором, проурчали моторы, и снова тишина, слышался только вой порывистого ветра, глухой звук лопат где-то работающих людей да стук собственного сердца.

Миша обогнул округлую цветочную клумбу, прыжками пересек газон, снова опустился на колени, пополз к кустарникам, к бункеру, в котором держали Оскара. Высокий проволочный забор отгораживал бункер от лагерной территории. Миша сполз в канаву и, прижимаясь к воде, подлез под нижний ряд колючей проволоки. Послышался тихий, еле различимый хруст, колючка прошла по спине.

Он чуть приподнял голову, оставаясь распластанным на земле... Никого.

Часового у бункера действительно не было. Несколько секунд лежал, прислушивался... Тихо. Поднялся и осторожно, крадучись, пошел к бункеру.

На двери болтался приличный всячий замок, такой же Миша видел на свинарнике в своем родном поселке. Он обнял его обеими руками, стал поворачивать то в одну, то в другую сторону, тянуть на себя. Замок не поддавался. Тогда он вынул из-за пояса гаечный ключ, заложил его за скобу и что есть силы рванул на себя... Замок вместе с чекой повис на косяке. Миша вошел в бункер.

– Оскар! - крикнул он в темноту.

На нарах закрипели доски.

– Оскар... поднимайтесь, я пришел за вами. Метров двести, а там машина, - сказал Миша восторженно.

Доктор поднялся, с трудом встал на ноги, обеими руками обнял Мишу за плечи... Так несколько секунд стояли они молча,

прижавшись друг к другу, и так же молча доктор уронил руки и тут же опустился на нары.

– Нет, Миша, это не для меня, - сказал он, едва выговаривая слова.

– Оскар! - взмолился Миша. - Я вам помогу.

– Спасибо, дорогой мой друг, но мне не под силу... Меня уже нет, нет, Миша! И душа, и воля моя давно уже там.

Оскар!...

– Не надо! - Он еще раз — с таким трудом! - поднялся, взял Мишу за руку, подтолкнул его к двери: - Уходи!.. Если вам повезет, запомни место, где вас примут хорошо. Хутор Ярвис... возле Кехры. Мой отец там, Вески...

Обо мне не говори, не надо, не переживет старик.

Еще раз Миша обнял доктора и вышел из бункера.

Урмас встретил Мишу за кустами, подхватил под руку:

– Без доктора?!

– Не пошел доктор, - шепнул ему Миша подавленно.

Пришлось возвратиться в барак.

– Тогда давай ты, Урмас, твоя идея, - тихо сказал Алексей. - Повезет — догоним... Запомни адрес отца Оскара, там и встретимся.

Урмас попрощался с товарищами и снова вышел из барака. Микк пошел его проводить...

Вповалку в тесноте лежали на нарах люди, луна поднялась высоко, и ее блеклый мерцающий свет, проникая через окна, делал темные углы еще темнее, а тени еще более густыми. Воздух был тяжелый, застоявшийся. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, Миша с Алексеем взобрались на свои нары. Не спалось, тревога за Урмаса отнимала покой. Они лежали раскрывшись — от духоты, от испарений, поднимающихся к потолку, тяжелых и смрадных, напряженно вслушиваясь в тишину. Порою чудилось, что на дворе горланят конвойные: «Лос, лос, живо!» Скрипят ворота, ревет мотор.

– Алексей, а Алексей, - прошептал Миша, - не верю я в Бога, а то бы сейчас, знаешь, в самый раз помолиться.

Было уже поздно, очень поздно, весь лагерь погрузился в сон. Только в комендатуре звенели бокалы, звучали пьяные голоса немецких офицеров.

Они горланили:

– Друзья на коней! Покидаем ночлег!

А в это время, прижимаясь к стенам бараков, Урмас и Микк медленно, с осторожностью пробирались к заветному гаражу, где стояла машина для транспортировки трупов на кладбище.

Урмас открыл под кузовом автомашины ящик, вытащил из него баллон, выкатил его за ворота в кучу негодных покрышек. Затем обнял Микка, как обнимают брата, провожая его в путь на долгие годы. Потом оперся на подставленную Микком спину, втиснулся в ящик, свернулся калачиком.

Микк помог ему, захлопнул дверцу и тихо вышел из гаража...

После полуночи заскрипели ворота.

Урмас лежал и прислушивался. Сердце сжималось до боли: «Удастся ли?

Вдруг офицер все-таки проверит запаску?» Его колотил озноб.

Шофер подошел к машине, хлопнул дверцей, нажал на стартер, мотор затрещал, и машина покатила по лагерному двору. Возле сарая, где лежали трупы, она остановилась, четверо из похоронной команды загрузили кузов, снова затрещал мотор, и машина с натуженным воем понеслась к проходной.

«Дело случая, - вспомнил Урмас свои же слова. - Так ли это? Может, все-таки инструкцией предусмотрена проверка всех машин?.. Независимо, кто шофер — немец или эстонец?»

Машина остановилась у КПП.

У Урмаса перехватило дыхание. Будто снаружи могли услышать, как он дышит.

Дежурный подошел к машине, сказал несколько слов шоферу. Урмас слышал их голоса. Но вот заскрипели ворота, взревел мотор, и машина понеслась по шоссе.

«Слава богу, пронесло», - помолился Урмас.

Прошло минут пятнадцать-двадцать.

Урмас открыл дверцу, выглянул наружу — мимо пробежали телеграфные столбы, одинокие деревья. Потом начался лес. «Пора», - подумал он и начал вылезать ногами вперед... Когда ноги коснулись асфальта, он подтянул их, потом с силой оттолкнулся от ящика и кубарем покатился под откос...

Когда опомнился, понял, что при падении повредил ногу. Стиснул зубы так, что заныли челюсти... Хотел подняться и не мог.

Он лежал долго, пока не утихла боль. Потом поднялся на колени и кое-как дополз до опушки. Здесь выломал суковатую палку, положил на сук палку, чтобы ноге было помягче и, опираясь на него коленом, заковылял вдоль дороги.

Светало... Лес оборвался, впереди поле, еще дальше — какое-то село. Из оврага повеяло прохладой. Он стал прислушиваться... Где-то близко послышался звон колокольчика и поскрипывание колес. Из балки показалась дуга, затем голова лошади. Урмас вышел навстречу.

– Стой! - сказал он на эстонском.

Возница остановил коня и соскочил с телеги.

– Что тебе нужно от меня? - спросил старик.

– Помогите мне, вот ногу повредил, - пожаловался Урмас.

Старик внимательно посмотрел на его ноги:

– Куда отвезти?..

Урмас назвал станцию и хутор. Старик крякнул, снова осмотрел Урмаса с головы до ног, сказал:

– Далечно...

Человек в заношенном кителе моряка торгового флота, пожилой, но еще крепкий, уверенный до этой минуты, что все, что он делает, правильно, благородно, вдруг обращается чуть ли не в преступника... Он молчал какое-то время, стараясь сохранить важность. Потом обратил взгляд к

Урмасу:

- А, что будет, то будет... Залезай! - и помог Урмасу залезть в повозку, затем натянул вожжи, свернул на просеку...

Лошадь переступала с ноги на ногу, мотала головой, колокольчик под дугой дергался и раскачивался. Звук его был нестерпимо пронзителен, но уже с половины пути Урмас привык к нему.

С час ехали по проселочной дороге, встречая лишь одинокие машины с грузом. Урмас немного успокоился: кому из встреченных немцев придет в голову, что по проезжей дороге может ехать бежавший из лагеря военнопленный? Правда, он немного сомневался в старике — расскажет в управе о встрече в лесу. Но выбора не было. Теперь судьба Урмаса целиком зависела от старика.

На небе оставалось все меньше звезд, на сердце у Урмаса было все грустнее.

- Куда вы меня везете? - спросил он старика.

- Еще немножко — и в лес. Домик там дырявый, отдохнешь часочка два, пока я до села доберусь... Бидон молока заберу — и к тебе.

Урмас смотрел на старика: «Брешет или правду говорит?»

- Да ты не бойся, - разгадал его мысли старик. - Я тебе помочь хочу. - Он нагнулся к Урмасу, подмигнул: - По той дороге, что в хутор ехать, застава. Бумага от управы нужна. Съезжу в село, возьму молоко для немцев, что за заставой, схожу за бумагой — и к тебе... Взамен меня молоко повезешь ты. И бумагу тебе отдам. Неладно это, что ты взамен меня. Я-то им привычный... Ну, да скажешь, что сын мой, бог милует.

- А как же лошадь? - спросил Урмас. - Не вернусь же я.

- В том хуторе, куда ты едешь, брат мой живет. Коня и бумагу ему передашь, а он — мне.

Свернув с дороги, с километр они ехали по лесу напрямик, потом старик остановил коня.

- Слазь! Приехали... - сказал он и подставил Урмасу свое плечо.

В полусотне метрах от них виднелся домик с выбитыми стеклами.

- Дождись часа с два, пока я не приеду, - снова предупредил старик Урмаса, помог ему войти в дом и вернулся к повозке.

Урмас уселся на пол, прислонился спиной к стене. «Поспать бы пару часов», - подумал он, но сон не приходил, болела нога, знобило. Он увидел комод с вывернутыми ящиками, в них развороченными кучами пестрели вещи, ненужные теперь. Занавески, упавшие на подоконник, накрыли горшки с засохшими цветами.

Посредине комнаты — кровати с голыми пружинными матрацами.

В раскрытом шкафу лежала юбка да белый детский чепчик с розовыми тесемками. Со стола сползла узорчатая клеенка и повисла вялыми концами, словно не хватило сил дотянуться до пола, и на том месте, где стол оголился, стояла тарелка с недоеденной кашей. На полу валялся открытый букварь, и на его страницах отпечатался грязный след сапога. «Чья-то растоптанная жизнь», - подумал Урмас и вспомнил, что такое он уже видел. С фотографий, развешенных на стене, смотрели, должно быть, хозяева этого дома: кряжистый бородатый старик, рядом пожилая женщина и тут же, очень похожий на эту женщину, улыбался вихрастый парень в тельняшке. Лица, улыбки, глаза продолжали жить на этих стенах, и Урмасу показалось, что дом вовсе не покинут, вот-вот раскроется дверь и твердо ступит тот, в тельняшке, или пожилая хозяйка.

Она подойдет к печке, подвинет заслонку, достанет чугуна, снимет крышку, и разнесется самый приятный на свете запах свежих щей. У Урмаса даже закружилась голова, и он проглотил слюну.

Поднялся и, опираясь на палку, вошел в кухню. Усмехнулся, увидев, что печка развалилась, а возле нее на жестяном листе громоздилась охапка дров. Над печкой, под потолком, виднелась засохшая плесень, ее прикрывали шевелившиеся нити паутины.

На потемневшей полочке среди чугунов и посуды нашел он начатую пачку горчицы. Вспомнилось, как мать сыпала ему, маленькому, горчицу в чулки, когда он набирал в лужах полные ботинки.

Урмас сел на пол, снял ботинок, взялся за другой... Острая боль в стопе заставила выпрямиться, откинуться к стене. Лицо покрылось капельками пота. Так просидел он несколько минут, пока стихла боль, осторожно размотал портянки, насыпал горчицы и опять с трудом надел ботинки. Он почувствовал, как от ног по всему телу расходуется тепло, и растянулся возле печки, примостив голову на охапку дров, как на подушку. Он уже видел сон, когда дверь в кухню скрипнула, на пороге появился старик.

– Поднимайся, - сказал он, улыбаясь. - На вот, переоденься, белишко прихватил.

Урмас натянул заплатанные штаны, заношенную до белых разводов черную ситцевую рубаху и стеганую, почти новую телогрейку.

– Подходяче, - одобрительно сказал старик. - А вот и бумага от управы, на каждую езду дают новую... Спрячь.

Урмас молча сунул бумагу в карман и хотел было заковылять следом за возницей, но старик подхватил его, да так и понес, как цыгане носят своих ребятишек, до самой повозки, где стоял привязанный веревкой бидон с молоком, а вокруг него — сено.

Когда Урмас сел, старик сказал:

– До развилки с большой дорогой я провожу тебя, а там езжай сам, один. Когда в железку упруешься, поверни вправо, на просеку. Версты через три - застава. Покажи им бумагу. Еще через полверсты снимешь бидон. - посмотрел на его ногу, добавил: - Сам-то не возись, скажи - нога болит.

Покажи им...

Старик сел в повозку, и она затряслась по целине.

Утро было холодное, но ясное. В сумраке едва выделялись покрытые инеем верхушки деревьев. Сначала ехали по мягкой кочковатой лесной дороге, по обеим сторонам тянулся низкорослый хвойный лес. Потом пересекли несколько канав, и, наконец, выехали на проселок. Телега пошла ровнее, тряска уменьшилась. Урмас прислонился спиной к спине старика, ноги накрыл сухим сеном. Вынул черствый кусок хлеба, подобранный в лесном доме, и стал задумчиво жевать его, поглядывая по сторонам.

Вокруг тянулась широкая и притихшая равнина, изрытая окопами. Кое-где валялись остатки исковерканной техники. В холодном утреннем сумраке эта местность невольно навевала грусть. Большеголовый ворон сидел на коряге возле дороги и думал; подумать было о чем. Рядом с корягой лежала обгорелая пола солдатской шинели, чуть подальше стоял окаменевший валенок, торчал карабин, вмерзший согнутым дулом в землю.

Старик, пригревшийся на плече у Урмаса, вдруг громко всхрапнул и этим прервал безрадостные мысли. Урмас покосился на старика — тот мирно спал, полураскрыв рот, не выпуская из рук натянутых вожжей.

Пусть себе спит.

На пути попало небольшое селение. Старик проснулся, подстегнул лошадь, повозка покатила быстрее.

– Может, мне сеном прикрыться? - спросил Урмас старика.

Тот обернулся, замотал головой:

– Незачем, сиди как сидишь!

Поселок уже проснулся, по улице сновали немецкие солдаты с котелками в руках, скрипели телеги, осунувшиеся пожилые женщины спешили по своим местам. Страшно было смотреть на детей, на осунувшихся пожилых женщин, на подводу, груженную сеном, на старика с граблями.

– Деревенский мир — что весеннее половодье: пошумит, побурлит, затопит луга и низины да опять же войдет в прежние берега, - пробормотал старик едва слышно.

Когда поселок остался далеко позади, старик вдруг спросил:

– Из лагеря, что ли?

Урмас обернулся:

– Да, из лагеря...

– Пленный, значит?

– Да, пленный, - настороженно ответил Урмас.

– Красноармеец, поди? - наседал старик.

– Красноармеец, - неохотно ответил Урмас.

Старик вжался в воротник телогрейки и как-то подавленно спросил:

– Тяжело было, что нас под немцем оставили?

– Сам не пойму, - сказал Урмас.



– Как-то все разом оборвалось — и пошли назад.

Помолчали.

– Долго так будет-то? - прервал молчание старик. - Больно уж голодно.

Просить - не подадут: голод, он для всех голод...

Снова помолчали.

Потом старик как бы встряхнулся, поднял голову и, улыбнувшись спросил:

– Слышь!.. Может, наши скоро придут?.. Намылят хвоста этим, с позволения сказать... А? Как думаешь?..

– Конечно вернутся, - сказал Урмас. - Я так думаю: самое большее еще годик — и каюк немцу!

– А ну, поди шибче! - дернул старик вожжи. - Ну, родимая!..

Шоссейная дорога.

– Стоп!.. - Старик соскочил с повозки. - Как бидон скинешь, - сказал он, прощаясь, - тем же просеком до хутора... Крайний домишко, в нем

Эдуард, младший.

– Счастья тебе, дед, от души, до краев! - поблагодарил старика Урмас.

– Счастье-то, браток, не кобыла, его в оглобли не запряжешь! - сказал старик, махнул рукой и скрылся в лесу...

– Утомительно тянется время, и дорога кажется длиннее, чем предполагалось. Мимо то и дело проносились фургоны с солдатами, порядком перегруженные грузовики, повозки с черными колесами. Урмас смотрел на них уже привыкшим взглядом, никто на него не обращал внимания.

Вот и железная дорога. Повернул на просеку. Тихо стало вокруг, ни души, только изредка дятел побарабанит по сухому дереву или сова прокричит громким голосом.

Наконец шлагбаум.

Часовой остановил Урмаса.

– Хальт!.. Что везешь? - спросил он по-немецки.

– А вот везу продавать... старую шубу на два ската, новым тесом крытую... да двуствольные штаны без гашника, - пошутил Урмас.

– Дальше нельзя, вызову коменданта, - угрожающе сказал немец.

Урмас понял.

– Вызывай, - безразлично бросил он, сдерживая лошадь, а сердце у него учащенно забилося. - Тебе же молоко везу.

– Нельзя, нельзя!

Комендант, молодой лейтенант, скривился, увидев Урмаса. Часовой не пропускает? О, правильно, служба. Новенький?.. Теперь ты будешь возить молоко?

– А вы думаете, я вместо молока водку вам привозить буду? - Урмас посмотрел на лейтенанта и тут же отвел глаза.

– О, юнг! - развел руками лейтенант. - Гут, гут. Унб ист эс папир? - развернул поданную Урмасом бумагу от управы.  
«А вдруг задержат и начнут выяснять, кто я? - подумал Урмас. - Тогда все, капут!» Еще полсекунды — и все будет ясно. Самое ужасное — старик, и его на плаху...

– О, гут! - вернул комендант бумагу Урмасу.  
Приказал часовому пропустить его.

Дорожка вела вглубь леса, который казался совершенно пустым. Урмас старался не оглядываться, но заметил между соснами широкие землянки, обложенные сверху еловыми ветками. Мелькнул среди деревьев солдат и пропал. Урмас ехал медленно, повернул на небольшую поляну, окруженную старыми березами и осинами, и остановился у землянки с приплюснутой трубой, похожей на пень. Оказалось — погреб. Два солдата сняли бидон с молоком, пустой поставили на телегу. Урмас держал вожжи натянутыми и не слезал с телеги.

Когда он выехал на просеку и повернул в противоположную от шлагбаума сторону, комендант помахал ему рукой.

«Вот и погорел! Уж теперь-то точно капут...» - вспыхнул Урмас.

– Новенький послезавтра придет? - спросил комендант по-немецки. - Гут!

– Да!.. И послезавтра, и потом, - сказал Урмас и отпустил вожжи. - Герр понял?

Немец безучастно кивнул: понял.

Урмас ехал по холодку бодрой рысью. Утро разгуливалось, косые лучи солнца уже начали согревать обращенную к ним половину лица. На больших полянах тень коня, перемещаясь, ложилась через все открытое пространство, надламываясь где-нибудь на стене леса или на подъеме горы. На освещенной траве светлела роса. Стояла та особенная чистота звуков, которая бывает в лесу на восходе солнца. Отдельно и как-то особенно бодро и суетливо стрекочет сорока, радуется в кустах, как будто смеется горстка каких-то птичек. Четко, гулко, округло стучат о булыжники копыта коня, и вдруг особняком от всех остальных звуков, но как бы необходимо для музыкального целого, донесся звук палки: кто-то ударил по дереву — грибник, наверное.

Округлые шатровые взгорья, ложиной которых ехал Урмас, были покрыты горящими и чахлым подлеском. Обгорелые деревья черными скелетами резко вычерчивались на бледном небе. А на оголенных ветвях, точно черные плоды, покачивались вороны. Даже щедро залитые солнцем, истерзанные войной высоты невольно нагоняли грусть и уныние.

Урмас обхватил голову руками, уткнулся лицом в повозку...  
В хутор Ярвис он приехал к вечеру. Небо было темно-синее, и на улице легли густые вечерние тени. Он остановил коня у ворот крайнего дома. Только поравнялся с воротами, как на крыльцо выскочил высокий

мужчина средних лет.

– Кохе!.. Кохе, мина!.. - закричал он.

Торопливо подошел к воротам, снял веревку и занес заплот в сторону, телега въехала во двор.

– Эдвард? - спросил Урмас.

– Эдвард-младший, - улыбнулся хозяин. - Что с дедом, случилось что? - спросил он.

– Со стариком все нормально, - поспешил ответить Урмас. - Вот со мной, кажется, худо.

Эдвард внимательно посмотрел на Урмаса, удивленно спросил:

– Кто вы?

Урмас назвал себя.

Нога болит, не наступить, - признался он.

– Пойдемте в дом, я забинтую потуже.

Эдвард подошел к телеге, помог Урмасу сойти, и в обнимку они вошли в дом. За дверью их встретила хозяйка дома, пухлая краснощекая женщина.

– Сейчас я, - сказала она и стала накрывать на стол.

Эдвард достал холщовый бинт, туго забинтовал Урмасу ногу. Ни хозяева, ни Урмас ни о чем друг друга не спрашивали, было ясно все и без расспросов.

Когда поужинали, Эдвард спросил:

– Куда теперь?

«Правду сказать или... Скажу правду. Все равно с этой ногой далеко не уйдешь, если он заложит меня немцам», - решил Урмас.

– Мне к леснику, к Вески, - сказал он.

Эдвард подумал с минуту, почесал затылок.

– Отсюда порядочно... Дойдешь ли? - усомнился он.

– На лошадке нельзя? - спросил Урмас.

– Только кружным путем. А там немцы, можно и не попасть к Вески.

Урмас вспыхнул, опустил голову.

– Я бы помог тебе, - оправдывался Эдвард, - но... Понимаешь, встретит кто... Меня все знают в округе, а ты новичок. Можем оба попасться, тогда и тебе и мне крышка. - Эдвард достал кисет, свернул козью ножку, закурил. - Ты уж извини, как-нибудь без меня...

– Дойду, - успокоил его Урмас. - С божьей помощью доковыляю, торопиться некуда.

Эдвард проводил Урмаса до опушки, показал тропу, сказал:

– Я бы помог тебе, но... сам понимаешь.

Опираясь на суковатую палку, Урмас заковылял по тропе в лес...

Друзья знали, что Урмасу удалось бежать, и радовались этому событию. Нетрудно было догадаться: ребята из похоронной команды ничего об этом не знали. Значит, все было спокойно. В проходной не заметили, в дороге - тоже никаких следов. Значит, Урмас на свободе.

- Мо-лод-чина! - торжествовал Алексей. - Начало положено.
- Теперь и конец не за горами! - улыбался Микк. - сегодня же и метнем, кто следующий.

Но радовались они преждевременно. Хотя побег Урмаса и был удачным, но, когда машина возвратилась, охрана заметила открытую дверцу и пропажу запаски. Был объявлен аппель.

Лагерь вывели из барачков, построили в колонны и погнали в сторону аппельплаца. Конвоиры подобно сорвавшимся с цепи собакам носились вдоль флангов, неистово выкрикивая по-немецки:

- Быстрей! Подтянись! Взять ногу! Живо! Кому говорят, взять ногу! Колонна повернула на шлаковую дорогу, ворота на аппельплац были открыты.

- Большое представление, - сказал Алексей.

Перед комендатурой стояли черный «мерседес» и открытый вездеход.

Напротив, у мастерских коменданта лагеря, оберштурмфюрер Хайнц Шнебель беседовал с двумя офицерами СС. Эсэсовские солдаты с автоматами в руках слонялись вокруг, охранники лагеря, держа карабины на изготовку, шпалерами выстроились вдоль дороги, позади них — проводники с волкодавами. Один офицер, высокий оберштурмбанфюрер, физиономия в шрамах, на шее рыцарский крест. Подле него адъютант, молодцеватый щеголь, штурмфюрер. «Что-то будет... Удалось ли Урмасу?» - подумал Миша.

Фельдфебель остановил колонну и подошел к коменданту для доклада. Тот состроил такую рожу, словно вместо коньяка хватил соляной кислоты.

- Общее построение, - зашипел он. - Лагерью в полном составе выстроиться на аппельплаце!

Началась проверка. Команда за командой проходили через ворота аппельплаца.

Пленные стояли лицом к санитарному барачку, который сверкал белыми наличниками и красным крестом на белом круге в лучах наведенных на аппельплац прожекторов. Перед строем по красноватой щебенке плаца толстой вспуганной наседкой метался фельдфебель. Он чертыхался, отдавая команды, принимал рапорты от вахманов, требовал новой проверки, отирал со лба пот, выступавший от нервного напряжения, и все время оглядывался на ворота.

Когда эсэсовские офицеры со своей свитой вошли на аппельплац и ворота за ними закрылись, фельдфебель поправил ремень, фуражку, шагнул к оберштурмфюреру Хайнцу Шнебелю, доложил:

- Сбежал военнопленный 1154.

- Скажите, фельдфебель, - обратился к нему комендант, - вы знали, что сбежавший комсомолец?
- Никак нет, господин, оберштурмфюрер, - отчеканил фельдфебель.
- Как же так, фельдфебель?

Вы его рекомендовали в мастерскую, утверждали, что хорошо понимаете этих бандитов?

– Прошу разрешения заметить, господин оберштурмфюрер, их психологией заниматься мне некогда. В моих обязанностях — делать так, чтобы они на работе бегали словно ошпаренные.

– Молодец, приятель, - сказал оберштурмбанфюрер Курт Ульбрихт с ухмылкой и поглядел на фельдфебеля так, как осматривают испытанного боевого коня. - Где заработал Железный крест?

– В Польше, оберштурмбанфюрер.

– Отлично, - похвалил эсэсовец. - А теперь... на колени.

Фельдфебель шагнул вперед, выхватил пистолет и, потрясая им в воздухе, истерично закричал:

– На колени, марш!

Нехотя, один за другим, вразнобой пленные стали опускаться на мощенную щебнем дорожку...

Люди стояли на коленях, эсэсовцы разгуливали по апельплацу с автоматами в руках. Так продолжалось долго, очень долго — команда оберштурмбанфюрера не отменялась до утра. В колени вдавливался остроугольный щебень, боль пронизывала все тело, ноги деревенели, сделались чужими, теперь у всех было одно желание: только бы не упасть! Упадешь — получишь пулю, выстоишь — останешься жить...

Надолго ли?

Начало светать. Комендант подошел к оберштурмбанфюреру, что-то сказал негромко, тот одобрительно кивнул: «Гут». Видимо, пришло время рабочей силе приступать к исполнению своих каторжных обязанностей, наступал рабочий день.

На середину апельплаца выкатился фельдфебель и громогласно скомандовал:

– Встать!..

Но встать на ноги было не так то просто. Пленные старались подняться, падали, снова поднимались... Ноги у них сделались непослушными, деревянными, у многих сводило судорогой.

А тут новая команда:

– Бегом марш!.. Бе-го-о-м!!!

И снова треск автоматных очередей заставил людей шевелиться.

Раскачиваясь, ряды затряслись неровной трусой.

– Быстра! Быстра! - раздавались голоса конвойных.

Уже не колонна, а смешанная толпа несется по апельплацу. Люди бегут, стараются не упасть, некоторые все же не выдерживают быстрого бега, спотыкаются, падают, тут же вскакивают и снова бегут как ошпаренные, а над теми, кто не успел подняться, гремят выстрелы. Стреляет замыкающий конвойный, - у них все распределено: те, что с боков, кричат и гонят, а замыкающий молча пристреливает лежащих.

Офицерская же команда гестаповцев стоит в сторонке и наблюдает, хорошо ли исполняется их приказ.

Людам трудно дышать, они задыхаются, голова пухнет, лицо и тело покрылись потом, многих душит кашель, а с боков голоса: «Быстра! Еще быстра!» - и автоматные очереди.

- Держись, Миша, держись, - подбадривает его Алексей. - Держись, это тоже борьба...

Когда рассвело, оберштурмбанфюрер остановил лагерь.

- Если еще кто попытается покинуть лагерь — за него все будете отвечать, заматаю до смерти! - пригрозил комендант. - Имейте в виду: беглецы от нас никуда не уйдут. А если кому и удастся побег, наши друзья эстонцы «приютят» и возвратят их по месту жительства, - добавил он.

После аппеля в барак пришли немцы и повели Микка на допрос. Это произошло так быстро, что Алексей только успел крикнуть ему вслед:

- С комендантом держись смелее, кислых и молчунов о не терпит.

Его ввели в комнату коменданта. За столом оберштурмфюрер Хайнц Шнебель. Микк прошел к столу, сел на стул...

- Встаньте, - приказал фашист.

Микк послушно встал, вежливо улыбнулся, поглядел на фашиста, желая сделать ему приятное. «Пожалуйста, - говорил его вид, - я весь к вашим услугам».

Фашист медленно поднялся, подошел к Микку, взял его за подбородок и с силой запрокинул голову назад.

- Куда бежал Урмас Вильман? - спросил он требовательно.

- Откуда мне знать, герр комендант? - спокойно ответил Микк.

Комендант убрал с подбородка руку.

- Вы, кажется, были с ним друзьями? - спросил он щура глаза.

- Какое там друзьями, герр комендант. Иногда словом перекинемся, и все тут... Эстонцы любят много делать и мало говорить. - Микк говорил быстро, отрывисто, а мысли, обгоняя речь, бежали еще быстрее.

В комнате было жарко, но что-то сильно жгло спину. «Неужели топится печь? При такой то жаре?..» - подумал Микк и повернулся... Да, печь топилась, и в ее раскаленном зеве торчал железный прут. По телу пробежал озноб, точно на него вылили ушат ледяной воды.

- Та-ак, - протянул комендант, - значит, Вильман не знает Тяяль?.. Гут, гут! - и он кивнул, а после небольшой паузы задал новый вопрос: - Ты работал вместе с Вильманом, не так ли? Отвечать быстро!..

- Работал... Ну и что же из этого?.. Да мы за целый день и словом с ним не перекинемся. Некогда нам разговаривать на работе, да и молчуны мы.

- Тебе не приходило в голову, что Вильман готовится к побегу? - задал комендант новый вопрос.

- Н-нет, господин комендант...

Комендант прошелся по комнате, открыл дверь:

– Переводчика ко мне!

Вошел переводчик.

- Тяяль меня плохо понимает, - произнес комендант и вновь сел за письменный стол. - Переведи ему, что уж если Тяяль и Вильман были друзьями, то Вильман без помощи Тяяль не мог бежать... забраться в этот ящик. Куда бежал Вильман? - потребовал ответа комендант.
- Я вам говорю чистую правду, господин комендант! Не знаю я, не друзья мы с ним!..

- Он меня все еще не понял, - раздраженно прервал Микка комендант и сделал знак переводчику. - Помоги-ка ему лучше понять меня. Фашист вытащил из печи раскаленный прут, Микк попятился и широко раскрытыми глазами посмотрел на немца: тот надвигался, широкоплечий, в немецкой офицерской форме без знаков различия, на ногах хромовые сапоги, он ступал почти неслышно. Микк увидел раскаленное железо возле своей груди, оно приближалось — все ближе и ближе подносил немец прут. Микк ощутил его жар, почувствовал запах паленого мяса, жар, казалось, проник до самого сердца... Странная слабость охватила его. Он вспомнил детские кошмарные сны, в которых его убивали, топили, но он просыпался и чудом оставался жив. «Но теперь, - это была очень спокойная мысль, - теперь я уже не проснусь».

Должно быть, Микк потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от громкой команды:

– Генут!

Переводчик выпрямился и замер в выжидательной позе.

Микк лежал на полу.

- Принеси воды! - приказал комендант переводчику. Тот быстро вышел из комнаты, вернулся с ведром в руках. Плеснул Микку в лицо, тот открыл глаза...

– Встать! - скомандовал комендант.

Микк поднялся.

- Ну как, понял меня наконец? - спросил комендант.
- Понял, герр комендант, - едва слышно ответил Микк.
- Тогда рассказывай, или переводчик снова поможет тебе.
- Ей богу, герр комендант, не знаю. Мы, эстонцы, не любим заглядывать в чужие души. Что между нами было общего?.. Вот если услышу что, сразу сообщу, - заверил Микк коменданта.

Это его спасло. Комендант порывисто встал. Будто Микка и не было рядом. Думая о чем-то своем, он будто забыл о нем. Но тут же как бы вспомнил, тяжело переступил с ноги на ногу. Был какой-то миг, когда они оба молчали. А может, фашист что-то и говорил?.. Но Микк был занят своими мыслями и не слышал его. Он на секунду присел на стул и сразу же встал, он делал вид, что не понимает фашиста, и потому, разговаривая с ним, был как бы уязвлен его недоверием, испытывал унижение.

Чтобы сгладить отношения, фашист улыбнулся примирительно.

- Сложная жизнь, - сказал он, вроде бы даже сочувствуя Микку. - Это хорошо, что вы согласны помочь нам, - сказал он неожиданно.

И Микк поверил было в искренность слов фашиста.

- Рад, что вы меня поняли, - комендант прошелся по комнате, потом сел на стул, сказал: - Ну, гут... - снова поднялся, подошел к двери. - Херейн! - крикнул он в открытую дверь.

Вошел конвойный, направил на Микка автомат, кивком головы показал на дверь.

Колонна военнопленный шла на работу в морской порт. Звеня по асфальту коваными каблуками, навстречу медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Они шагали, надменные и задумчивые, не глядели по сторонам, на мимо идущих людей. Время от времени эсэсовцы переглядывались, произносили два-три слова. Они шли по асфальту так же, как солнце идет по небу. Солнце ведь не следит за ветром, облаками, морской бурей и шумом листвы, но в своем плавном движении оно знает, что все на земле совершается благодаря ему.

Миша шел молча, думал о том, что с ним произошло самое страшное, что может произойти с человеком. Ему-то казалось, что самое страшное уже случилось, когда фельдфебель заставил его тащить бревно к яме. Но это было не так. Вот когда он встал на колени — заступил за черту человеческого... «Как же я мог? Как?» - укорял он себя.

Это мелькнуло еще там, на плацу, когда стоял на коленях и ждал выстрелов в лицо. Ни болезнь, ни голод, ни даже смерть не могли сравниться с тем леденящим омерзением и низостью, которые он только что пережил. Такое не может пригрезиться и в самом кошмарном сне. Униженный и раздавленный случившимся, переполненный отвращением к себе, Миша шел и думал о том, что после такого жить человеку нельзя. Он за пределами жизни, и нужно ли возвращаться к ней?.. Помутившийся после тяжелой болезни и голода разум не может оправдать его поступка.

Лучше было бы умереть, но стоя, как Оскар, с поднятой головой.

- О чем киснешь, парень? - прервал его мысли Алексей.

От неожиданности Миша вздрогнул, опомнившись, сказал:

- Русские — и на коленях!.. Низость-то какая, позор!.. Простить себе не могу: как мы могли так низко пасть, скажи мне, как?! - выворачивался наизнанку Миша.
- Ах вот оно что... Зачем же умирать раньше смерти?.. Раньше, чем она пришла? - Алексей уставился на Мишу. - Скажи, я тебя спрашиваю — зачем? - И не дожидаясь ответа, сказал: - Смерть одна... И жизнь тоже одна... Надо за жизнь драться. Страх перед смертью перебороть в себе, видимо, нельзя. Но держаться в рамках и заставить себя искать выход, бороться за жизнь до конца человек может... Да это ему и выгоднее, - чуть приметно полуулыбнулся Алексей. - ведь умереть он всегда успеет...



- Он положил руку Мише на плечо. - Не о том мысли крутишь, парень. Поскорей бы упорхнуть отсюда, а там... - Он до боли сжал его руку. - Они перед нами не только на коленях, на пятой опоре крутятся будут!..

Попомни мое слово: за все заплатят!

После слов Алексея на душе у Миши стало полегче.

... На этот раз предстояло выгружать из вагонов цемент, упакованный в бумажные мешки, грузить его на самоходную баржу. Об этом Алексей узнал еще в лагере. Он посмотрел на Мишу, улыбнулся.

- Чего улыбаешься? - спросил Миша.

Алексей из-под полы показал ему бурав для сверления отверстий:

- Собственность Микка, из гаража прихватил... - Он нагнулся к Мише поближе, шепнул: - Отомстим за сегодняшние мытарства... Продырявим баржу, и весь цемент к чертям! А может, и баржа на дно. Хоть что-то сделать полезного, на сердце полегче станет.

Раскрыли вагоны, вереница людей двинулась к ним.

- Хальт!

Остановились.

- Эйнс, цвай, драй, фир... Залезай!

Следующая четверка полезла во второй вагон.

- Эйнс, цвай, драй, фир...

И так двадцать вагонов.

Люди подходят к вагону.

- Шнель, шнель!.. - кричит конвой.

Подставляют спину, на спину ложится мешок с цементом.

- Шнель, шнель!..

Полсотни метров пути до трапа, десять метров по трапу — и мешок летит в трюм баржи. Люди, назначенные в трюм, подхватывают мешки, укладывают их в штабель. Среди трюмных и Алексей.

Этот круговорот будет продолжаться до тех пор, пока баржа не заполнится до краев.

Миша носил мешки и все время посматривал на Алексея. Когда баржа заполнилась до половины, Алексей подал ему знак, чтобы он спустился в трюм.

- Подмени минут на пять, - тихо сказал он, когда Миша оказался рядом, сделал несколько шагов в сторону и юркнул в яму между задним бортом и штабелем.

Михаил занял его место, стал быстро укладывать мешки. Конвойный не заметил его исчезновения, наверху было спокойно.

Вскоре Алексей появился на поверхности.

- Закидай яму мешками, - сказал он Мише, а сам спрятался в другом месте, ближе к корме...
- Порядок... Уходи! - подмигнул он Мише, когда поднялся из второй ямы. - Полный порядок! - добавил он улыбаясь.

Миша влез на трап и включился в цепочку круговорота.

К полудню баржа была заполнена доверху, затарахтели двигатели, и она, грузно осев, медленно пошла в море.

– Все одно что зверь раненый, - сказал Алексей. - Хоть и уйдет далеко, но все равно издохнет.

– Достаточно ли этих дырочек? — усомнился Миша.

Алексей улыбнулся:

– Да знаешь ли ты, с каким напором свищет сейчас вода в эти дыры?.. Сначала цемент напьется, потом пустоты. Мешки размокнут — станет сплошная каша, попробуй выгрузи. - Алексей понадежнее заправил за брючный пояс бурав, добавил: - Еще одну продырявим — брошу его в воду.

На место отошедшей баржи встала под погрузку новая, точно такая же.

– Эту мне доверь, - твердо сказал Миша.

Алексей вынул из-под полы бурав, незаметно сунул его Мише:

– Держи!.. Когда потребуюсь, махни рукой.

Прозвучала команда:

– Ауфштеен!.. Бегиннен!

Миша пошел в трюм вместо Алексея. Алексей занял Мишино место в цепи.

– Шнель! Шнель! - раздалась команда, и конвейер был запущен.

Миша укладывал мешки с таким расчетом, чтобы в одном месте у заднего борта образовалась пустота. Такой же колодец оставляли для него и ребята, работавшие ближе к корме. Когда баржа была заполнена до половины, Миша махнул Алексею, тот тут же свалился вместе с мешком в трюм и встал вместо Миши.

Первую дыру Миша просверлил легко и быстро, вода со свистом забила из-под руки. Он с трудом вытащил бурав, а струю накрыл мешком цемента... Вторая дыра далась ему труднее, бурав попал в металлический болт. Он заскрежетал и дальше не пошел. Миша вывернул его и стал сверлить в другом месте, здесь он пошел легко и плавно...

Руки тряслись от нервного напряжения. «Вдруг заметят, тогда и мне, и Алексею капут!» - мелькали мысли. Лицо взмокло, в ушах непрерывный свист, Мише казалось, что на эти четыре дырки у него ушло, по крайней мере, минут двадцать. Хотя на самом деле затратил он не больше пяти минут.

Когда Миша вылез на поверхность, Алексей шел ему навстречу. Он посмотрел вопросительно, понял, что все в порядке, поднялся наверх.

Поздно вечером, едва переставляя ноги, они возвращались в лагерь.

– Ты, Алексей, вундеркинд, - сказал Миша. - Все у тебя получается.

Алексей положил руку ему на плечо:

– Не надо, Миша... Будь я вундеркиндом, давно был бы на свободе. А то, как все, кормлю здесь вшей...

Такими вот делами, как сегодня, я всего-навсего поддерживаю в себе дух. Когда вошли в барак, увидел на нарах Микка. Лицо его перевязано, сквозь тряпку сочилась кровь. Он как-то сразу осунулся, позеленел, под глазами появились синяки. Рукав рубашки разорван, болтался сбоку и был тоже в крови. Пятна крови виднелись и на брюках, грудь и спина исполосованы яркими, багровыми, вспухшими шрамами. Микк попытался улыбнуться:

– Вот... и меня разукрасили.

Друзья хотели чем-то помочь Микку.

- Мочой нужно, сразу полегчает, - посоветовал Миша. - Микк поморщился, он все время крепился, но сил, видимо, у него было мало. Он с трудом поднялся, снял повязки, намочил их и снова приложил к шрамам. Миша забинтовал, к носу приложил валик, бинт завязал на затылке.

Ночью Миша проснулся, подошел к Микку, нагнулся к нему, Микк не спал.

– Ну, как ты? - спросил Миша.

– Уже лучше... Только слабость одолевает.

Микк говорил хриплым голосом, облизывая губы. Миша принес фляжку.

- Вот теперь полегче! - сказал Микк, когда выпил ее до дна. - Теперь попробую уснуть. - Он лег, но тут же поднялся: - Постой, хочу рассказать тебе... А то душу терзает.

Дальше он говорил, с трудом выдавливая из себя каждое слово.

- Человек порой... сам знаешь... удивительное дело! Нет... просто непостижимо. - Микк подвинулся к краю нар, свесил ноги. - Так вроде бы получше... Мы побили немцев, ну, тех, что просочились к нам в тыл... до сих пор в памяти. Мы настигли их, так те, что в живых остались, подняли руки.. Чуть в стороне немец кинулся наутек в заросли. Кто-то выстрелил, немец свалился мешком. Я подошел ближе, вижу, дрожит он мелкой дрожью... И такая жалость охватила меня... Ему мучиться еще... И подумал я: пристрелю его, не будет зря мучиться. Вскинул винтовку, подошел... И здесь наши глаза встретились... Волосы у меня встали дыбом. - Голос Микка словно высох, он говорил едва слышно. - Видел ты когда-нибудь глаза умирающего человека?.. - спросил он Мишу и, не ожидая ответа, продолжал. - У меня перед войной умер старший брат, я сидел у его постели... Сил нет видеть взгляд человека, который прощается с жизнью!.. Умирающий немец напомнил мне это. Бледный, лежит, слегка шевелит ресницами. Вот так же смотрел мой умирающий брат. Будто я был тому немцу самым близким человеком... и он своим взглядом прощался со мной. И тут я почувствовал, что слабеет моя воля... Не выдержал я, Миша, не выдержал и побежал... Веришь, побежал! - повторил он, снова поднимаясь с нар. - А теперь, подвернись такое, не побежал бы я... Глядел сегодня на этого гада, коменданта, и думал: может, это он был там в лесу?.. А я его не убил... Так теперь он убьет меня!.. Все время кажется, что это был он.

Наутро от ночных примочек Микку действительно стало легче. Опухоль спала, только синяки под глазами да припухшие шрамы на груди и спине стали еще шире. Он пошел на работу.

В этот день Миша работал в лагере и виделся с Микком несколько раз.

Под вечер Микка снова повели на допрос к коменданту.

На этот раз комендант встретил его более приветливо, он подал Микку стул и, улыбнувшись, сказал:

- Я буду немного уточнять. Вчера ты сказал, что жил в Эстонии. Где?
  - В Тапе, герр комендант, - не задумываясь отчеканил Микк.
    - Комендант улыбнулся.
  - Немножечко неточно, - сказал он. - В анкете ты назвал свое место жительства Нарва. Который правда?
    - И то, и другое, герр комендант. Здесь у меня мама, в Нарве папа. Я жил у них по очереди, - сказал Микк.
      - Улыбка сошла с лица коменданта:
        - Это, как там у вас... развод?
          - Точно, герр комендант, в разводе мы, - подтвердил Микк.
            - Комендант поднялся с кресла, подошел к Микку поближе.
  - Гут! Зер гут!.. Будем проверять, - сказал он. - А дяди, тети, братья, сестры живут тоже в Эстонии? - спросил он вдруг.
    - «Это еще зачем?.. А... хочет проверить адреса, куда мог сбежать Урмас. Черта с два я тебе скажу!» - прикидывал Микк.
  - Нет у меня никого, герр комендант, ни теть, ни дядь... Все поумирали, - и добавил: - Я один с мамой.
    - Комендант вернулся на свое место, уселся в кресло.
      - Гут!.. Зер гут! Будем проверять, - сказал он и вызвал охрану.
        - В сопровождении конвойного Микк вернулся в барак.
  - На следующий день Микк проснулся до подъема и разбудил Мишу.
    - Сон приснился, - тихо сказал он Мише. - Будто меня вывезли на кладбище вместе с трупами... Сбросили в яму, чуток присыпали и уехали. Я поднялся, стряхнул с себя землю — и в кусты. - Микк улыбнулся, помолчал немного, испытующе посмотрел на Мишу. - Дошло? - спросил он Мишу. - Это мне старшина похоронки подкинул.
    - Это идея... Надо поговорить с ним, он, конечно, может помочь, - сказал Миша.
      - Разбудили Алексея.
  - В тот же день, после вечернего апелля, Миша зашел в барак, в котором размещалась похоронная команда, встретился со старшиной Георгом Таркпеа.
    - Это очень даже возможно, но рискованно, - сказал старшина. - Не боишься?.. Ведь чуть что, живым в могилу.
      - Боюсь. Хочется вырваться на волю, - сказал Миша.
        - Кому ж не хочется, - улыбнулся Георг.

- Риск большой, ведь если раскроется, меня сразу уберут.
- Не один я тебя прошу, со мной товарищи, - наседали Миша.  
Старшина молча кивнул.
- Спасибо, - пожал ему руку Миша. - Теперь подскажи, как надежнее сыграть роль покойника? - спросил он старшину.  
Старшина задумался:
- Ну, во-первых, ты должен лежать среди трупов нагишом.
  - Голым?! - растерялся Миша.
  - Старшина пожал плечами:
- Ничего не попишешь... В тот момент, когда мы будем брать тебя, ты должен будешь заостенеть. Нужно, чтобы конвойный не заподозрил подвоха. Это, пожалуй, главное, - сказал старшина.
  - Это как? - спросил Миша.
- А вот так... трупы как дрова — не гнутся. Таким и ты должен стать, - пояснил старшина.
  - Принято. Что еще? - спросил Миша.  
Георг задумался, потом сказал:
- Пожалуй, все, - и добавил: - Одежду положи в ногах, и прихвачу ее и на кладбище сброшу. Поищешь — найдешь.  
Перед тем как уходить, Миша спросил:
  - А если сразу втроем, как?
- Лучше не надо, - сказал старшина. - Для начала и одного достаточно, а там видно будет. - И, немного подумав, сказал: - Конечно, это дело ваше, но я бы отсюда не бежал. Во-первых — риск, во-вторых — Эстония, понимать надо... Русскому здесь если и протянет руку, так это только бедный человек — рабочий или крестьянин. Чуть побогаче — в лучшем случае отвернется, а то и предаст.
- Это неверно, - сказал Миша. - Когда нас гнали сюда, эстонцы на дорогу куски хлеба бросали.
  - Не будем спорить... Это был простой люд, их и держитесь, - сказал старшина, - надо быть постоянно настороже, видеть, кто есть кто. И еще... Ты подумал, что станет с теми, кто не может упорхнуть?
    - Не понял? - переспросил Миша.
    - Я говорю: что произойдет с теми, кому придется остаться здесь?..  
Вспомни побег Вильмана, - сказал старшина.  
Миша вспомнил, как отвечал ему Алексей на подобный вопрос, когда готовился побег Урмаса, и сказал старшине:
- А в бою ты бы как себя повел, если бы пришлось остаться прикрывать отход?
- На фронте другое дело... Я не за себя пекусь, пойми ты, голова!.. - едва слышно сказал Георг. - Мне смерти не страшно, не сегодня, так завтра, какая разница?.. Ребят жалко, вот в чем беда.

- Этой же ночью друзья решили воспользоваться услугами Георга Таркпеа.
- Твоя очередь, Микк, - сказал Алексей, - не то замордует тебя комендант.
  - Страшновато с покойниками, - сказал подавленным голосом Микк.
  - А ты не бойся, - улыбнулся Алексей. - Не думай о страшном, совсем не думай, и бояться не будешь.

Улеглись вместе со всеми, а когда барак погрузился в сон, Алексей поднял Микка:

- Не заблудись, от кладбища, ты говорил, знаешь дорогу?

Ага, - подтвердил Микк. - Напрямую — пустяк, верст двадцать, не больше, - подбадривал он себя.

- Ну, бывай! - Алексей хлопнул Микка по спине.

- Провожу тебя, - Вызвался Миша, и они вышли из барака.

Микк тотчас же исчез во мраке, точно его и не было.

Просовывая в приоткрытую дверь голову, он стал медленно входить в сарай. В темноте стало страшно. Он открыл дверь настежь. Свет далекого фонаря осветил помещение... С каким-то душераздирающим визгом, писком, грохотом бросились во все стороны крысы. Микк остолбенел от страха и чуть было не кинулся обратно в казарму. Поборов страх, шагнул внутрь. Трупы были уложены в штабеля и занимали большую часть сарая.

Микк должен был раздеться и лечь в штабель трупов.

«Подожду немного, - решил он, - услышу мотор, тогда и лягу».

После того как закрылась дверь, стало еще темнее. Он встал за простенок и долго был неподвижен. Перед глазами крутились красные круги, в темноте мерещилась всякая чертовщина. Чувство времени пропало, казалось, в этой темноте он стоит уже целую вечность, а машины все нет. В углу что-то хрустнуло. Микк оглянулся и обомлел: неподалеку от него желтоватым пятном светилось что-то похожее на бычью голову с большими рогами. Микк смотрел с минуту на светящееся пятно, потом сделал несколько шагов. Пятно исчезло. Он повернулся и увидел это пятно на своей шинели. Отражение света далекого фонаря через дыру в стене! Микк успокоился. «Сейчас все же должна подойти машина. Медлить больше нельзя», - подумал он, разделся, на ощупь связал узелок и положил его на пол возле штабеля. Накинул на плечи шинель. Но как лечь на трупы?! И опять Микк прирос к полу. А в это время послышались звуки автомобильного двигателя, и машина подкатила к сараю. «Что же делать? - с ужасом подумал он. - Сейчас придут!» - Он сжался весь, потом выпрямился, сбросил шинель, швырнул ее на пол и прыгнул на штабель трупов. Сразу со всех сторон его тело охватило холодом. «Пять минут — и из меня ледышка», - подумал Микк.

Заскрипели ворота, и в сарай вошли грузчики, осветив помещение фонарем. Микк замер, перестал дышать.

- Шнель, шнель! - прозвучали знакомые до тошноты слова.

Похоронщики брали из штабеля трупы, выносили к машине

и швыряли в кузов. Микка взял старшина со второго захода. Как только его руки коснулись ног Микка, он вытянулся, сделал глубокий вздох, стиснул зубы, сжал кулаки и заостенел.

Его вынесли из сарая и так же, как и трупы, швырнули в кузов.

«Первый экзамен выдержал, - подумал Микк, - самый страшный!»

Закончилась погрузка, грузчики уселись в кузов, конвойный в кабину, и машина покатила по двору. Короткая остановка у ворот КПП, проверка путевого листа, содержимого кузова — и машины выехали за ворота.

Микк лежал, придавленный трупами. Трудно было, неудобно, а главное — холод. Ощущение такое, будто голое тело обожгло льдом.

На ухабах машина подпрыгивала, тогда Микка давило с такой силой, что он едва сдерживал на себе этот груз, сдерживал себя, чтобы не закричать.

«Еще пять минут — и я не жилец», - подумал он. С каждой минутой все труднее становилось дышать, голова наливалась свинцом. «Все, это конец!» - мелькнула мысль.

Машина свернула с шоссе на боковушку, и тут на ухабине так трянуло!..

Микк больше не ощущал на себе тяжести, он потерял сознание...

Когда пришел в себя, вокруг по-прежнему было темно и непривычно тихо. Сверху все так же давила тяжесть, но около лица образовалось пустое пространство, в него проникал воздух.

Микк прислушался... Никаких звуков. «Значит, я уже в могиле?!» - с ужасом подумал он. С трудом удалось пошевелить рукой. Постепенно высвободив ее и подняв вверх, ощутил пустоту. Потом удалось высвободить и другую руку. Работая обеими руками, он несколько освободил от тяжести грудь и живот, но ноги по-прежнему были придавлены.

«Что делать? Здесь мне никто не поможет», - дергался Микк. Неожиданно он увидел над головой узкую полоску света и понял, что лежит в глубокой траншее.

Обеими руками он начал разгребать рыхлую, чуть влажную землю. Потом удалось освободить из-под трупов и ноги. В ушах звенело, все тело ныло от холода, дышать было трудно, руки и ноги казались страшно тяжелыми и плохо повиновались ему. Мрак перед глазами постепенно рассеивался.

Наконец Микк овладел собой и вылез на поверхность.

«Где-то здесь должна быть одежда, - вспомнил он, опустил на колени, стал шарить вокруг, наткнулся на свой узел, быстро развязал его, стал одеваться. - Скорей бы... Хоть немножко погреться».

Надел белье, брюки, гимнастерку, обул ботинки. «Теперь шинель, где она? - Он стал искать вокруг. Напрасно. Тогда поднялся, зябко повел плечами и, соединив руки, глубоко забрал их в рукава гимнастерки.

Огляделся, посмотрел вокруг, подумал: - До чего ж небо страшно, когда темно. - Постоял в темноте, как бы привыкая к тому, что остался один. -

Один в темноте... Страшно!» Неуверенно сделал шаг, другой, будто проверяя, сможет ли сам идти в лес.

Он боялся темноты, боялся всего, что приносит с собой ночь, и нужно было собрать все мужество, чтобы противостоять ночи. Микк пробирался сквозь густую темноту. Где-то тут пряталась просека, шоссе, а за ним лес — все, о чем помнилось ему с детства. И он шел этим путем...

«Не думать о страшном...» - вспомнил слова Алексея.

Сквозь лес стала пробираться луна, и в зыбком ее свете можно было разглядеть местность, на душе стало светлее.

Но все же недалеко ушел в эту ночь Микк. Мизерные лагерные пайки давали о себе знать, да и отвык он ходить по лесам и чащобам. С зарей залег в стог сена, и такой знакомой, но забытой показалась ему эта пахучая сухая трава.

Микк лежал на спине, и ему казалось, что блаженное чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой его уже не бьют... Навернулись слезы от счастья. Кажется, он сделал все, что мог. И с этим чувством спокойно уснул, глядя в розовое высокое небо.

Проснулся к вечеру, но встал с трудом. И снова всю ночь по темному лесу...

Под утро Микк вышел к Тапе. За железнодорожным полотном светился тусклыми огнями его родной поселок. Там мать и любимая девушка.

Радость, огромная радость наполнила его душу!

Он хорошо знал, что, как только немцы обнаружат его пропажу, они в первую очередь обыщут дом родителей, возьмут его под контроль. Но он так же хорошо знал, что пропажа обнаружится не раньше вечернего аппетита. Несколько часов на посещение родного дома у него есть.

Микк пересек железную дорогу и огородами, крадучись, пошел к своему дому. Увидел льющийся из окна свет, остановился... Сердце застучало в груди так, что казалось — выскочит сейчас наружу. Ноги перестали повиноваться. Он сделал шаг, другой... и снова остановился.

«Что же это я?.. Ведь живой же, живой! Все самое страшное уже позади. Вот он, родной дом!.. Все, все выдержал! Хоть и трудно, и страшно было, но выдержал!» - трещала башка от мыслей.

Микк сделал еще шаг, а потом, как-будто кто-то подтолкнул его, сорвался и побежал к дому...

Заглянул в окно. Мать возилась у печки. Он отворил дверь, вошел.

Мама!.. - тихо сказал он.

Мама услышала, выпрямилась... У нее дрогнули и жалко запрыгали губы:

— Сынок, родной мой! - Она обхватила сына за шею и прижалась к его плечу.

Микк легонько взял мать под руку и повел ее от окна в угол.

— К нам немцы сегодня не заходили? - спросил он мать.

— Нет... - Мать в страхе посмотрела на сына. - На этих днях полицай наведывался, кого-то, видать, искали.

— Я ненадолго, мама, - сказал он, усаживаясь за скамью.



Мать как-то вся съежилась:

– Куда-же ты, сынок?

– Нужно, мама... Здесь, неподалеку. За мною каждую минуту могут прийти немцы, - и он рассказал матери, где был, откуда пришел, куда направляет свои стопы.

– Господь с тобой, сынок, опомнись, что ты говоришь!.. Оттуда не возвращаются, - зарыдала мать.

– Правда, не возвращаются. Считай, что и я еще там. Чтобы окончательно вырваться, освободиться из плена, надо перейти линию фронта.

Мать стояла не двигаясь и не вытирая слез. А потом обняла сына за плечи, прижала к груди. Микк слышал, как стучит ее сердце...

Они вошли в комнату, уселись на скамью — единственную в доме вещь, на которой можно было сидеть вдвоем. Против них, поблескивая глазами, стояла сестренка Вайра. Все такая же маленькая, худенькая, - совсем и не похоже, что ей десять лет.

– Ну, не плачь же, не плачь, - успокаивал Микк маму.

Мать вытерла рукавами глаза и поправила волосы.

– Ты же голодный? Я быстро, - сказала она, поднялась, подошла к печи, в которой еще тлели угли.

– Тут как-то слух прошел, что ты и товарищ, что с тобой уходил, погибли, - сказала мать, отходя от печи. - Я чуть с ума не сошла.

– На что вы живете? - спросил Микк озабоченно.

– С огорода кое-что собрала... Да кое-что было, вот и живем. Грибы, ягоды...

Микк прошелся по комнате. Раньше ему нравился ее уют: Белые занавески, герань на подоконнике, а в углу стол, за которым, бывало, сидел отец, читая газеты. Только теперь как-то все постарело, обветшало и в комнате стало тесно.

– Ты бы лучше сел, Микк, - сказала мать, - еще увидит кто.

Он сел за стол, мать и сестренка уселись по бокам.

Мать вспоминала, будто только вернулась с дальней дороги, кого видела, что узнала. На ней было старое бумазейное платье, уцелевшее в доме. В русых ее волосах проглядывали седые волосы. Печать пережитого оставалась на лице, виднелась в усталых мелких морщинах — будто лицо все время выражало боль, - в глазах, смотревших на сына, и в руках, с пальцами, похожими на сухие темные корни векового дерева.

Микк поел, выпил стакан чая, поднялся. В доме было прохладно, и все они залезли на печку. Мать слушала сына, взяла его руку, крепко прижала к груди. Так она и уснула. Микк прислонился к теплой стене... Перед глазами поплыли юношеские годы... Друзья детства, которых уже нет в живых, Анита...

В поселок она приехала незадолго до войны. В день приезда Микк и познакомился с ней. Возле своего дома худенькая девушка в белом

фартуке рубила дрова. Работа явно не спорилась, суковатые коряги отскакивали во все стороны, и топор никак не попадал в одно и то же место.

– Не женское это дело, - сказал Микк, - позвольте мужику...

Анита улыбнулась по-детски, протянула ему топор.

Он сбросил пальто, расстегнул ворот рубахи, взялся за топор. Широко, по-мужски расставив ноги, стал уверенно орудовать топором, при каждом ударе из груди выпуская короткий глухой звук.

Девушка стояла рядом с ним, заложив руки за фартук, улыбаясь.

Анита первые дни дичилась Микка, потом стала привыкать к нему и часто, смеясь, говорила:

– Чудной ты, Микк. Серьезный, а посмотришь на тебя — смеяться хочется. Вспомнил Микк и первую встречу со своим соперником по дружбе с Анитой. Он шел из школы, у реки догнал его парень. Одеждой он не отличался от своих поселковых парней, но Микк его не знал, видимо, тот был из соседнего поселка.

– Здравствуй, приятель! - ласково сказал он.

– Привет, - ответил Микк, - но я тебя не знаю.

Парень взял его за плечо, остановил, повернул лицом к себе и внезапно применил к Микку прием самбо. Тут же склонился к нему, лежащему, сказал:

– Ты, паскуда конопатая, чего к Анке прилип?! Увижу еще раз — распишу физиономию, - и убежал.

Микк был сбит с толку. Ласковый подход не вязался со смыслом злых слов.

Потом Микк случайно встретился с ним в доме Аниты. Когда Микк вошел, парень встал со стула и молча заходил по комнате. Микк уселся на его стул и тоже молчал, выжидал, что будет дальше. И это молчание, борение их обоих с собой, привыкание продолжалось минуту... Но было незаметным. Потому что разговор между ними шел, но только не вслух.

Но вдруг, исподволь, откуда-то сбоку, со стороны, к Микку подползли слова: «Ты, паскуда конопатая...» В голосе было столько яда. И сейчас не сами эти слова пришли на ум, а услышался прежде голос. В душе разлилась боль, которая вжилась уже как противоядие злу...

Эти мысли прервал парень:

– Я — Тыну, а ты?

Микк не ответил. Он сидел в полосе солнечного луча, отраженного от стекла серванта. Солнце было на заходе. Вышло из-за крыши соседнего дома и появилось в комнате. Он, казалось, и рассматривал эту полосу на паркете. И все еще был озадачен оскорбительными словами Тыну, с которым у него, как он считал, не будет и не может быть мира.

Тыну был совсем непонятен ему. То он старался в начале что-то объяснить, то оправдывался. А потом встал рядом с Микком,

неловкий, внутренне скованный. Оттого и молчал. Сам он, Микк, тоже, наверное, был непонятен себе. Его успокаивало и ободряло, что Тыну наедине с ним робел. Им обоим было неловко от непривычки друг к другу. И Микк очень хотел, чтобы вернулась поскорее в комнату Анита.

- А вот и я!.. Заждались? - услышал он неожиданно и вздрогнул, обмер от внутреннего тепла, вдруг возникшего в груди, пошли мурашки по коже. Огонь в печурке вспыхивал и меркнул, сквозь открытую дверцу было видно, как медленно покрываются пеплом бархатно-красные угли. Встать бы, подбросить дровишек! Куда там! Не хотелось даже шевелиться. Осунувшееся лицо матери казалось в полумраке молодым, совсем как в далекие довоенные дни...

Утро было тихое и грустное. Втроем — мать, Микк, сестренка — сидели за старым, разохшимся столом. Микку было до слез жаль мать, но чем, какими словами он мог ее утешить?.. Неотступно преследовала мысль: как они будут жить одни? Запасов не сохранилось... Ясно, что спрашивать об этом мать бессмысленно, что она ему ничего не сможет ответить... Эту слабость — медлить, оттягивая узнавание о неприятном, - он в себе давно замечал. Объяснял все шутливо самозащитой организма, источником адаптации.

И все же он спросил.

— Как-нибудь проживем, - ответила мать после некоторого молчания. - Может, соседи поделятся... до весны. А там огород раскопаем... Вот Вайра по хуторам пробежит.

Сестренка сидела рядом и внимательно смотрела на Микка карими отцовскими глазами.

«Куда ее, такой, до беготни», - с грустью подумал он.

— Добрые люди, может, помогут, - повторила мать.

Микк поднялся из-за стола, и мать поняла, что он уходит. Но каждый из них боялся первым сказать это слово. Они молчали... Наконец Микк решился:

— Мне пора.

Он расцеловался с матерью, с сестренкой и, не оглядываясь, боясь, как бы у самого не брызнули слезы, вышел.

Теперь на минуту к Аните — и в лес.

И опять задворками домов Микк крался к дому Аниты. Рассветало. Поселок обрадовал Микка, в нем все осталось по-старому. Прошла, казалось, вечность с тех пор, как он был здесь в последний раз, а поселок все тот же.

Вот тот самый забор и тот самый дом, о котором мечталось, который в лагере снился каждую ночь. Микка охватило волнение, он остановился и подождал, пока оно не пройдет. Потом подошел к забору, заглянул во двор и увидел Аниту, она стирала белье. До нее шагов сто-полтораста, не больше.

- Анита! - Микк позвал тихо, зная, что она не услышит, - ему хотелось вслух произнести ее имя.  
Он смотрел на нее, а она продолжала стирать.
- Анита! - сказал он погромче.
- Она посмотрела в его сторону, но или не узнала, или кусты скрывали Микка.
- Здравствуй, Анита! - крикнул Микк и подался ближе к забору.  
Анита выпрямилась, несколько секунд стояла, беспомощно и растерянно опустив руки, затем оглянулась по сторонам, побежала к Микку.
- Анита!..
- Они смотрели друг на друга радостно и растерянно.
- Вот и встретились, - сказал Микк, - не ждала?
- Ждала... Откуда ты взялся, Микк?
- Потом, Анита, потом... дай хоть руку.
- Анита протянула ему руку. Микк сжал ее, потом притянул Аниту к себе...  
Пойдем в дом, - застенчиво сказала она.
- Нельзя мне, Анита, я должен уходить.
- Куда уходить? - спросила она. - Только что пришел и...
- В лес, Анита!.. Своим обо мне ни слова, - попросил он.  
Она смотрела на Микка:
- Тогда обожди, я сейчас.
- Анита побежала в дом, почти сразу же вернулась, через калитку вышла на улицу — и вот она возле Микка:
- Сказала маме, что к подружке схожу...
- Они шла огородами. Микк глядел на Аниту, и она казалась ему какой-то другой, и не только внешне — более сдержанной, неразговорчивой.  
Сели на поваленное дерево в зарослях.
- Я тебя часто вспоминал, - сказал Микк, - много раз видел во сне.
- Я тоже видела... Микк, скажи, откуда ты?... Куда идешь?..  
Он улыбнулся.
- Бежал из лагеря, - наконец признался он.
- Из лагеря?! - Анита поднялась, в глазах появился страх. - Ой, как же это, Микк!.. Микке... Ну, скажи, неправда это?.. Да?
- Правда, Анита.
- Куда же ты теперь, Микк? - не унималась она.
- Здесь, недалеко... Знакомый на хуторе. Соберемся с друзьями — и через линию фронта.
- Она стояла вполоборота к нему и, как ему показалось, отрешенно смотрела вдаль, вверх железных крыш невысоких домов. У нее были прямые брови и маленький, чуть вздернутый носик. Этого Микк раньше не замечал. Сейчас он смотрел на нее по-особенному.
- Анита, расскажи о себе, как вы тут? - спросил Микк.

Анита опустила голову, молчала.

– Анита...

Она отвернулась и опять не ответила.

За эти томительные и напряженные секунды, что они молча стояли вблизи, воскресло в его памяти многое. И он поймал себя на мысли, что хочет, чтобы она улыбнулась сейчас так, как тогда, на вокзале, в день его отъезда...

Наверное, и она проводы те запомнила. Не могла не помнить. И все же это была та Анита, почти что прежняя. Микк почувствовал беспокойство, предвидя неладное с ней... Стоял и ждал слов о ее беде, которая все явственнее проступала в ее молчании. Да он и так знал, - иначе бы не молчала. А молчала все от той же гордости.

Она не выдержала и подняла голову. Ни укора во взгляде, ни каприза.

Была только тоска и усталость.

Ему показалось, что она не вымолвит ни слова, но она проговорила:

– Да Тыну меня преследует.

Микк заметил на руках Аниты синяки, а на шее коричнево-фиолетовые круги.

– Тыну?! - удивился он.

– Ну... С которым ты на фронт уходил... Теперь он полицаем у немцев.

Микк вспомнил, как нехотя уходил Тыну на фронт, как воевали на фронте...

... Немцы открыли ураганный огонь. Пригнув головы, солдаты укрылись в окопах. Вокруг раздавались стоны раненых.

– Сегодня нам придется туго, - сказал Тыну, и голос у него пресекался. -

Сложим здесь свои кости...

– Не бойся — выживем, - спокойно ответил Микк.

– Я, пожалуй, водки выпью, - сказал Тыну, и его зубы застучали о фляжку. Приближался час вражеской атаки. К вою снарядов все чаще и чаще стал примешиваться треск пулеметов и разрывы мин. Вскоре из рожи выскочили три вражеских танка, быстро пронеслись в сторону обороны русских. Микк — он был переведен из бронебойщика в наводчики орудия — выбрал средний танк.

– Огонь!

Чудом удалось попасть в танк с первого выстрела, но он все-таки продолжал идти вперед как ни в чем не бывало. Микк стрелял без передышки, но танки упорно шли и шли. Наконец, после четвертого попадания один остановился и вспыхнул. Люк в башне открылся, выскочили танкисты в горящей одежде. Микк словно не заметил их, он внимательно прицеливался в другой танк. Два попадания — и орудие умолкло, но танк все так же продолжал рваться вперед.

– Огонь!

Выстрела не последовало. Микк быстро обернулся -

неподвижными вытаращенными глазами Тыну уставился на железное чудовище и не слышал команды.

– Огонь, Тыну!

Тыну машинально дернул за пуск, но снаряд ушел в сторону. Пришлось снова прицеливаться...

– Огонь! - кричал Микк.

Сзади прозвучал выстрел. Пуля обожгла Микку спину. Он повернулся, на миг увидел Тыну с пистолетом в вытянутой руке. Тыну выстрелил еще раз, швырнул пистолет и припустил по полю в сторону наступающих немцев...

Сейчас Микк вспомнил все это. «Значит, Тыну жив! - Он почувствовал, как горячая волна залила лицо и бросилась в голову. - Значит, Тыну жив!»

– Я убью его!

Анита робко взглянула на Микка. Она секунду постояла, глядя на него все с той же недосказанностью. Поникла печально и опустила глаза. Потом странно заморгала, стала рыться в потертой черной сумочке. В этот миг жалость к ней взяла в нем верх.

– Успокойся, это я так, сгоряча. - Микк взял Аниту под руку, повел ее до опушки, где начинался лес. Здесь они и распрощались...

– Я скоро вернусь, Анита!

Микк выбрал место для отдыха, наломал побольше веток для подстилки и устроился на день в кустарнике.

День был прохладный, но разжечь костре он не решался, возле холодного ручья и провел день.

Спал плохо, несколько раз просыпался от холода и какого-то внутреннего беспокойства. А после полудня проснулся и уж больше не пытался заснуть. Поднялся, привел в порядок одежду, подошел к ручью, умылся прозрачной водой — первый раз за последние месяцы.

Все оставшееся до ночи время Микк думал о Тыну и очень боялся, что не застанет его дома. Ведь не может, не должно так быть, чтобы остался жить этот человек!..

Вечер застал Микка вблизи первых домов поселка. Сквозь редкий пролесок хорошо видно дорогу и даже дом, в котором жил Тыну. Он стоял на окраине. Вокруг — огороды, поля, мелкий кустарник и вдали — лес.

Как только стемнело, Микк поднялся и медленно пошел в поселок.

Сколько раз мальчишкой он бегал по этой улице за этот чужой поселок купаться. Вот где-то тут, совсем близко поворот на тропинку, в кусты, а там и речка. По правой стороне должна быть лавчонка с вкусными, обсыпанными сахарной пудрой тянучками. Пятка за штуку! Но что там темнеет? Столб, куст, человек?.. Микк остановился, замер... Как будто бы ни столба, ни куста на этом месте раньше не было... Часовой? Вряд ли. Если бы немцы чего-то опасались, то выставили бы скрытую заставу. Нет, это все же столб.

В окнах дома Тыну света еще не было. Микк остановился возле низкого заборчика, огляделся вокруг и шмыгнул в калитку. В палисаднике он лег в междурядье кустов смородины и стал ждать. Отсюда было видно, что делается в доме, и просматривалась вся улица.

Микк надеялся, что Тыну еще до полуночи вернется домой. Но он не пришел. Наступила ночь, а его все не было.

Время шло, а вокруг было по-прежнему тихо и темень такая, что в десяти шагах ничего не видно. Только окна дома поблескивали неосвещенными стеклами.

Припомнился Микку один разговор с Тыну на фронте. Это было в первые дни войны. Над обороняемым участком фронта пролетел немецкий самолет и сбросил листовки. Микк поднял одну, прочитал: «За мир, свободу и народную власть!» На него повеяло чем-то неприятным, и он небрежно швырнул листок. Тыну, смотревший ему через плечо, воскликнул:

- Правильно! Спрашивается, для чего нас сюда занесло, на русскую землю, будто у нас своих забот мало? Говорил я тебе: мир нам нужен, братец, мир!

После слов Тыну Микк понял, в чем дело. Он поднял листовку, внимательно прочел:

- Вот чего им захотелось, мерзавцам!
- Почему мерзавцам? - возмутился Тыну. - Где у тебя голова? По-твоему, люди нам зла желают? Не хотят они, чтобы мы кровь свою проливали ни за что, ни про что...
- А если, к примеру, кто-нибудь кинется на твоего брата с топором, что ты тогда делать будешь? А? - спросил Микк. - Будешь стоять в сторонке и посматривать?
  - Брат — другое дело, - протянул Тыну.
- Предположим, кто-то повалил тебя на землю и душил, а брат пришел на выручку, тот возьми и налети на него с топором — что ты тогда будешь делать?..
- Неужели ты не видишь, что немцы воюют не против нас, а против Советов?..

– Ничего ты не понял, - убежденно сказал Микк.

Тыну умолк, а Микк взял листовку и старательно разорвал ее на мелкие кусочки... У Тыну от злости перекошило лицо. Зло у Тыну было уже беспричинным. Вжилось в него, стало его натурой, «как у колдунов». Люди всегда старались доискаться — отчего зло? Почему в одних оно есть, в других нет? Почему вообще существует на белом свете? Не должно быть! Как зло объяснить — не знали и приписывали его «нечистой силе». В кого та вселится, в том и живет оно. И хотел бы этот человек от него избавиться, но не может, оно сильнее его. В этом наивном и суеверном объяснении была и своя мудрость. Зло — сила, насилие.

Значит, уже «нечистое», не добро. И возникал образ злого колдуна, сообщника нечистой силы, которой в народе боялись.

Как наваждение, вставляли рассказы о колдуне в округе, где жил Микк. Им пугали его в поселке. Он наводил «порчу» и на людей, и на скотину. Но вот пришло и его время, но без передачи колдовства «нечистая сила» не пускала в тело смерть. Кто-то сжалился над колдуном, залез за подволоку его избы, приподнял потолочину, подержал и опустил. Под потолочиной тотчас что-то пискнуло. Колдун был уже мертв.

Тыну тоже не мог избавиться от своей «нечистой силы», в него вселившейся. Для него суд народа встает неминуемым «приподнятием потолочины», избавлением от того, отчего уже начинало страдать его тело.

Было уже далеко за полночь, когда со стороны дороги послышались шаги. Люди шли торопливо, громко разговаривая. По шагам Микк понял, что их трое. Они подошли к калитке, остановились.

– Будьте уверены, завтра он будет в наших руках! - сказал один пьяным голосом.

Это сказал Тыну, Микк узнал его. «Это сказал Тыну обо мне...» - Микк почувствовал, как снова горячая волна залила ему лицо и бросилась в голову. Это сказал Тыну!.. Видимо, немцы уже сообщили о нем в полицейский участок. Микк больше не слышал их разговора, поднялся... К счастью, в это время заскрипела калитка, Тыну прошел мимо Микка и скрылся за дверью дома. Через минуту окна засветились желтым светом. Микк подошел к окну, заглянул внутрь. Тыну раздевался: снял автомат, повесил его на крюк возле двери... «Лучше не придумаешь», - подумал Микк. Снял шинель, швырнул ее на кровать, сапоги поставил в угол рядом с рукомошкой. Раздевшись до нижнего белья, Тыну надел пижаму, уселся за стол. На столе стояла покрытая белой салфеткой миска, рядом — вилка, тут же граненый стакан и бутылка с самогонном.

«Пора», - Микк осторожно прошел за угол на задворки. Возле конюшни увидел навозные вилы. «Годится», - подумал он, взял их, тихо, почти беззвучно открыл дверь, вошел...

Тыну только что опрокинул стакан самогона и, закусывая, даже не поднял головы. Микк снял с крюка автомат, поставил вилы, прошел к столу, остановился и вопросительно молча глядел на согнувшуюся за едой коренастую фигуру, на квадратную желтоволосую голову.

– Принимай гостей, Тыну! - произнес наконец Микк, с трудом сдерживая ярость.

Тыну быстро поднял голову, уставился на вошедшего. Не двинулся на стуле, остался словно пригвожденный. В руке застыла вилка с кусочком консервного мяса... Потом он медленно, как навстречу страшному и неотвратимому, чего уже нельзя избежать, поднялся из-за стола, но тут же сел, посматривая на автомат в руках Микка. Он был до предела пьян.



- Сегодня я встречал тебя, но не встретил, - пробурчал Тыну, хмуро глядя на Микка, - а ты вот...
- Мне очень уж хотелось побыстрее встретиться с тобой, Тыну. Ты уж извини, что побеспокоил вашу персону, - сказал Микк.  
Закусив губы, Тыну медленно покачивал головой.
- Даже не верится, что это ты... живой, - проговорил он, - кажется что это привидение.
- А я и есть привидение. Выбрался с того света, для того, чтобы с тобой встретиться, - твердо сказал Микк.
- Да!.. Бывает... Всякое бывает на свете. - Тыну мрачно усмехнулся.  
Усмехнулся, как будто и не было никогда изрытой воронками земли, стона раненых, равнины, усеянной трупами, как будто и не дрожала его рука, когда он из пистолета стрелял в спину товарищу.
- Подлец ты, Тыну! - раздраженно сказал Микк.
- Может, и подлец, - согласился Тыну почти хладнокровно, только какая-то жилка билась на его неподвижном лице. - Убери автомат! - угрожающе выкрикнул он, приподнимаясь. - Если ты убьешь меня, завтра повесят твою мать.
- Ах вот за что ты зацепился!.. Не поможет тебе, Тыну, и эта угроза. Кто узнает, что убил тебя я?.. На твоей шкуре я надписи не оставлю, - сказал Микк.  
Тыну судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое, острое мелькнуло в его быстром взгляде. Опустив голову, он низко наклонился над столом, молча, стараясь, чтобы его не заметили, выдвинул ящик в столе, быстро выхватил из него пистолет...  
Выстрелить Тыну не успел, Микк опередил его... Перекинув через плечо автомат, поднял с пола пистолет и вышел, не закрыв за собой дверь. А через каких-то полчаса он был уже далеко в лесу.  
Снова на добрый десяток километров он остался один, но сейчас это уже его не смущало, он чувствовал себя в родном краю, дома. Тут все свое: и лес, окружавший его, и тропа, по которой он шел, и даже звери, которые могут попасться на его пути.
- Да, здесь все свое, родное! - сказал он вслух и ускорил шаг.  
Друзья не знали, удалось ли в ту ночь Микку вырваться на свободу или он остался лежать в общей братской могиле на кладбище, но точно знали, что немцам он не попался.
- Теперь наша очередь, - сказал Алексей, когда старшина из похоронной рассказал ему о Микке.  
Но и это, казавшееся совершенно надежным, окно просуществовало всего лишь одну ночь. На следующее утро немцы обнаружили в сарае шинель.  
Взвыла лагерная сирена, послышались громкие выкрики вахманов:  
– Всем выйти! Построиться на проверку!  
Солдаты охраны стояли на апельсиплаце с автоматами на изготовку,

готовые по первому знаку открыть огонь.

– Шнель, шнель!

Оберштурмфюрер Хайнц Шнебель вышагивал взад-вперед перед колоннами. Лагерное начальство охватила лихорадка. Но на этот раз обошлось без ээсовцев.

– Штильштанд!.. - над площадью неслись голоса вахманов.

- У меня исчез номер 1489, - доложил вахман третьей роты фельдфебелю.
- Аусрехнен зих! - скомандовал фельдфебель третьей роты и пошел вдоль колонны, проверяя счет по головам.
- Не хватает одного?! - комендант говорил тихо, угрожающе. - Вывести вперед третью роту! - приказал он.  
У фельдфебеля на лбу выступил пот.

Рота выдвинулась вперед на середину аппельплаца.

Светало. На землю сползал туман. Лучи прожекторов растворились в мареве, и казалось, что мельчайшие капельки тумана светятся сами собой.

Вышагивая словно на ходулях, подошел оберштурмфюрер Хайнц Шнебель.

- Сбежал еще один, и опять из вашей роты... Кто назовет сообщника? - угрожающе спросил он.

Никто не шевельнулся.

– 1423-й, - выйти из строя!..

Алексей вышел на середину плаца.

У Миши пробежал мороз по коже, еще свежа была в памяти расправа за Урмаса, еще раздавались в ушах крики погонял и выстрелы замыкающих.

– Кто помог Тяяль?! - спросил Алексея комендант.

- А бог его знает, я не ясновидящий, господин комендант, - ответил он.
- Только один ты знаешь, что творится в лагере, - сказал комендант. - Если через пять минут не скажешь, кто помог ему, застрелю.

Комендант вынул из кобуры пистолет, посмотрел на часы.

- Вы возьмете еще один грех на свою душу, господин оберштурмфюрер, - отчеканил Алексей. - Он же не ребенок, сам сообразил, куда ему податься... А мы к ночи так упичкаемся, что нам не до слезки, спим как убитые.

Алексея поставили к стене трансформаторной будки. Комендант направил на него пистолет.

Алексей видел вспышку. Пуля, взвизгнув, ударила о кирпич в нескольких сантиметрах от головы. Брызнувшие осколки точно иглы впились в лицо.

«Промახнулся с двадцати шагов», - подумал Алексей.

Но и вторая пуля ударилась рядом, совсем близко, и Алексей понял, что комендант не убьет его и на этот раз оставит в живых. На испуг берет...

Немец оставил Алексея и не спеша направился к строю третьей роты.

- Выйти из строя тем, кто помогал беглецу! - приказал он.

Люди не двинулись с места, словно и не слышали команды.

– Я непонятно сказал?.. - угрожающе повторил комендант.

Снова молчание.

– Будете расстреляны все! - сказал он твердо.

Солдаты взяли автоматы на изготовку.

– Шаг вперед! - скомандовал комендант и поднял руку, чтобы отдать команду «огонь».

Мертвая тишина царила на плацу. Люди стояли не шевелясь, затаив дыхание. Солдаты держали пальцы на спусковых крючках, то и дело поглядывая на коменданта.

Из строя вышел старшина похоронной команды.

– Зачем же всех, стреляйте меня, сказал он, я помог беглецу, а люди не виноваты.

Ему приказали снять все: шинель, рубашку, штаны. Голым стоял он на площади. Подошел фельдфебель с резиновой палкой в руках.

– Ложись! - приказал старшине комендант.

Старшина лег на землю, фельдфебель размахнулся и ударил его по голой спине. Поперек спины вздулась багровая полоса. Старшина вскрикнул, закрутился на месте...

Фельдфебель бил его до тех пор, пока старшина не затих. Он потерял сознание.

– Прекратить, - сказал комендант. - Облейте его водой.

Фельдфебель принес ведро воды, вылил его на спину старшине.

– Встать! - скомандовал комендант.

Старшина тяжело поднялся.

– Это — грязная скотина! - громко сказал Хайнц Шнебель. - Мало того что он, эстонец, продан русским коммунистам, так еще злоупотребил оказанным ему доверием. - Надтреснутый голос коменданта прокатился по плацу.

Старшина не шелохнулся.

Сквозь узкие щели разбухших от побоев век он мог разглядеть только переднюю шеренгу. Лучи все еще не потушенных прожекторов на вышках падали на людей, освещая их лица. Старшина мог еще стоять и думать. Он поднял голову, повернулся к коменданту, процедил сквозь зубы:

– Сволочь вы, господин комендант, а не офицер! - и опустил голову.

Два волкодава рванулись на старшину, они повалили его на щебенку, с яростью стали рвать зубами его голое тело.

Проводник-конвойный бросился к псам, схватил одного за ошейник.

– Нельзя же так, - едва слышно, подавленно выдавил он по-немецки. - Ведь мы же люди!.. - и вытер лицо рукавом.

– Уведите его! - крикнул комендант конвою.

Старшина пытался подняться... встал на колени, отирая залитое кровью лицо окровавленными руками.

Прозвучал выстрел...

Комендант спокойно опустил руку, убрал пистолет в кобуру и приказал фельдфебелю вести людей на работу.

На этот раз победа «заговорщикам» досталась дорогой ценой. Этот день лагерь был подобен бурлящему вулкану. Долгое время казался он безжизненным, погасшим, и вот впервые ожил, и стало ясно, какая огромная, готовая вырваться наружу сила таится в нем. Над городом каждую ночь появлялись русские самолеты. Военнопленные узнавали об этом по сотням сверкающих огней от разрывов зенитных снарядов.

– Сердце мрет, когда летят мимо, - сказал как-то Миша Алексею.

Тот задумался надолго, потом сказал:

– Да, порт поворошить бы не мешало... Видать, за ним-то они и охотятся, да темень, хоть глаз выколи, - завелся Алексей. - Я давно мозгую, как бы сигнал подать.

– Перед самым уходом из порта заронить окурков... в промасленную ветошь на тарном складе, годится? - спросил Миша Алексея. - Загорится не сразу, сначала тлеть будет, - убеждал он, - авось да и вспыхнет огнем к налету.

На следующий день рота работала в порту, выгружали из вагонов закрытые ящики, укладывали их в штабеля возле пирса. Рядом маячил конвойный, страж порядка, с карабином в руках, курсировал вместе с пленными от вагонов до пирса.

К вечеру все это приелось немцу, и он стал посматривать, где бы посидеть. Пожухлая трава была слишком мокрой.

Перекинув карабин за спину, он начал медленно ходить вдоль состава.

Подошел к одному вагону, потом у другому, закурил сигарету.

Быстро темнело, на столбах зажглись прожектора.

Немец перевернул пустой ящик, уселся на него. Карабин он зажал между колен, проследил глазами, как курсируют пленные от вагона до пирса и обратно, наконец, принялся за дело — каблуком кованого сапога начал рыть землю. Пресытившись и этим занятием, он поднялся, потянулся, зевнул, глянул на часы — до конца работы еще час! - поплелся к бункеру.

Алексей подобрал немцем непотушенный окурков, вытащил из кармана клочок газеты и, зажимая его в руке, бросился к тарному складу. В конце концов каждому может приспичить, и пленному тоже. Другой рукой поддерживал штаны. Он не оглядывался, чтобы его не заподозрили в чем-нибудь.

Прячась от посторонних глаз за бочками, Алексей забрался в самый центр тарного склада. Здесь подобрал с земли пропитанные нефтью концы, раскурил окурков сигареты, сунул его в ветошь. Кверху потянулась тоненькая струйка дыма. Алексей выбрал помаслянистее бочку, положил внутрь тлевшие концы. Осторожно выбрался к крайнему ряду бочковой пирамиды, замер... Выждал, когда конвойный, разговаривая с часовым бункера, повернется к нему спиной,

хотел было прокрасться обратно к вагону, уже сделал первый шаг, как вдруг увидел фельдфебеля. Тот шел от проходной порта. Конвойный кинулся ему навстречу. «Что же теперь?» - подумал Алексей. - Пора возвращаться, при построении проводят переключку, и беда, если недосчитаются!»

Миша тоже шевелил мозгами, как отвлечь фельдфебеля, чтобы обеспечить возможность товарищу вернуться.

Его осенила мысль... Он не забыл знакомства с фельдфебелем, когда устанавливали столбы в лагере. Фельдфебель проявил тогда особое внимание к нему, не отошел от него, пока Миша не отнес бревно к яме. Фельдфебель подошел к вагону... Удобный случай! Миша поднял ящик на плечо, пронес несколько шагов и как бы невзначай выпустил его из рук.

Ящик с грохотом полетел на землю.

– Что за комедия!.. - Фельдфебель быстро направился к месту происшествия. - Вот я сейчас отполирую твою поганую рожу! - закричал он.

Миша наклонился, приподнял ящик и снова бросил его под ноги. Фельдфебель вошел в роль — быстро расстегнул кобуру, вынул пистолет:

– Саботаж!.. А ну, подними!

Пленные обступили их. Миша снова взялся за ящик, не спеша перевернул его на бок, обнял обеими руками, взвалил на плечо и медленно понес к пирсу.

Воспользовавшись суматохой, Алексей выбрался из-за бочек, распрямился, застегнул шинель и спокойно направился к вагонам. Раздалась команда: «Строиться! Лос, лос! Быстра!» - это фельдфебель надрывал свою глотку...

Сигнал пожарной тревоги в этот вечер застал лагерных в очереди к лагерьной кухне. Чертыхаясь, немцы на ходу застегивали пояса, хватали оружие, напяливали на головы стальные каски и выбегали наружу.

Дверь в пищеблок распахнулась, влетел вахман:

– Всем на выход!.. Быстро! - и, выпуская выбегавших наружу людей, как бы про себя добавил: - В порту пожар.

Но тушить пожар пленным не пришлось, их загнали в бараки: вслед за пожарной прозвучал сигнал воздушной тревоги.

С востока нарастал гул бомбардировщиков. Ближе, ближе!.. Они летели высоко, гул моторов становился все громче. Зеленая сигнальная ракета отделилась от ведущей машины, рассыпалась снопом бесчисленных крохотных звездочек. И тогда начали падать бомбы.

Через несколько минут зенитные батареи открыли такой частый огонь, что выстрелы слились в сплошной гул. Какое-то время они еще палили, а после того как на них обрушились бомбы, злое тьяканье батарей потонуло в грохоте разрывов.

Воздух сотрясали мощные удары.

- Смяли, смяли начисто! - как ребенок радовался Алексей.

Ночь была ясная — самая «налетная», как выразился Алексей. Похожая на желтый шар луна висела над городом. Воздух был легкий, крепкий.

Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милой девушкой по общим плащом, и чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменистый берег.

А они шли, усталые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин живых и мертвых.

В мыслях Миша долго еще оставался в эту ночь один с подобным эпизодом, трагедию которого ему довелось однажды пережить в начале войны.

В последнюю перед отправкой на фронт ночь воинскую часть, в которой начал службу Миша, подняли по тревоге. Немцы бомбили город. На его глазах рухнул дом, обломки перегородили улицу, и из этой каши битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. На третьем этаже висел, накрываясь, буфет, на стене были видны пальто и дамская шляпа.

Вокруг было тихо, люди со странным спокойствием приближались к дому, их голоса были неторопливы, осторожны. Услышав слабый стон из-под развалин, Миша скинул противогаз, ползком, разбирая кирпичи, добрался-таки до того места и вылез оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки.

- Подсадите! - повелительно сказал санитар.

Это была девушка в легком платьице, с почерневшим от грязи лицом. Ее усадили, голова упала на грудь...

Теперь, когда Миша сел с лопатой на плече доставать из-под развалин немцев, он подумал: «Вот вам и отливается наше горе».

Светало — и непередаваемая картина горящего города медленно открывалась перед ним. Еще не отпылали деревянные постройки, еще пламя, бледное в утреннем свете, страшно показывалось из окон.

Проволока судорожно скрутилась в спирали вокруг упавших столбов. Когда колонна свернула к морским воротам, он увидел: все пространство порта в уродливых черных провалах.

Вечером того же дня, шатаясь от усталости, продрогшие и вымокшие, люди каторжного лагеря возвращались с работы. На площадке при входе в барак к Мише подошел фельдфебель.

— Ты есть идиот и саботажник! - сказал он, рассматривая Мишу.

— Силенок, господин фельдфебель, не хватает, - сказал Миша подавленно. - Уж очень харч у повара скудный.

— Ах вот как!.. - скривив рожу, произнес фельдфебель. Успокоившись, похлопал Мишу по плечу: - Я пропишу тебе, любезный дистрофик, лекарство от упадка сил. Если не поможет — пристрелю на месте.

И фашист прописал... штрафной блок, ночную каторгу.

На сердце у Миши осела горечь, зародилась тревога.

Зародилась не сразу, а когда фашист ушел, скрылся из глаз. Тревога была не такой, какую он испытывал до встречи с фельдфебелем, хотя и знал, что устроенная сцена в порту ему даром не пройдет. Сейчас Миша определенно знал, что фашиста надо опасаться: еще один подобный случай — и получишь в наследство пулю. Он вспомнил подстерегающий взгляд фашиста. Взгляд затаенный, мстительный. Такой взгляд бывает у него наедине с самим собой. Так фашист глядит из темноты, не подозревая, что его видят.

Алексею Миша ничего определенного не мог сказать о разговоре с фашистом. Все дело было не в разговоре, а в том, что оставалось на душе после разговора.

Днем Миша должен был работать со всеми, а с вечера до утра — грузить и отвозить мусор на свалку. Спать разрешалось ему только два часа. После вечернего апелла в барак вошел конвойный с автоматом на шее и повел Мишу на ночную каторгу.

Во дворе возле мусорной ямы уже стояли трое из штрафблока. У их ног лежали лопата и ломик для рыхления мусора. Выкидывали нечистоты из ямы, заполняли ими контейнеры, грузили на машину, в сопровождении конвойного отвозили на свалку. Один садился в кабину с шофером, второй — с конвойным в кузов, а двое оставались, чтобы приготовить очередную порцию мусора для загрузки контейнера.

Неподалеку от них из подвала двухэтажного дома, где размещались комендатура и управление гестапо, Миша увидел, как лагерные полицмейстеры — капо-эстонцы и блокэльтеры выносили трупы военнопленных, укладывали их на мерзлую землю. Он подошел поближе. Блокэльтеры ставили на землю носилки и, прежде чем снимать трупы, раздумывая, стояли над ними, — у некоторых тел отделились руки, ноги, и блокэльтеры соображали, какому трупу принадлежит та или иная конечность, прикладывали ее к телу. Большинство мертвецов были полураздеты, в белье, некоторые в брюках. Один был совершенно голый, с кричащим открытым ртом, с запавшим, соединившимся с позвоночником животом, с худыми ногами.

Невозможно было представить, что эти трупы, с прорубленными ямками ртов и глазниц, были недавно живыми людьми с именами, с местожительством, говорившими: «Милая ты, славная, поцелуй, смотри, не забывай», мечтавшими о кружке пива, курившими сигарки.

Видимо, только офицер с повязанным ртом ощущал это.

В очередной выход из подвала одна пара блокэльтеров шагала несколько быстрее обычного — груз был легче. На носилках лежал труп мужчины средних лет. Мертвое тело съезжилось, ссохлось, и только седые растрепанные волосы сохраняли молочную прелесть, рассыпались вокруг ужасного, черно-коричневого лица.

Мишины товарищи негромко ахнули, а он сразу узнал покойного... Оскар Вески. Миша всматривался в лицо с кривым, окаменевшим ртом и видел,

как только хороший друг мог одновременно видеть, и эти ужасные черты, и то живое и смуглое лицо красивого мужчины, который улыбался ему когда-то при встречах. Миша подошел поближе, опустился перед Оскаром на колени, нагнулся над ним, поправил растрепанные волосы и поцеловал его в наморщенный лоб. Потом медленно поднялся на ноги и, едва переставляя их, пошел к месту своей работы.

Конвоир не воспрепятствовал ему в этом священном долге прощания с товарищем...

На следующий день Миша рассказал Алексею о своей ночной работе. Алексей уже знал об этом и с готовностью высказал Мише свое соображение на этот счет.

- Худа без добра не бывает, - сказал он. - Фельдфебель, можно сказать, тебе навстречу пошел, - улыбнулся он. - Лучше ситуации для побега и не придумаешь. Вместе с мусором можно черта с рогами вывезти, а не только нас с тобой, - убежденно сказал Алексей.

Он метнул свой взгляд по сторонам, наклонился к Мише поближе:

- Сегодня же... Как только контейнеры поставят к яме, я сменю твоего напарника. Предупреди его... Ночи темные, охранник не разберется, кто есть кто.

– Ну а дальше? - спросил Миша.

- Дальше?... Дальше будет все в порядке, - сказал Алексей. - На свалку вы же вдвоем ездите?... Вдвоем. Вот и поедем — ты и я. Ты с шофером в кабину, я с конвойным в кузов... Понял теперь? - посмотрел он на Мишу. - Прихвати с собой тот гаечный ключ, он пригодится тебе для контакта с шофером.

После ужина, выждав, когда конвойный покажет свою спину, прохаживаясь по замощенной дорожке, Мишин напарник незаметно отполз в кусты. Его тут же заменил поджидавший поблизости Алексей, и работа продолжалась... То особое выражение силы, которое мелькнуло на лице Алексея накануне, теперь стало единственным и главным выражением его. То уже не был добродушный широконосый парень, - что-то могучее, львиное, зловещее было в этих раздувшихся ноздрях, в широком лбе, в глазах, полных победного вдохновения.

Взошла луна, невероятно огромная, красная. Багровея от усилий, она подымалась в прозрачной черноте небес, и в ее гневном свете совсем особо, тревожно и настороженно выглядела лагерная территория. Но вот контейнеры заполнены, подготовлены к погрузке. На мгновение стало тихо. Так, наверное, бывает тихо после коротко прозвучавшего выстрела.

Подошла машина. Михаил сел рядом с шофером, Алексей забрался в кузов вместе с конвойным.

Проехали проходную, помчались по нарвской дороге на городскую свалку. Замаскированный свет автомобильных фар освещал дорогу.



В лобовое стекло посвистывал встречный ветер. За окном мелькали деревья, длинные изгороди, маленькие домики, дорожные столбы. Миша посмотрел на фашиста: фуражка, френч туго подпоясан ремнем, сапоги с узкими короткими голенищами, на ремне расстегнутая кобура, поблескивала ручка парабеллума. «Плотный парень, - подумал он. - Чуть осечка — и мне крышка».

Вскоре машина вышла за городскую черту и, проехав с километр, повернула на проселочную дорогу. Незаметно Миша вынул из кармана гаечный ключ, зажал его в кулаке. Рука дрожала... дрожала не только рука, и весь он трясся от напряженного ожидания. У Миши проснулась жалость к немцу. Ведь сейчас он должен убить этого человека. Убить!.. Как это просто сказать и как трудно сделать! Миша сжался весь, у него перехватило дыхание.

Наконец, легкий, как бы нечаянный удар по крыше кабины. Это сигнал Алексея. И тут же пронзительный крик и автоматная очередь... Шофер быстро повернулся к окну... подставил Мише свой стриженный затылок... На какой-то миг у Миши отключилось сознание. Он не помнил, как поднял руку с зажатым в кулак гаечным ключом, как опустил ее на голову фашиста. Все произошло бессознательно, помимо его воли... Опомнился от сильных толчков, его швыряло вперед, назад, в сторону, ударило головой о лобовое стекло. Машина на полном ходу катилась под откос...

Выбравшись из-под опрокинутого автомобиля, Михаил резко ощутил одиночество, бросился к дороге. На обочине увидел труп фашиста-конвоира, Алексея рядом не было. Он вырвал из рук фашиста автомат, поднялся на дорогу...

Уткнувшись лицом в землю, на дороге лежал Алексей. Миша повернул его, изо рта струйкой потекла кровь. При падении, когда Алексей раскрыл ему лопатой голову, фашист успел выпустить очередь из автомата. Пули попали Алексею в грудь. Он открыл глаза, что-то попытался сказать и не смог. Вместо слов с горле клокотало и хрипело, а через минуту Алексей умер.

Похоронил его Миша здесь же, на обочине дороги. Взял лопату, которой Алексей ударил конвойного, наскоро подчистил воронку, когда-то вырытую снарядом, приподнял своего товарища и положил на край воронки. На груди выступило багровое пятно.

Осторожно, будто боясь причинить ему боль, Миша положил мертвого на дно воронки. Подобрал его ушанку, тоже в крови, стряхнул с нее грязь, сунул под неподвижную голову Алексея и застегнул на нем ватник.

Молча постоял над воронкой.

Потом подошел к автомашине, взял у шофера парабеллум и быстро направился к лесу...

**Мир не без добрых людей**

Может быть, именно здесь, вдали от Родины, Миша впервые со всей силой и остротой почувствовал, что он русский. В минуту большого несчастья человеку начинают помогать его предки. В памяти словно прорастают их приглушенные временем голоса и наполняют человека силой и верой. И чувство жизни наполнило его душу.

«Я свободен! Что бы теперь ни случилось — свободен! Они застрелят меня здесь, и я все равно останусь свободным. Боже мой, какое счастье быть свободным!»

К концу дня Миша вышел к какому-то селению. Голод заставлял обратиться к людям.

В первый дом его не пустили.

– Иди своей дорогой, парень, пока цел, - ответил ему из-за двери мужской надтреснутый голос. - В моем доме тебе нет места.

Во второй дом он долго стучался, никто не отвечал. То ли дом был пустой, то ли заперт изнутри. Но когда он отходил от дома, увидел в окне мужское и женское лица.

Постучал в третий дом. Ему открыли...

– Что-нибудь поесть, - попросил Миша. - Хоть кусок хлеба...

Женщина метнулась к печи, достала чугунок, поставила на стол. Взяла миску, стала наливать в нее из чугуна щи. Она спешила, очень спешила, и Мише казалось, что эти ее приготовления никогда не кончатся. Когда женщина стала нарезать хлеб, он не выдержал, схватил ложку и начал есть.

Женщина тревожно смотрела на Мишу и плакала. Он съел щи, съел хлеб, и только тогда хозяйка, будто опомнившись, испуганно заговорила на эстонском:

– Вам нельзя здесь быть. Нельзя! Если вас видели из домов, когда вы шли сюда, сейчас придут за вами... Уходите быстрее! Сейчас же...

И вдруг Миша увидел, как лицо хозяйки испуганно дрогнуло и в страхе замерло. Расширенные глаза неотрывно смотрели через окно во двор.

– Полицай? - прошептал он и кинулся к выходу.

За дверью хозяйка окликнула Мишу.

– Выта нюют те пеале, - и сунула ему в руку мешочек с сухарями.

Миша прошел всего несколько сот метров и вдруг увидел, как со стороны сада бегут трое с автоматами.

– Стойте, остановитесь! - кричали они.

Окрики подхлестнули Мишу. В несколько прыжков он достиг плетня и кубарем перелетел через него. Прогремел выстрел, затем второй и третий. Свист пуль над головой словно разжал в нем пружину.

Он перелетел еще через один забор, проскочил двор, петляя, рванулся через огороды. И только в лесу остановился, перевел дух.

«Надо поскорее уносить ноги от этого поселка, - решил он, - и теперь подальше от жилья, идти за дорогой, ночевать с скирдах, питаться чем бог пошлет».

Миша только сейчас понял, что среди эстонцев он мало найдет себе сочувствующих людей. И прав был старшина похоронной команды... «А я еще пытался с ним спорить», - подумал Миша.

Уже не было видно домов, но он все же свернул в лощину и пошел по ней, волком озираясь по сторонам. Да, отрезвил его этот поселок. Нельзя расслабляться ни на минуту. Человек может вынести такое, что не под силу ни одному живому существу. Миша это знал, и сейчас только на это у него и надежда...

Перед рассветом лесная дорога завела в тупик — привела к болоту и оборвалась. Он вернулся назад, отыскал другую дорогу, но и она через некоторое время привела его к такому же топкому болоту. «В этих местах одни болота да озера», - подумалось ему. Возле болот Мишу и застал рассвет. Он сразу повеселел, как только стало светать, - точно кто-то пришел ему на выручку. Решил идти болотом. По его расчетам, оно должно было выйти к железной дороге.

Болото оказалось топким, и идти по нему было тяжело. Миша сел на валежину, сидел, пока не онемели ноги. Тогда поднялся и снова пошел на восток. «Так я обязательно выберусь к железной дороге», - думалось ему. Одиночество в лесу, которое вначале успокаивало, показалось страшным.

Один, без друзей, без людей, он казался себе мальчиком из сказки, вошедшим в сумрачный заколдованный лес.

Вот так же шел мальчик с пальчик, вот так же заблудился козленок в лесу, шел, не зная, что в темной чаще крадется к нему волк. И из сумрака прошедших десятилетий выплыл его детский страх, воспоминание о картинке из книжки: козленок стоит на солнечной лесной полянке, а между сырых, темных стволов красные глаза, белые зубы волка. И ему хотелось, как в детстве, вскрикнуть, позвать мать, закрыть глаза, побежать. Но ноги с трудом передвигались по топкому болоту. А солнце приметно спускалось, это подгоняло его.

Еще не стемнело, как Миша выбился из сил и долго отдышал, прислонившись к стволу дерева. Чувство страха, тоски, ужаса перед одиночеством снова охватило его.

Вот так же в первые дни войны Михаил шел в строю по скользкой дороге на строительство аэродрома. Жидкая грязь хлюпала под солдатскими ботинками. Ноги были тяжелыми и непослушными. За двое суток поспать удалось не больше двух часов. Раньше, на гражданке, он совсем не думал о сне. Хотелось спать — спи. Иной раз читает до глубокой ночи, лежа на диване, да так и заснет...

Ребята засыпали на ходу, а ноги во сне продолжали двигаться.

Впереди Миша, справа, слева, сзади шли такие же сонные ребята. Спотыкался Ваня Кудряшов, наступал на пятки Андрияша Пивень, толкался в бок Коля Гришин...

Силенок было маловато. Ежась в шинелях, они скользили, натыкались друг на друга в темноте, некоторые вслух высказывали свое недовольство.

– Дня мало... Начальство тоже... - ворчал кто-то сзади, - Выспались бы, а там хоть на сто верст.

Миша обернулся.

– Шапошников нудить, - сказал Андрей. - як дид хворый...

И вдруг:

– Прива-ал! - Эта долгожданная команда вмиг облетела всех.

Уставшие, они торопливо рассаживались по кочкам, с удовольствием вытягивали ноги, развязывали сидоры.

Миша тогда думал, что перенес самое тяжкое испытание в жизни!

«Чудак!» - сейчас сказал он вслух.

Прошла еще одна ночь, и еще одна.

Рассвет только брезжил. Впереди, в зыбкой хмари нарождающегося дня проступили силуэты домов. Село?.. Миша прислушался: ни лая собак, ни мычания коров, ни крика петухов. Тишина. Непостижимая и всеподавляющая тишина, какая стоит лишь в степи. Село оказалось вымершим.

Мир сошел с ума. Человеческая жизнь перестала хоть чего-то стоять. На земле все еще орудовали звери в обличье людей. Они не только убивали, а и жгли, грабили, разрушали...

Миша обошел и это вымершее село стороной.

Пока человек не потерял способности мыслить и двигаться, положение его не безвыходно. Даже смерть может быть выходом. Перед тем как встать на колени там, на плацу в лагере, смерть была для Миши выходом. Потом выходом стал побег. И он сбежал. Сейчас для него главный выход — выжить и дойти. Дойти во что бы то ни стало!

И он обходил селения, обходил стороной дороги, спал днем в стогах сена, находил в полях невыкопанную картошку, сырую ел ее и шел, шел!..

Начали появляться небольшие поляны, без единого кустика, отделенные друг от друга редкими перелесками. Миновав несколько таких полян и перевалив через горку, Миша вышел на задворки сожженного хутора. На стенах разрушенных домов зияли следы осколков, тут и там виднелись разрушенные стены, изломанные деревья. Посреди хутора стояло покосившееся разбитое орудие. Едва заметная надпись на старом дубе:

«Хутор Аувере».

Начало смеркаться. Миша прошел по разграбленному хутору, углубился в лес и тут наткнулся на уцелевший приземистый домик с соломенной крышей и маленьким оконцем.

Была глубокая осень, упали первые заморозки, березы полностью оголились, а тополя стояли, наперекор всему, в желтой листве.

За изгородью, крепкой, нигде не пошатнувшейся, виднелись грядки с черной и влажной отпотевшей на солнце коркой земли. Дом среди деревьев и вскопанных грядок в огороде выглядел живым. И невольно возникло тревожное: «Что там, в этом доме?.. Зайти или снова пройти мимо? - не решался Миша, долго стоял в раздумье. - Зайду!» - и смело направился к дому. Голод все же заставил его опять обратиться к людям.

В таком захолустье наверняка живут бедные люди, а они-то и есть доброжелатели нищих путников.

В окне белели прижавшиеся к стеклу бледные лица женщины и мальчугана. Миша остановился возле калитки, поклонился им, поздоровался. «Не может же быть, что все эстонцы — предатели», - вновь подумал он, и воскресил в памяти стоявших людей на обочине дороги и бросавших куски хлеба в колонну пленных.

Заскрипела дверь, на крыльцо вышла худощавая женщина в черной одежде.

– Пожалуйста, входите, сказала она на знакомом Мише эстонском языке...

Вечером, умытый, переодетый и причесанный, Миша сидел в избе с вышитыми полотенцами и рассказывал о себе. Перед ним стояла тарелка с жареным картофелем, и то, что можно и даже нужно было брать этот картофель вилкой, казалось ему чудесным сном, который может исчезнуть в любую минуту.

В этой избе Миша оставался несколько дней. Хозяйка, Кейс Лембит, снабдила его в дорогу кое-какими припасами.

Перед уходом Миша спросил хозяйку:

– Как пройти к Кехре?

Хозяйка посмотрела на него, улыбнулась:

– Это далеко... Вы идете не в ту сторону. - Она достала из комода школьную тетрадь, вырвала лист и начертила на нем Мишин путь от ее дома до Кехры со всеми подробностями. - Впереди будет большая река, - сказала она. - Вам одному ее не переплыть. И не пытайтесь просить людей перевезти вас через реку, не помогут, да еще сдадут полицаям... Вот Эдик проводит вас, - показала она на своего сына, - и лодку достанет. Парню было не больше двенадцати. Он вывел Мишу на лесную тропу и, озираясь, пошел по ней первым.

– Ляйпесу пройдем, когда совсем стемнеет, - сказал мальчуган, - и лесом до самой реки... До шоссе — часа два. Незаметно перейдем, а там опять лесом. К утру дойдем, это уж точно.

Миша слушал Эдика внимательно, тот все время путал слова: то несколько слов скажет по-русски, то заговорит по-эстонски. Но Миша хорошо понимал его.

Ночь была светлая, лунная, очень холодная. За шоссе дорожкой тропа привела к болоту. Ботинки заполнились ледяной водой.

– Придем к реке, костер разведем, - сказал Эдик-Надо немного погреться.

– А немцы? - спросил Миша.

Эдик не сразу ответил.

– Немцы подальше немного, не увидят... Рыбацкий домик близко-близко будет, а немцы дальше... Подсохнем немного, пойдем за лодкой. Река оказалась быстрой, шумной. Они выбрали песчаную прогалину у ручья, приготовили себе мягкое ложе из елового лапника, наломали сухих веток, разложили костер. Сняли ботинки, развесили над костром мокрые портянки. Достали свои запасы и не спеша поужинали.

– Сдремлю немного! - проговорил Эдик, встал, потянулся и зевнул, собираясь укладываться.

Миша, подбросив в костер сучьев, сидел у дымного костра и смотрел, как языки пламени, извиваясь, пробиваются сквозь сухие ветки и сучья.

Смотрел и думал: «Еще ребенок, а пережил, видимо, больше иного взрослого». Эдик повернулся на бок и сразу уснул.

Вокруг костра возникал свой особый мир — огня, света, уюта. Хотелось смотреть на него не отрываясь, наблюдать, как рождается душа костра, как разгораются угольки и трепещут живые языки пламени.

Миша полюбил костры еще с детства, когда мальчиком водил лошадей в ночное. Сколько рассказов о страшных и смешных происшествиях слышал он от рыболовов и охотников! Сколько славных минут пережил у костров во время школьных походов, сидя в кругу близких и дорогих ему друзей! Он не знал еды вкуснее картошки, испеченной в золе, и уха, сваренной на костре у речки. Он мог сказать, каким огнем горит дерево: синеватым — ольха; сначала красным с копотью, а потом медным — береза; светлым и легким — елка. Он умел развести огонь в непогоду, сделать так, чтобы не было видно дыма. Сохранить горящим уголь на целые сутки. У костра его всегда что-то умиляло.

Теплое чувство вспыхнуло в душе его, как только он разложил и этот костер. Но вскоре оно прошло, уступая место озабоченности и тревоге. На уютный свет костра со всех сторон надвигалась чернота, ветер выхватывая из гоня искры, нес их во тьму и там гасил. А у него возникало ощущение опасности. Тьма как бы говорила ему: «Что ты делаешь, безумец, опомнись, кругом же враги, они видят тебя, сейчас они придут сюда — и конец всему, к чему ты так стремился, ради чего потерял всех друзей своих. Я стараюсь уберечь тебя от злых людей, укрыть тебя своим темным одеялом, а ты сбрасываешь его с себя, разрываешь меня лавиной огня».

Раздавшийся где-то совсем близко треск сучьев оборвал Мишины мысли, послышалась немецкая речь...

Эдик вскочил, схватил Мишу за руку:

– Бежим, немцы!

Пробежав вдоль подножия скалистой стены, где рос редкий кустарник, они спустились в ручей и быстро пошли по нему.

- Сейчас будет пещера, - сказал Эдик. - Побыстрее бы, и тогда никто не увидит.

Ручей привел их к сводчатому отверстию в скале. Эдик пригнулся и проник в это отверстие. Миша последовал за ним. Пробираясь по дну ручья, они очутились в большой пещере, в темноте. Ручей напомнил Мише железнодорожное полотно, то исчезающее в туннеле, то вновь появляющееся на свет.

Они шли, казалось, бесконечно долго, пока впереди не показалось такое же отверстие, как и то, в которое вошли.

- Подожди здесь, я проверю, где лодка, - сказал Эдик и исчез.

Миша выглянул наружу и увидел большую реку. Река дышала осенним холодом, из тьмы налетел низовой, безжалостный ветер. А над головой светили звезды, и не было утешения и покоя в этом жестоком из огня и холода в небе, стоявшем над его несчастной головой.

Вернулся запыхавшийся Эдик. Вид у него был встревоженный и решительный.

- Немцы на берегу, идем! - Эдик снова взял Мишу за руку, потащил из пещеры. - Вот там... видишь, привязана лодка? - показал он на каменистый выступ берега. - Я тут останусь, когда рассветет, вернусь домой.

Миша махнул Эдику и, пригнувшись, почти ползком, направился к лодке.

Слышался многоголосый лай собак, перекликались голоса. Быстро отвязал лодку, ухватился за весла, лодка скользнула по течению. В это время яркий сноп света высветил берег.

Река шумела, и в ее струях причудливо отражались огни. При вспышках ракет Миша бросал весла, низко пригибался ко дну лодки. А когда они гасли, снова брался за весла.

На мгновение лодка остановилась... Бурлящий поток подхватил ее, понес к берегу, откуда взлетали ракеты и слышался многоголосый лай собак.

Что делать?..

Миша изо всех сил налег на весла, стараясь пересечь быстрину, вырваться из пенящегося водоворота. Но в это время надвое переломилось весло.

С каждой минутой лодку выносило к правому берегу все ближе и ближе.

Миша выбивался из сил. Единственное весло гнулось-гнулось и тоже с треском сломалось.

Вскоре и обломком стало грести невозможно — лодка приближалась к самому берегу.

Уже в который раз он испытывал чувство отчаяния. Не страшно умереть в бою, но вот так, когда тебя несет напрямик к смерти и ты ничего, ничего не можешь сделать, - это страшно. И сама мысль, что он чувствует это, отрезвила его. Миша снял с плеча автомат, послал патрон в ствол, спустил предохранитель, лег на днище.

Над собой увидел звезды, такие красивые и равнодушные к его судьбе.

Вдруг он услышал громкие выкрики на берегу,

и тотчас затрещал автомат. Пули прошили борт лодки, лицо запорошило щепой.

Миша лежал неподвижно... Автомат затих. Видимо, немцы, обманутые темнотой, приняли лодку за бревно, занесенное от порогов.

Миша пошевелился, чуть приподнял голову. Лодку несло вдоль берега. Снова растянулся на днище. Представил себе, как немцы бросятся к нему. Конечно, живым он не дастся, но в бою всякое может случиться... и снов лагерь, а может, смерть.

Но как уйти от немцев, из-под наведенных стволов?

Он снова приподнял голову — наплывала черная громада берега, река в этом месте делала крутой поворот.

Мише послышалось, что вода уже не так звучно рокочет с доски обшивки. Он перекинул ремень автомата через плечо и сжал губами коробок со спичками.

Медленно, тихо, без плеска перевалился через борт, прислушался...

Нет, немцы ничего не заметили.

Одной рукой он держался за носовой брус, другой загребал... Миша чуть не закричал от радости, когда увидел, что черный берег отходит от него все дальше и дальше.

Как только уменьшилась опасность, он ощутил обжигающий холод воды. Мокрая одежда облипала тело. Миша залез в лодку. Напрягая силы, загребал обломком весла, забыв, что его могут увидеть. Старался побольше двигаться, уберечь в теле живое тепло.

Лодку опять стало сносить. Миша снова опустился за борт и удивился, что в воде теплей...

Волоча автомат — поднять его не было сил, — он вышел на пологий откос. Свой, свой берег!.. Миша понимал, что и здесь, на противоположном берегу, могли быть немцы. Опустился на колени, пополз. Щупал руками землю, замирая и оглядываясь за каждым бугорком, дрожа от ледяного холода, полз, полз вперед...

Мише показалось, что сразу рассвело, сразу. Как никогда не бывает в действительности. Он достиг глухого леса!.. Поднялся на ноги и медленно пошел, обнимая деревья...

Чувство счастья охватило его. Тишина, ночное небо, холодный, чистый воздух без ветра, шум своих шагов, деревья с темными ветвями, узенькая полоска света, пробивавшаяся над горизонтом, — все было так прекрасно. Он вдыхал ночной воздух, шел по тихому безлюдному лесу, никто не смотрел на него. Он был жив, он был свободен. Чего ж ему еще нужно, о чем мечтать?!

Перевел дух, последний раз посмотрел на широкий простор реки. Потом прошел еще с километр, и ноги начали отказывать. Не может идти, да и только!

Миша сел под куст, свернулся калачиком, но вскоре ему стало невыносимо холодно: мокрая одежда, а на дворе глубокая осень. Впереди скошенные поля, значит, где-то скирды или копны?! Подняться и бежать, бежать через «не могу».

И он побежал на темное пятно, не разбирая дороги. В ночной хмари пятно росло, и он ткнулся головой и руками в стог... Постоял и, как крот, начал забираться в пахучее сухое сено. Работая руками и ногами, немного согрелся, а когда продвинулся к середине стога, вдруг почувствовал такое блаженство



и покой, что полились слезы... Тепло, тихо... Боже, как мало человеку надо!.. С этими мыслями он уснул, приказав себе проснуться до полудня.

Радовался Миша, как потом оказалось, преждевременно. К концу дня на пути встретилась еще одна река.

Он осторожно пошел вдоль берега. Пройдя с полкилометра, увидел домик — бревенчатый, с дощатой крышей и маленьким оконцем.

У берега покачивалась смоляная лодка, привязанная цепью к дереву. На цепи болтался увесистый амбарный замок.

Несколько минут Миша наблюдал из кустов и, убедившись, что поблизости все-таки ни души, решил зайти в домик.

Дверь была заперта на замок. Машинально он толкнул дверь ногой, она подалась, замок повис на скобе вместе с выдернутой чекой. От неожиданности Миша вздрогнул... Тут же вспомнил, что у них в поселке бывало такое: потеряет кто ключ — еще долгое время создает для постороннего глаза видимость, что дверь заперта. Приходит домой — чеку выдергивает, уходит — снова вставляет на свое место. А замок висит себе всегда в одном положении — закрытом.

В доме было пусто, холодно и сыро. Вдоль стенки, напротив окна, громоздились узкие, в несколько досок, нары. На них — охапка примятого сена. В переднем углу массивный стол на козлах. На столе глиняные миски и большая солдатская кружка.

Миша перевел взгляд на плиту. На ней — закоптелый, без крышки, чайник, над плитой — связка вяленой рыбы.

Вскоре в плите без дверцы, покрытой сверху листом тонкого железа, занялся огонек. Миша ел вяленую рыбу, запивал горячей водой из медной кружки, сушил ботинки, штаны, шинель — от них шел сизый пар. Хотелось спать. И он улегся на нары, подложив под голову сено.

Проснулся — за окном ночь, черная река, черный лес, черное небо с меленькой подслеповатой луной. И сырой ветерок, пахнувший затхлым каменноугольным дымом. Пора в дорогу...

Он отодрал от крыльца доску, снял с себя одежду, ремнем привязал одежду к доске и, голый, вошел в воду. Вода обожгла ноги, потом живот, грудь, и он осторожно, но быстро поплыл к противоположному берегу, толкая ношу перед собой, и через несколько минут был уже на том берегу. Здесь он надел на себя сухую одежду и быстро, чтоб поскорее согреться, пошел лесом вдоль берега. Ночью все вокруг — река, поля, лес — было так тихо и прекрасно, что казалось, в мире не может быть ни вражды, ни измены, ни старости, а одна лишь счастливая любовь. Облака наплывали на луну, и она шла в сером дыму, и дым застилал землю. На лесной опушке в тишине вздрагивало дерево, испуганное ночным сновидением, а иногда речная вода неразборчиво бормотала и вновь беззвучно скользила.

Но вот пришло утро. И то, что ночью казалось таким необъятным, ушло, утонуло в синем небе...

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Миша почувствовал и радость, и печаль.

Россия дохнула в его сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок. Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали: на нем была скорей летняя, чем зимняя одежка.

После таких ранних снегопадов меняется даже лес. Между деревьями поднимается и, достигнув кроны, стынет не то туман, не то синяя дымка.

Стволы сосен теряют медный цвет.

К полудню Миша пересек небольшую возвышенность и углубился в болото. И стало тихо... Ни человеческих голосов, ни вороньего карканья.

Когда прошел по болоту с десятков километров и выбрался на поляну, решил отдохнуть. Он трясся от холода, в ботинки набрал воды. Выжал портянки, и теперь они медленно сохли на заочеченных ногах. Миша шевелил пальцами — не помогало. Огоньку бы!.. Но огонь сейчас такая же несбыточная мечта, как и надежда на теплые лучи солнца, укрывшегося за черными тучами.

Донесся стук топоров, треск валимого леса, крики. Миша прислушался... Крики шли откуда-то сбоку. Тогда он поднялся и быстро пошел от поляны снова в болото. И вскоре голоса, стук топоров смолкли, наступила прежняя тишина. Темнело. Черное небо лежало глухо над головой, точно опрокинутый котел. И только на западе, как-бы из-под неплотно прилегавшего края котла, просматривалась огненная полоска заката.

Наконец болото закончилось. Теперь Миша шел по мелколесью. Накрапывал дождик... Миша попытался пробежать, побыстрее миновать это мелколесье, но не тут-то было. Ветка больно царапнула по лицу. Споткнувшись о корни, он растянулся на сырой земле. Долго лежал, не в силах подняться.

За мелколесьем начинался лес... Чистый хвойный лес. Теперь Миша пробирался сквозь чащу, защищал глаза, шел туда, где можно было пролезть. Долгое время слышался только треск сучьев под ногами да стук собственного сердца.

Время от времени он останавливался, прислушивался. Сырая хвойная тьма.

Погреб. Тишина.

Миша понял, что заблудился.

Не то чтобы ему стало страшно, жутко, а одиночество вдруг снова шевельнулось в нем, заняло в сердце тоской, и захотелось кричать, прислушиваться и снова кидать свой голос в эту сырую безответную глухомань.

Далекий лай собаки донесся до него.

Где собака — там, значит, и человек? И, прислушиваясь, Миша свистнул...

Услышала! Громче стал лай. «А ведь как далеко!» - подумал он и стал рассчитывать направление. Лай повторился. «А вдруг немцы!.. Нет, по лаю — дворняжка».

Вскоре Миша почувствовал под ногами оседавшие болотные кочки. Мутно блеснула вода, и в тот же миг лай раздался в двух шагах от него.

— Кто здесь? - послышался с противоположного берега окрик на эстонском.

— Заблудился вот!.. - крикнул Миша, не в силах скрыть радость встречи с живой душой.

— Баклан, цыц! - теперь уже на русском.

Человек вошел в ручей.

На мутной поверхности воды обозначились его высокая фигура и ружье в руке, приглядываясь, он опасливо обходил Мишу.

– Идите за мной, а то в яму, не дай бог, провалитесь, - проговорил незнакомец и пошел вперед.

На речном мысу чернела изба, тускло мерцавшая малюсеньким оконцем.

В темноте Мишу начала мучить мысль, что его сейчас снова захватят немцы или полицаи. Чувство ужаса становилось все шире, больше, тяжелей, и он спросил дрогнувшим голосом:

– А вы кто?

– Я-то? - переспросил тот. - Егерь... До войны был им, да так вот и остался. Мишу этот ответ успокоил.

Когда подошли к избушке, егерь пнул ногой входную дверь, она отворилась.

– Проходите, - сказал он приветливо.

Миша вошел в избу, осмотрелся: узкие нары, для одного, низенькая глинобитная печурка с железной трубой, чурбак вместо табурета, другой, повыше, вместо стола — это была вся утварь. На высоком чурбаке стояла прикрепленная накапанным и застывшим стеарином свеча.

Миша разделся и сел возле изголовья нар. Вошел хозяин. Он чуть не вдвое согнулся под притолокой, поставил ружье в угол, молча взял с печки котелок и молча с ним вышел — по-видимому, за водой.

Вскоре вернулся, поставил котелок на плиту, вделанную в печку, и тсал щепать лучину.

– Вот кашки порубаем, - сказал он. - Как знал! Да и картошечки приберег... А вы подремите, - посоветовал он Мише, - пока я приготовлю.

Миша сидел молча, откинувшись на «спинку стула», подпирая своей спиной бревенчатую стену лесной избушки. От растопленной плиты в комнате становилось жарко, вскоре Мишу так разморило, что он начал клевать носом, изредка поглядывая полусонными глазами на хозяина.

Тот сидел у плиты, глядел на огонь, время от времени подсовывал хворост в топку.

«О чем размышляет сейчас этот человек?.. - подумалось Мише, когда он останавливал свой взгляд на большом, скуластом, усыпанном веснушками, освещенном пламенем лице. - Только бы не уснуть...»

Но, по -видимому, он все-таки уснул, потому что не сразу смог сбросить оцепенение и отозваться, когда хозяин негромко позвал его.

– Ну вот и еда готова, - проговорил он, ставя котелок на стол, кладя кусок ржаного хлеба и ложку. - Сперва вы, а уж после — я... Ложка одна.

Все так же молча Михаил поел, достал из кармана вяленую рыбу, молча положил ее на стол. Хозяин улыбнулся ему, поблагодарил.

– Ну, ложитесь, коли... Устали, поди, я немного сенца под бока вам подброшу, - сказал он.

– А вы? - спросил Миша.

- Я там, мое ложе на свежем воздухе, иначе спать не мыслю. Он сходил за сеном, растряс его на нарах. Миша обратил внимание на его руки: большие мускулистые, такие руки обычно бывают у рыбака или молотобойца. «И никакой он не егерь», - окончательно решил Миша.
- Чем плохо? - сказал хозяин и хрипло рассмеялся.
- Миша улегся, хозяин вновь сел перед печуркой, свернул козью ножку.
- Прошла с полчаса.
- «Сейчас усну, а он поднимется — и за немцами...» - борясь со сном, думал Миша.
- Вас как зовут? - спросил он хозяина.
- Меня-то? Арно.. Арно Тоотс. - Хозяин посмотрел, сощурясь, в Мишину сторону.
- Вы эстонец, а говорите, как русский, - сказал Миша.
- Хозяин пожал плечами:
- Всю жизнь с русскими бок о бок. Как говорится — с пеленок.
- Я спать не буду, - вдруг сказал Миша, так полежу, помечтаю до рассвета... потом уйду.
- Как хотите, - пробормотал Арно, - а я пойду на покой.
- Поднялся, взял стоящее в углу ружье и вышел, затворив дверь.
- Смутное чувство недоверия к хозяину избушки заставило Мишу приподнять голову. Как раз против его постели чернело окошко. Не зная сам почему, он вскочил на ноги и завесил окно шинелью. Потом осмотрел дверь. Крючка не было, но торчал кованый гвоздь с широкой шляпкой. Захлестнув на скобу брючный ремень, Миша другой конец закрепил на гвозде. Все-таки если станут открывать, то не сразу. Он подбросил несколько поленьев в печку, положил автомат рядом с собой на нары, лег...
- Очнулся утром от яркого дневного света. Дверь была распахнута. Как в окне, стоял в ней кусок синего неба, пожухлого, сверкающего на солнце луга, холодный, с сизым отливом блеск реки. Вода в ней к себе не звала, а привлекала только глаз. Хотелось глядеть на нее издали, вот так, из теплой избушки. Как и унылые поля вдали, тоже не зовущие, а только грустью привлекающие. У Миши возникло желание попересыпать в ладонях зерно на току, подержать в руках тяжелые кочаны капусты. И вдруг он вспомнил, где он и что с ним... Мысль, что егерь выдаст его немцам, подняла на ноги. Он выбежал наружу и остановился, щурясь от яркого утреннего солнца. А от реки в сторону избушки, сутулясь, шел хозяин со связкой рыбы в руках. Порывистый ветер теребил его рыжие волосы на непокрытой голове.
- Неотвязно думалось Мише о непонятном и подозрительном поведении приютившего его человека. «Кто он? На самом деле егерь?.. Так чего же он ушел ночью из дома?.. - Но тут же подумал и другое: - А может быть, этот человек — добрая душа?.. Все для людей и ничего для себя?..»

Да, это был человек мягкий, богатырь в делах практической жизни. О таких людях принято говорить — детской души человек, ангельской доброты. Он не мог равнодушно пройти мимо голодного ребенка либо оборванной старухи, протягивающей руку за куском хлеба.

Хозяин подошел к Мише и улыбнулся, потряс связкой нанизанной на шпагат рыбы. Улыбнулся душевно, по-доброму:

– Вот!.. Подзаправимся, тогда и в дорогу. Айда за мной!

– Я очень благодарен вам за все, но мне пора уходить, - сказал Миша. - Мне надо было отчалить еще затемно.

Вошли в избу. Хозяин разжег печурку, принялся чистить рыбу.

– Не торопись... Рыбки порубаем, провожу куда надо, - сказал он, все еще улыбаясь.

– Я же беглый, из лагеря, - признался Миша.

Хозяин поднял голову, посмотрел на него и снова улыбнулся:

– Ишь, беда!.. Раз от немца удрал, значит, человек, значит, мне товарищ и брат.

– А если схватят?.. Жизнью рискуете, - сказал Миша.

– Ишь, беда... Не ты первый, не ты последний. Волков пужаться... - Он подмигнул Мише. - Знаешь эту поговорку?

Хозяин поджарил рыбу, разломил ковригу хлеба:

– Ешь... Где еще придется? - А когда поели, сказал: - В трех верстах, ежели идти по той тропе, что ты вчера шел, застава. Не заблудись ты ночью, к ним бы в гости и угодил... А я тебя так проведу, что никто не заметит, - пообещал Арно.

Позавтракав, хозяин нехотя поднялся, убрал со стола сковородку.

– Слышь.. Может, со мной останешься, а? - спросил он вдруг Мишу. - Одному мне — одна скукота.

– Я должен идти, - твердо сказал Миша. - Ты уж извини меня, вначале я малость усомнился в тебе, - признался он.

Арно закинул за плечи рюкзак, взял стоявшее в углу ружье.

– Чего там... Всякое бывает. Пошли, - сказал он улыбаясь.

Миша повесил на плечо автомат и пошел.

Несколько раз Арно искоса, прищурившись, поглядывал на Мишу, как-бы собираясь ему что-то сказать...

Наконец он решился:

– У меня ведь что было... Жене моя от немецкой пули погибла... Схоронил я ее — все опостылело... Думал — пулю в лоб — и с концом! На что мне жить без нее!.. В конце концов что же я такое?.. А ведь не порешил себя — делом отошел... Горе, друже ты мой, делом утолять следует!.. - добавил он. У Арно был низкий, глуховатый голос, он говорил неторопливо, спокойно, хотя эти воспоминания, казалось, должны были бы его волновать.

– И никакой я не егерь, - продолжал он.

– Соврал я тебе насчет егеря... Ушел из поселка и живу. Выхожу по чернотропу с ружьишкой на немца. Выслежу... ну и царствие ему небесное. Полегчало, ой как полегчало! - улыбнулся Арно.  
Потом они долго шли молча — впереди Арно, позади Миша. Надо было пройти много километров лесом, спуститься к озеру, а оттуда пройти берегом.

Выпавший накануне снег еще не стаял и казался синеватым. В его крупных шершавых кристаллах зарождалась, наливалась синева озерной воды. На солнечном склоне бугра снег стоял, вода шумела в придорожной канаве. Блеск снега, воды, запаянных льдом луж слепил глаза. Света было так много, что сквозь него приходилось продирааться, как сквозь заросли.

Он беспокоил, мешал, и когда они ступали на замерзшие лужицы и раздавленный лед вспыхивал на солнце, казалось, что под ногой похрустывает свет, дробится на колючие, острые осколочки — лучи. Свет тек в придорожной канаве, а там, где канаву преграждали булыжники, свет вздувался, пенился, звякал и журчал. Осеннее солнце отделилось от земли, воздух был одновременно прохладным, но все же умеренно теплым.

Мише казалось, что его горло, обожженное холодом и ледяной водой, прокопченное табаком и пороховыми газами, пылью и матюгами, вымыто, прополоскано светом, синевой неба. Они вошли в лес, под тень первых дозорных сосен. Здесь снег лежал сплошной нетающей пеленой.

В соснах, в зеленом колесе ветвей, трудились белки, а внизу, на леденцовой поверхности снега, лежали широким кругом изгрызенные шишки, сточенная резцами древесная труха.

Тишина в лесу была оттого, что свет, задержанный многоэтажной хвоей, не шумел, не звякал, а казалось, осторожно окутал землю.

Они шли по-прежнему молча, но так как были вдвоем, то только от этого все вокруг было таким хорошим. Не сговарившись, они остановились. Два отъевшихся снегиря сидели на еловой ветке. Красные толстые грудки птиц показались цветами, раскрывшимися на заколдованном снегу.

Странной, удивительной в этот час была тишина.

В ней была память о поколении прошлогодней листвы, об отшумевших дождях, свитых и покинутых гнездах, о детстве, о безрадостном труде муравьев, о вероломстве и разбое лис и коршунов, о мировой войне всех против всех, о зле и добре, рожденных в одном сердце и вместе с этим сердцем умерших, о грозах и громах, от которого вздрагивали души зайцев и стволы сосен. В холодном полусумраке под снегом спала умершая жизнь — радость любовных встреч, весенняя неуверенная птичья болтовня, первое знакомство со странными, а потом ставшими привычными соседями. Спали сильные и слабые, смелые и робкие, счастливые и несчастливые.

Но в лесном холоде осень чувствовалась напряженной, чем на освещенной солнцем равнине.

В этой лесной тишине была печаль большая, чем в тишине осени. В ее безъязычной немоте слышался вопль об умерших.

Но вот лес расступился, открылось гладкое поле, усеянное воронками. До леса за полем оставалось еще с полсотни метров, как вдруг они увидели немцев.

Фигуры их возникали и пропадали, немцы шли на них... Радостные, возвышенные чувства и мысли сразу покинули путников, ушли куда-то в прошлое.

«В воронки», - мелькнула мысль, и, не раздумывая, Миша тут же бросился в одну, Арно скатился в другую.

Широко раздвинув ноги, Миша припал к земле, приподнимая голову, стал следить, как приближались немцы. Эсэсовцы. Видимо, на кого-то была облава, кого-то искали, кого-то они преследовали. А Миша с Арно случайно попались в их зону... Уходить было некуда, слишком поздно они их заметили.

Миша прикусил губу, сомкнул глаза и тотчас открыл их. Внутри все колотилось, и он не мог это унять. Ему надо было многое забыть, чтобы лежать спокойно. Тяжелая солдатская злоба поднималась в нем, и он вдруг почувствовал, что ему некуда и незачем больше спешить и что сейчас ему надо рассчитаться за все и за всех друзей своих...

Миша сосчитал и сразу забыл, что их, фашистов, много, человек десять-двенадцать, а они вдвоем. Он все забыл. Вылез из воронки, в которой прятался, привстал на колени... Резкий и долгий треск прокатился по полю. Четыре немца рухнули на землю, один из них еще пробовал ползти.

-Э, черт! - выругался Арно и выстрелил. Немец, тот, что пробовал ползти, уже не полз. Упал еще один, пятый. Это снова Арно...

– Беги, Арно! - крикнул ему Миша.

Эсэсовцы залегли и открыли ответный огонь. Миша снова лег в воронку.

Земля взбивалась на бруствере, попадала в глаза.

Вдруг Арно умолк. Миша повернулся, увидел, как швырнул он свое ружье... Кончились патроны.

Миша бросил ему парабеллум.

– Уходи, Арно, я следом! - Миша снова выпрямился во весь рост.

Арно вымахнул из воронки и метнулся в болото.

Михаил стрелял по немцам до тех пор, пока вражеская пуля не уложила его на землю. Тупым и горячим резануло по груди, он несколько раз перевернулся на месте и плюхнулся на дно воронки вниз лицом...

К нему подошел офицер, пнул ногой, перевернул лицом кверху:

– Енде!..

Проявляя чисто немецкую педантичность, чтобы не затрачивать силы на рытье могилы, двое подняли его, поднесли к обрыву и сбросили в речку.

Миша лежал без сознания и видел себя в этом долгом сне семилетним мальчонкой, шагающим по лесу. Одному идти таким лесом было бы страшно, но он идет с отцом, который ничего не боится. Узкая тропа пролегла меж стволами огромных деревьев. Отец шагает широко, Мише приходится бежать за ним вприпрыжку. В лесу жарко, душно,

а ногам холодно. Они коченеют. Ему хочется пить... «Хотя бы один  
глоточек, только бы один!..»

Открыл глаза... Не понимает, где находится и что произошло с ним.  
Кругом вода, да и сам он лежит на отмели крохотного островка. Река  
дышала осенней стужей, даже смотреть на реку было зябко.

Перевернулся на живот, пополз... Холодная вода обожгла тело. Во всякой  
воде плавал Миша, но эта, ему казалось, самая холодная. Ноги свело,  
работали только руки. «Неужели конец? - подумал он. - столько пережил и  
вынес — и утонуть в этой никчемной речушке!»

Его уже дважды сильно тянуло ко дну. Окунулся с головой, но нашел в  
себе силы вынырнуть и хватить глоток воздуха. «Если потянет в третий  
раз, я не выплыву, - понял Миша. - Держаться... Держаться...»

Его тащило течением, перевернуло раз, другой, и он уже захлебывался, но  
вдруг ноги коснулись берега. Уперся — упал. Еще раз уперся и устоял.

Ухватился за тростник и выволок окоченевшее тело на берег..  
«Лежать нельзя... нельзя!..» - приказал он себе, но подняться не мог. Жгло  
в груди, обжигало спину, а руки и ноги коченели от холода. Миша сунул  
руку под пиджак и вытащил ее оттуда мокрой и красной от крови.

Задышавшись, преодолевая нестерпимую боль во всем теле, он встал на  
колени, но, потеряв равновесие, снова упал на землю...

Самое трудное было бороться с этим наплывающим туманом —  
закрывались глаза, слабели руки. Иногда ему удавалось справиться с ним,  
тогда он начинал понимать самое важное: нужно подняться и идти.

И он все же поднялся, сделал несколько шагов... Цепляясь за сучья  
придорожного кустарника, пошел... Куда?.. Видимо, к тропе, по которой  
шли с Арно Тоотсом. Видимо, к его хате. Всю дорогу Миша думал о нем:

«Жив ли?... Удалось ли ему скрыться от немцев?»

На землю спустились сумерки, полил дождь, упруго и ровно, вперемешку  
с ледяной крупой. Заглушенный шумом и плеском дождя, долетел до него  
голос матери: «Сынок!.. Побереги себя!»

Старая дырявая телогрейка, какой снабдил его Арно, как сито пропускала  
ледяную воду. Текло за воротник. Обтянутые мокрым бельем колени  
холодил ветер.

И вдруг глаза матери, большие, черные, теплые, увидел Миша сквозь  
холодный полог дождя, сквозь мрак и сырость, и тотчас как будто язычок  
легкого пламени лизнул сердце. «Вот уж и недалеко до них, до этих глаз!»  
- это был уже бред.

Миша споткнулся обо что-то и упал на землю. Раскинутые руки  
оставались неподвижными: ему казалось, лежит он на родной, возле  
отчего дома, земле...

- Друже ты мой!.. - ворвался в тишину громкий бас. - Все обшарил, а ты  
вот где!.. Жи-вой!.. - услышал Миша знакомый голос.

Это был Арно. Арно Тоотс. Хозяин лесного дома.



Сильные руки подхватили Мишу и бережно, как мать ребенка, понесли по лесной тропе к своей лесной избушке.

Дома Арно нагрел воды, снял с Миши мокрую одежду, забинтовал рану, вымыл и уложил на нары, в теплую постель из сухого сена.

Болезнь надолго приковала Мишу к постели. Сквозная рана в груди и воспаление легких. По ночам он метался в бреду... Перед глазами какие-то люди, как черные муравьи, снуют во все стороны, появляются, исчезают, а он лежит на траве и плывет, плывет через бесконечное раскаленное море. Все время его мучит жажда. Он видит: там, впереди, блестит лужа воды, но подняться не может. Тело стало легким, и он чувствует его непривычную легкость, а ноги не держат. Он ползет, ползет к луже, к этой светлой блестящей луже... Миша попытался подняться на нарах, но Арно легко придавил его худые, костлявые плечи, и не было сил противиться.

– Куда ты, друже?.. Спи, отдыхай, я о тебе позабочусь...

– За что они меня так, Арно?! - Миша горячо зашептал и никак не мог сдержать слезы, он плакал навзрыд, как ребенок. - Скажи мне, что я им сделал такого, что они нигде не дают мне покоя?.. Или судьба у меня такая паршивая?.. Я им по гробовую доску ничего не забуду!..

Руки у Миши тряслись, тело содрогалось от сдавленных всхлипов. Он уткнулся мокрым лицом в подушку, а Арно растерянно держал его за плечи, приговаривая:

- Ты успокойся, друже, успокойся. Главное, живой остался... А с ними ты еще считаешься.

Арно прикладывал к его голове мокрые тряпки, заваривал и поил отваром сушеной малины, перевязывал и обрабатывал отварами рану.

Давно сбились, перепутались дни и ночи, но когда бы Миша не открыл глаза, худое озабоченное лицо Арно неизменно склонялось над ним.

Миша не сразу узнавал его, может быть потому, что лицо Арно уже давно заросло густой рыжей бородой...

Пришел, наконец, день, когда жизнь все-таки возвратилась к Мише. Он повел глазами направо — печурка с железной трубой. Потом налево — дверь, освещенная солнцем. Голова начинала кружиться, когда он смотрел на эту ослепительную дверь.

Все это уже было когда-то: точно так же лежал он на спине, боялся вздохнуть. Точно так же казалось, что в комнате он не один и что, если осмотреться вокруг, можно увидеть тех, кто так надрывно дышит рядом.

Миша с ужасом вспомнил санитарный лагерьный барак и с радостью осознал, что он не в бараке.

Лежал молча, иногда вздыхал глубоко да скрипел зубами... Чувство страха, беспомощности, неуверенности владело им. Но оно не было одинаково, неизменно. Разное время суток имело свой страх, свою тоску.

Рано утром, лежа в теплой сенной постели, когда за окном стоял холодный мутный сумрак, он испытывал обычно чувство детской беспомощности перед огромной силой, навалившейся на него,

хотелось сжаться, зажмуриться, замереть.

Перед обедом он оживлялся, ему становилось весело. Сразу же после обеда наваливалась тоска, тупая, нудная, безумная.

Начинали сгущаться сумерки — и приходил большой страх. Миша боялся теперь темноты, как дикарь каменного века, застигнутый сумерками в лесу. Страх силился, густел... Миша вспоминал лагерь, думал он нем. Он стоял перед глазами. Из тьмы за окном смотрела жестокая, неминуемая гибель. Вот зашумит на улице машина, вот раздастся стук в дверь, вот заскрипят в прихожей сапоги. Деться некуда...

Вот так в восемнадцать-то лет: смотри молча, горе прячь в себе и только копи силы, укрепляй веру в спасение.

- Может, все же здесь останешься? - как-то озабоченно сказал Арно, когда Миша пошел на поправку.

Миша рассказал Арно о своих друзьях, об уговоре встретиться в условленном месте и сообща пробираться через линию фронта.

- Далеко это, друже, - сказал Арно. - Весна, а снегу в лесах уйма, не дойти тебе, ты еще очень слабый.

- Нет, Арно, главная жила у русского крепкая, - сказал Миша твердо. - Она рвется вместе с человеком... А я еще живой. Значит, надо подниматься и идти дальше... - Он попытался улыбнуться, добавил: - Как с моста в воду.

И плыть. А если не можешь, то и жить нечего. Нельзя жить паразитом.

Ох как трудно, оказывается, стоять на ногах, не держась за нары!..

Сначала десять шагов, потом пятьдесят, сто... И наконец — прощание с Арно Тоотсом. Он как-то сухо, едва разжимая губы, точно сердился за то, что расстаются, сказал:

- Обожди денек, друже. Схожу в село, куда без еды-то!.. А там и я с тобой через линию фронта... К друзьям не надо. Если им повезло, они давно уже на фронте. Не могли же они столько месяцев ждать тебя. Разыскивать их сейчас — только зря время и силы тратить...

Миша согласился.

- Под вечер Арно закинул пустой рюкзак за плечи, пожал Мише руку.

- К утру буду здесь, жди. - С этими словами он вышел из дома и исчез в лесу.

Теперь в беспокойную Мишину жизнь вселилась еще и тревога за Арно.

Он ушел, будто и не было его, а тревога осталась, притаилась и начала заполнять исподтишка все углы, проникать в щели, воздействовать на Мишу, как воздействуют на сознание назойливые запахи, звуки, цвета.

Ночью, как ушел Арно, Миша не мог уснуть. Метался, пока не утихла река. Она настораживала странными, непривычными звуками. Наводила на разные мысли. Слышались осторожные всплески воды, стук случайный, тревожный говор, шуршание травы и веток.

В полночь он вышел из дому. Прошел на мысок. И там ловил движение реки.

Гадал по глухому ее гулу, скрытому во тьме, судьбу свою и своего товарища. Ему казалось, что он давно ждет его помощи, из последних сил старается вырваться из рук, вцепившихся в горло. Мише казалось в кромешной ночи, что сейчас беда охватила всю землю.

Без Арно в доме Миша чувствовал себя неудобно, выглядел посторонним, как не вовремя вившийся гость. Находиться в нем было тягостно, будто только что вынесли покойника. Настораживала затаенность опустевшего помещения. В общем, дом Арно не хотел Мишу принимать без хозяина. Угрюмо и требовательно молчал. Гнал его, выживал. Все в нем скрипело, трещало, наводило на недобрые предчувствия.

В огороде и вокруг была одичалость. Кусты смородины торчали обглоданными прутьями. Деревья насуплены и напряжены, будто заняты той же мыслью, что и дом. Только сосна напротив входа стояла могуче и гордо.

Утром, разбитый и усталый, Миша вышел на улицу. Арно не вернулся. Почему?.. Случилось что-то?! Он метался в догадках, не находил себе места в этой тесной каморке, снова и снова выходил на улицу, пытался встречать его, кружа по близлежащему лесу.

И только в полдень из леса на поляну вышла женщина с корзиной и длинной палкой в руках. Она постояла с минуту, огляделась вокруг, направилась к дому. Миша вышел ей навстречу.

Когда встретились, он увидел худое старое лицо. Женщина едва слышно сказала:

– Я от Арно.

У Миша забилось, затрепетало сердце.

– Что с ним? - спросил подавленным голосом.

– Проведи меня, сынок, в избу, ноги не держат.

Миша взял женщину под руку. Когда вошли, она опустилась на нары, поставила возле ног корзину, оперлась на палку, сказала:

– Меня зовут Маре Саат... Маре Саат, - повторила она. - Арно просил передать тебе, чтоб ты не ждал его, не ждал, сынок...

– Что с ним? - снова спросил Миша сорвавшимся голосом.

– Не кричи так, сынок, не пугай меня, - остановила его Маре Саат. - Взяли Арно вчера вечером, взяли...

– Как взяли? - вырвалось у Миши.

Маре Саат покачала головой:

– Спрашиваешь, не знаешь как берут?.. Полицаи взяли и в погреб закрыли... Пошел на кладбище, с женой попрощаться... Видать, собирался куда-то... - Она смахнула рукой со лба седую пядь, потуже затянула на шее платок, дрожащим голосом продолжала: - На кладбище его и сцапали...

Мальчонка с ним был. Когда Арно заметил полицаев, понял, что сейчас возьмут его, снял с плеча ружье, мальчонку ко мне послал. Тот и рассказал мне про все... Просил, чтоб я к тебе шла.

Маре Саат умолкла, долго сидела, понутив голову, опершись на палку, потом, как бы опомнившись, распрямилась и едва слышно сказала:

- Согрел бы ты водички, сухарь размочу. Дорога дальняя, а силы не те, подкрепиться надо.

Миша поставил чайник, подложил в плиту поленьев.

- Как помочь Арно?

- Сы-но-ок! - едва слышно простонала она. - Кого ты спрашиваешь?.. Не ведаю как, а помочь бы знамо надо, хороший он человек... Ох, как худо ему!

- Немцы в селе есть? - спросил ее Миша.

Маре Саат приложила руку к морщинистому лбу:

- Бог миловал. Из соседнего навещают, а у нас не живут. Бог миловал, но от полицаев житья нет.

- Много их, полицаев-то? - не понял Миша.

- Да нет же!.. Трое с-сукиных сынов, а житья нет от них. Нет житья... - Она стукнула об пол палкой, встряхнула головой. Седая прядь волос снова упала на изуродованный шрамом лоб. - Отольется им, ох как отольется!

- Я пойду с вами, - сказал Миша женщине и стал одеваться. - Попытаюсь помочь Арно.

- Спасибо тебе, сынок, спасибо. Материнское тебе спасибо... Хороший ты человек!

Миша положил в карман оставленный Арно парабеллум, прихватил со стола нож, которым орудовал по хозяйству, и вышел вслед за Маре Саат. Шли они весь остаток дня. Под вечер налетел ветер, Упали капли, а затем с нарастающим шумом дождь со снегом остервенело захлестал по стволам деревьев. Он был такой крупный, что Миша чувствовал удары его отдельных капель. Шли наклонившись, опустив головы, сопротивляясь потокам ливня. Одежда промокла, идти становилось мучительнее. Вода струйками бежала по спине, ногам, чавкала в ботинках. Темень надвигалась со всех сторон. Небо было черным, и в этой черноте все исчезло — женщина, лес, тропинка. Миша словно остался один. Даже позвал:

- Маре Саат!

- Тут я! - раздался голос.

Было страшно потерять ее в темноте. И Миша старался идти как можно ближе к ней. Но это было трудно: мокрые ветви то и дело хлестали по лицу, ноги скользил по намятой обледенелой тропе.

Вышли на дорогу. Сразу стало идти легче — под ногами ровная почва. Здесь, на дороге, было намного светлее, чем в лесу.

- Уж немного осталось, сказала женщина, - немного осталось. - Вот обойдем хуторок, а там железная дорога.

Дождь прекратился как-то сразу, ветер стих, на небе разорвались тучи, стало еще светлее.

Пересекли железную дорогу, поднялись на взгорье. Впереди виднелось большое село.

– Пришли, - сказала Маре Саат.

Она остановилась, поправила волосы. На небо выплыл старый месяц, бросил тусклый свет на крыши домов.

- Э-э-вон каланча, - показала она на дом с вышкой. - В каланче полицаи, а поодаль — погреб... Там он, сынок, там. - Она опустилась на лежавшую рядом с дорогой корягу, тяжело вздохнула. - Иди с богом, я тебе не подмога... Иди с богом, - повторила она.

Поселок начинался дощатым забором. Он неожиданно появился в темноте, и Миша невольно остановился. Перед ним. Мигая вдали редкими, тусклыми огнями, лежала улица. Трудно объяснимое чувство близости и враждебности поселка охватило его.

Несколько секунд стоял неподвижно, затем огляделся, словно кого-то хотел спросить: «Идти ли дальше?» - и вошел в поселок. Шел, держась ближе к заборам, напрягая слух и зрение. Вынул пистолет из кармана, палец коснулся спуска.

Начался тротуар, деревянный, обледенелый. Миша старался на него не ступать, держался поближе к домам, где его было не так видно. Особенно неприятно, когда тусклый свет окон вырвал его из темноты.

Впереди показался силуэт человека... Миша остановился...

Померещилось?.. Нет, торопливо шагая, посреди улицы шел человек. Ускоряя шаг, прошел мимо.

Миша приближался к дому вышкой. Встретился еще один, но и он не обратил на Мишу внимания.

Вдруг слева от него появился человек в фуражке и с карабином за плечом... Полицай! Миша вздрогнул, крепче сжал в руке пистолет... Полицай прошел мимо, и, странное дело, после встречи с ним Миша стал спокойнее, даже повеселел: его никто не преследует.

Стоп!.. Впереди — дом с вышкой. Дальше идти нельзя, дальше надо красться... Миша свернул за угол соседнего дома.

Во дворе было спокойно, ни звука. Задворками пробрался в сад. Вырисовывались деревья, кусты... Он медленно пополз по саду в сторону дома с вышкой, приподнимаясь на локтях, внимательно всматриваясь в темноту. Путь преградила изгородь. По обе стороны ее тянулся высокий кустарник. Через него, как через редкое решето, был виден дом, в котором, по словам Маре Саат, размещался полицейский участок, и недалеко от дома — погреб, в нем сидел Арно Тоотс. Возле погреба маячила фигура полицая, охранявшего Арно. Прилегающий участок перед зданием окаймляла вновь вырытая траншея.

Мишу обожгла мысль: сейчас может получиться так, что в схватке с часовым погибнет он, а не полицай. И для него все кончится, к чему так стремился: обрести свободу, возвратиться на фронт...

Сразу же оборвал мысль: «Я должен, обязан победить полиция... Во что бы то ни стало спасти этого доброго и чуткого, такого человеческого человека».

Разнообразны формы дружбы, многообразно ее содержание, но есть одна неизблемая основа дружбы — это вера в неизменность друга, это верность друга. И потому особо прекрасна дружба там, где человек служит свободе.

Через дыру в заборе Миша выбрался из сада и пополз к траншее. Полз медленно, прижимаясь к земле. У бруствера замер, огляделся. Полицей ходил возле погребка... Приподнимаясь на локтях, Миша заглянул в траншею. Пусто.

Перевалил через бруствер, осторожно спустился в траншею. На корточках прошел влево, потом повернул направо, в сторону погребка... Никого. Траншея была очищена и посыпана песком. «На случай приготовлена», - подумал Миша.

В нескольких метрах от погребка проходил ров — глубокий, до половины засыпанный мусором. Выждав, когда полицей повернется и пойдет в противоположную от Миши сторону, он сполз в этот ров и на корточках подобрался к часовому поближе. Теперь слышны были его шаги.

Миша замер.

Полиция все больше донимал холод. Вначале он топтался на месте. Потом, закинув автомат за спину, стал боксировать руками и подпрыгивать.

«Что делать, как выбраться из этого рва и подползти поближе к полицаю?» - напрягал мысли Миша. Ноги ломило от холода и неподвижности. Нечаянно он задел консервную банку... впился зубами в руку, перестал дышать.

Звон лишь показался таким сильным настроженному слуху. Полицей даже не отреагировал на этот шум. Можно было ползти дальше.

Миша почувствовал — под руками уже не песок, мусор. Шаг, другой, остановка. Еще шаг... Снова консервная банка.

Почти ослепленный, он припал к земле, стараясь уйти в нее всем телом. Понял, что шум дошел до полиция, и тот направил в его сторону луч фонарика.

Вскоре Миша услышал голоса и шарканье сапог по гравейной дорожке. Прошли двое. Наверное, прохожие...

Минута, и снова тишина...

Миша поднял голову. Силуэт полиция маячил уже возле угла здания...

Далековато.

Опять ждать, ждать...

Глухое, едва уловимое шарканье сапог по гари. Миша напряг зрение... Да, полицей, медленно переставляя ноги, шел в его сторону. Шаг, второй, остановка... Еще шаг... Еще остановка. Полицей покрутился на одном месте, сделал еще несколько шагов. Теперь Миша отчетливо видел его, в полушубке, в поднятым воротником. Даже слышал дыхание. Чиркнула спичка. Спрятанная в ладонях, она осветила широкий небритый подбородок...

Миша метнулся к полицаю, изо всех сил ударил рукояткой пистолета по голове.

Тот сразу оказался на земле. Миша навалился на него, до боли в руках сдвинул ему горло...

Но полицей был явно сильнее. Он, как пружина, сначала сжался, потом рывком распрямился, вывернулся из его рук и всем телом навалился на Мишу,

вцепился в его горло. С минуту Миша еще боролся с ним, пытался разжать его руки — не получилось. Потом потерял сознание...

Очнулся в погребке на холодном земляном полу. Над ним орудовал Арно: он теребил его, тер уши, виски — приводил Мишу в чувство.

– Прости, Арно, не хватило сил помочь тебе! - сказал Миша, когда пришел в себя.

Арно обнял его, прижал к своей груди.

– Ты хороший человек, Миша, и я полюбил тебя, - сказал он с какой-то радостью.

Теперь они оба беспомощно лежали на земляном полу, ожидая своей участи.

Миша трясся от холода. Одежда мокрая, в ботинках вода. Он шевелил пальцами — не помогало. Холодно, сыро, как на снегу. Только он пригреет один бок, прижавшись к Арно, как замерзает другой. Миша не выдержал, поднялся.

– Приседай раз сто! Помаши руками, согреешься, - посоветовал Арно.

Поприседал, помахал руками... Вроде бы согрелся малость.

Подложив под голову ладони, Миша лежал с закрытыми глазами. Снова поплыли довоенные годы...

... Отец работал дежурным по станции. Миша учился в пятом, шестом, седьмом классах. После уроков он обязательно забегал на станцию и вместе с отцом выходил встречать и провожать поезда. Отец шел на платформу в красной фуражке и с двумя флажками — красным и желтым. А когда вечерело, вместо флажков он брал фонарь с разноцветными стеклами.

А потом отец уехал учиться. Дом сразу как-то осиротел без него. Зато праздником был для Миши тот день, когда отец вернулся. Мише показалось, что и птицы в саду запели тогда по-иному. Он не отходил от отца ни на шаг, хотелось в один миг обо всем расспросить его, обо всем рассказать ему самому.

На следующий день отец пошел на работу. Теперь Миша не ходил к нему после уроков. Его работа стала для него неинтересной: он не встречал и не провожал, как прежде, поезда, не носил в руках флажков и фонаря с разноцветными огнями. Он стал начальником станции... Вспомнилось Мише, как отец провожал его на фронт в поезде до конечной станции. Внутри вагонов — веселье. Всюду песни, пляски, шум... В каждом вагоне свои запевалы, чтецы. Заканчивалась одна песня, тут же начиналась другая...

Отец сидел мрачный. Миша обнял его за плечи, спросил:

– Ты что задумался, батя?

– Шумите, веселитесь... Будто праздник какой, а не война. Не понимаете, глупые, что война — это не шутка.

– Что ты, батя! Мы все прекрасно понимаем... - успокаивал Миша отца.

- Ну, может, не все, но основное понимаем. Зря ты расстраиваешься, ведь не младенцы же мы...

Отец улыбнулся:

- Я тоже сбежал на фронт, когда мне семнадцати не было. Но тогда и время другое было. С одной винтовкой исколесил всю Россию... сейчас не то, сынок, трудно вам придется... Молоды вы еще. Не надо бы спешить на такие дела. Для этого зверя нужны сильные руки.

А ты в судьбу, батя, веришь? - спросил Миша улыбаясь.

Отец пожал плечами.

- От судьбы, мол, не уйдешь, и все такое, - как бы в пояснение сказанного добавил Миша. - Смешно, конечно... А все же...
- Судьба человека, Миша, мне кажется, - это сам человек. Люди разные на свете, и судьбы у них разные. Все зависит от самого себя.

Когда рассвело, часовой открыл дверь в погреб. У входа стояли два полица и староста. Арно сразу узнал его: Уно Ваппер. У него взгляд был с холодным, стальным блеском. Таким взглядом он и окинул Арно. Ваппер медленно, вразвалку в своих задубелых сапогах подошел к двери, оперся руками о верхний брус дверной коробки и, дыша прямо в лицо

Арно, сказал:

- «Как веревка ни вьется, конец найдется». Знаешь такую поговорку?

Арно молчал. Вот когда он как следует рассмотрел его!

Ваппер был тощ и костляв, и уже трудно было представить, что до войны он был розовый, круглый и чем-то похожий на сердитого лохматого пса. Стала особенно заметна его седина, характерные, убегающие вверх брови с густыми толстыми волосами. Кости черепа стали видны. В глазах, немигающих, широко открытых, появилось, кажется, что-то новое — наглость?

Все это увиделось почему-то сейчас. До этой минуты не вспоминалось.

Не нужно было вспоминать.

- Я изменился, да? - спросил он, заметив, что Арно рассматривает его. - Война перевернула меня, война. Все стало другим, все — и душа, и тело...
- Арно с ненавистью смотрел на Ваппера.

- В этом ты прав, - сказал он с усмешкой, - душа-то, действительно, у тебя другая... лакейская.

- Заткнись, голь бесштанная! - зарычал на него Ваппер. - Сам-то ты русский холуй.

- Не рычи, иуда, не боюсь я тебя, - спокойно сказал Арно и отвернулся. Арно и Мишу посадили в повозку, и она покатила по поселковой улице.

Немецкая комендатура размещалась в соседнем селе.

Полицай сидели по бокам с карабинами в руках. Староста позади. Тупой носок задубелого сапога упирался прямо в бок Мише, но он не двигался, сидя на голой доске, и лишь смотрел на бесшумные улицы поселка, по которым, медленно передвигая ноги, молча шли люди;



на почерневшие от времени с закрытыми ставнями на окнах поселковые дома; на застрявшую в грязи посреди улицы повозку. Смотрел на бесшумные, залитые грязью, улицы, одинокие трубы, нелепо торчащие из развалин сожженных домов. Как тени скользят бесшумно, бесследно, так плыл перед Мишей стынущий поселок. Он сидел сейчас безразличный ко всему, жизнь для него на этом кончилась, теперь все начнется сначала.

И вдруг... голос Арно.

– Послушай ты, иуда, - нарушил он молчание, - будь хоть раз человеком...

Староста убрал ноги:

– Ну, ну?..

– Не говори немцам, кто мы. Одной смертью меньше, одной больше, что для тебя...

– Смерти боишься? - спросил Ваппер.

– Не смерти... Обещанного не исполню, - ответил Арно.

– Что захотел!.. - скривил рожу Ваппер. - На твой розыск я сносил ноги по самую задницу.

Подъехали к комендатуре. Оба полица спрыгнули с повозки, направили на арестантов карабины:

– Слезай!.. Руки за спину!.. Пошел!

Староста доложил коменданту:

– В одном доме сцапали... Сомнительные.  
«Смолчал, иуда», - у Арно сразу отлегло.

Комендант сидел, глядел перед собою, ни на кого. Взгляд, как ртуть, ускользал. Руки на коленях не двигались, а как бы судорогой подергивались. Человек безучастен, надменен и циничен. Он как-то вскользь посмотрел на Мишу, открыл стол, вынул из ящика лагерную карточку.

– Ты есть лагерный номер 1114, это правда? - спросил он Мишу.

Миша недоуменно смотрел на коменданта:

– Господин комендант ошибается, я здешний житель...

– Ты беглец и бандит! - не повышая голоса, спокойно сказал комендант. - Мы вернем тебя туда, откуда ты сбежал. - Он перевел взгляд на Арно: - А ты укрывал бандита и сам бандит!.. Так и тебя туда же... Заодно! - добавил он.

Их закрыли в комендатуре, а на следующий день отвезли в Таллин.

За столом комендант Таллинского лагеря оберштурмфюрер Хайнц Шнебель. Он поднялся, подошел к Мише, взял его за подбородок и с силой запрокинул голову назад. Это излюбленный прием коменданта на допросах.

– Живым из могилы?! - брови его поднялись, глаза злобно, но с любопытством смотрели на Мишу, как на диво дивное. И вдруг он улыбнулся, оскалив нижний ряд зубов. - Интересный экземпляр, - произнес он, из могилы — в лагерь, из рая — в ад,

– как это у вас говорится: «С корабля на бал»?

Миша вспомнил слова Алексея: «С комендантом держи себя побойчее. Кислых и молчунов он не любит».

- Здесь такой комфорт, господин комендант, - выпалил он первые попавшиеся слова, - в могиле хуже. - И тут же добавил: - Да потом, откровенно говоря, надоела душевная скукота по бандитской роже фельдфебеля, как магнитом обратно в лагерь потянуло.
- Шутник! Это неплохо... Я люблю веселых людей. - Улыбка не сходила с лица коменданта. Он наклонился, посмотрел Мише в глаза: - Смерти боишься?.. - Вдруг выпрямился, отнял от подбородка руку.
- Раньше боялся, теперь нет, - сказал Миша твердо. - Я уже побывал там, господин комендант, и забил себе местечко в раю. Обещали подождать, пока вы окончательно не пошлете мою душу на тот свет.
- Ты смелый парень, и мне ты нравишься. Я стараюсь как можно поменьше отправлять таких шустрых на тот свет, даю им шанс: если выживут — значит, судьба, не выживут — под лед Балтики... Живи и ты, черт с тобой, - сказал он Мише и добавил: - Если выживешь... Особо-то не спеши туда, еще успеешь, раз место забито, - снова улыбнулся он.

Миша подумал: странная сволочь, одних стреляет на месте, над другими издевается до тех пор, пока сами не умрут от побоев, а третьим улыбается... Видать, страдает манией величия: «Хочу — казнь, хочу — милую». Владыки мира, несут поработанным народам свою культуру, созданную на фашистский манер цивилизацию, свой новый, особый порядок.

Мишу и Арно комендант сослал на остров Эзель. Лагерь на острове является частью Таллинского лагеря, и направляли в него штрафников, особо провинившихся, приговоренных к медленной смерти.

Загрузили подводы лагерным оборудованием, строительными материалами, и санный обоз тронулся в путь. Пленных разбили на группы — по несколько человек в повозке. На повозке поверх грузов — конвойный с автоматом на шее. Всю дорогу он покрикивал:

- Нельзя отставать!.. Пук, пук! - И пленные торопились изо всех сил, стараясь не отставать от повозки.

Дорога шла по холмистой местности. Подъемы сменялись спусками. На подъемах лошади распластывались в натуге, на их тощих задах проступали продольные борозды. Конвойные соскакивали с подвод, криками заставляли людей впрягаться в сани и вместе с лошадьми тянуть перегруженные повозки. Люди хватались за веревки, стягивающие грузы. Наклоняя голову, упирались ногами в снег. Ноги тяжелели, и все исчезало вокруг, все мертвело, отодвигалось, глохло, и вся жизнь — это белесый снежный поток из-под саней, убегающие полозья, одышка, запах мокрой шерсти и снега.

С хрипом полного изнеможения лошади и люди останавливались.

Привалившись спиной к саням, долго не могли отдышаться, молча смотрели в небо. Проходила минута — и снова крики конвойных:

– Быстра, быстра! Поднимайсь.

Тяжелее подъема — спуски. Еще задолго, едва только чувствовался уклон, возчик проверял веревки, удерживавшие кладь. Укоротив и туго натянув вожжи, он настороженно ступал рядом с лошадей, прищурясь, вглядывался вперед. За уступами уходящей вниз просеки ничего не видно. Дровни напирала все сильнее. Лошадь оседала на задние ноги, вылезала из хомута. Возчик упирался изо всех сил, откидывался назад всем телом. Ему снова помогали пленные. С напряженными лицами, обессилев, они еле-еле успевали погасить разгон до половины спуска. Лавиной катилась упряжка. И только далеко в ложбине стихал разгон.

Но вот взобрались на вершину высокого холма и остановились.

Колокольчики смолкли. Насколько достигал взгляд, открывалась заснеженная гладь Финского залива. Возчик показал кнутовищем вперед:

– Э-э-вон лес темнеет. Остров... Верст-таки двадцать до него.

На заливе было ветрено. Холод забирался, казалось, в самую душу. Мише хотелось пробежаться, держась за оглобли, как делал время от времени извозчик, но край дороги узок и рыхл, при каждом шаге от него отваливались большие глыбы снега. Да и ноги деревенели от холода, еле двигались.

Падавший еще при выезде из лагеря мокрый снег все валил, и все глуше и глуше булькала вода под ногами лошадей.

Едва сошла на нет хорошо укатанная дорога, лошади стали оступаться.

Стоило коню провалиться хотя бы по щиколотку, как он сейчас же всей тяжестью ложился на оглобли и ржал, словно при последнем издыхании.

Опять конвойным нужно было надрывать глотку:

– Быстра, быстра! Поднять коня!

И люди поднимали. Но через несколько шагов падал другой.

Руки коченели от холода и плохо слушались. А снег шел и шел частыми большими хлопьями.

К вечеру похолодало, стало темнеть. Дорога совсем оборвалась. Уже несколько верст ехали по обширной белой пустыне. Свежий снег лежал толстым слоем, но еще можно было слышать приглушенное бульканье под ногами лошадей. Усиливался ветер. Надвигалась ночь.

Подхлестнутая возчиком лошадь, за которой шел Арно, сделала быстрый рывок и вдруг провалилась в снег по самое брюхо. Возчик, придерживаясь за оглоблю, ударил ее носком в бок.

– Симулируешь, скотина, - произнес он сквозь стиснутые зубы.

Конь фыркнул и налег на оглоблю. Завертка лопнула с треском, и оглобля отскочила в снег. Конь ворочался в снегу, разрывая упряжь.

И снова крики конвойных...

Задыхаясь, в обледеневших выше колен брюках,

проваливаясь в снег, Арно нащупал в темноте гужи и стал стаскивать их с концов дуги. Лошадь, заваливаясь, перекосила упряжь. Он все же высвободил дугу, и она упала в снег. Натянув повод, Арно зашел вперед и стал дергать узду, чтобы побудить лошадь подняться на ноги. Но она лишь подавалась вперед головой и снова падала. Он тогда укоротил повод и только собрался изо всей силы дернуть за него, как вдруг лошадь сама тяжело шарахнулась в сторону, Арно упал. А пока поднимался, лошадь убежала.

Арно кинулся за ней, проваливаясь в снег, падая и вновь поднимаясь. Куда там!.. Он остановился, задохнувшись.

– Догоняйт! - приказал немец. - Быстра, быстра!

Но Арно не сдвинулся с места. Конвойный подбежал к нему, направил в лицо автомат:

– Повезешь вместо лошади. Ну!..

Арно освободил уцелевшую оглоблю от остатков упряжи, крепко обнял ее двумя руками и, напрягая остаток сил, потянул по проложенному санному следу... Миша встал с ним рядом, плечом к плечу, обнял оглоблю с другой стороны. Сзади повозку подхватили товарищи.

– Быстра, быстра! - кричал конвойный, восседая на повозке поверх грузов. Люди шли, и им было уже все равно, что там кричали сзади и что их ждет впереди...

На острове военнопленные работали на заготовке дров.

В пять часов утра дневальные подняли пленных. Всю первую половину ночи шел снег, и сугробы завалили двери бараков, захлестнули дорогу, ведущую к лесоповалу...

Медленно завывали сирены, и где-то в глубине острова волки подвывали их широкому и безрадостному голосу. На лагерном поле сипло лаяли овчарки, слышался гул тракторов, расчищавших дороги к лесозаготовкам, перекликались конвойные...

Сырой снег, освещенный прожекторами, блестел нежно и кротко. На широком лагерном поле под непрерывный лай собак началась проверка.

Голоса конвойных звучали простужено и раздраженно.

После проверки к военнопленным обратился комендант лагеря:

– Здесь, на острове, в глуши... как это у вас говорится... я и царь, я и бог. - он посмотрел во все стороны, откашлялся: - Один миг — и все кончено...

– Хочу — казнь, хочу — милую! - тихо добавил Арно.

Миша обернулся... Арно подмигнул ему, шепнул:

– Очередная сволочь..

Но вот широкий живой поток поплыл в сторону леса, заскрипели ботинки и сапоги. Вытаращив свой одинокий глаз, пялилась караульная вышка.

А сирены все выли, далекие и близкие, - островной сводный оркестр. Он звучал над заснеженной, объятай со всех сторон морем землей.

Под голоса сирен, под удары ломика по подвешенному к дереву рельсу

шли добытчики лесного тепла — рабочие-лесозаготовители: рубщики, возчики, укладчики, пилоставы.

В этот снежный ночной час начинался день на островном лагпункте великой лагерной громады немецкого национал-социализма. Здесь, на этом голодном острове, друзья будут находиться до весны сорок третьего. Кормили их в несколько раз хуже, чем в центральном Таллинском лагере, а работа в несколько раз тяжелее. Люди опухали от голода. Сначала пухли ноги, и по утрам было трудно обуться. Но потом болезнь распространялась на все тело. Голова и шея отекали, лицо опухало так, что глаз не видно было, воспалялись слюнные железы, коченели суставы.

Трудно, а все же люди двигались. Комендант приказал: «Больных не должно быть. Тех, кто не поднимается, - под лед!»

И опять Мише повезло. Он выжил благодаря дружбе с Арно. Как-то, еще в начале островной жизни, когда голод начал захлестывать людей, Арно сказал Мише:

- Я природу понимаю. Ты знаешь желудь, липовый лист, крапиву, лебеду... Их сразу чисто подберут голодающие. А я пятьдесят шесть растений знаю, которые человек кушать может. Вот и останусь жить. Весна еще только пришла, ни одного еще листочка нет, а я из земли уже корешки выкопаю. Я все, брат, знаю: каждый корешок, и кору, и цветочки, и каждую траву понимаю. Корова, овца, лошадь — кто хочешь с голода пропадет, а я не пропаду, я лучше их травоядный.

Его добродушная улыбка и взгляд — то строгий, словно пронизывающий насквозь, то мягкий и ласковый — кого-то Мише напоминали. Миша смотрел на Арно и наконец вспомнил: он походил на Алексея.

- Давай, друже, с хвои начнем, - предложил он Мише. - Не помрем, а полегчает.

- Давай, - согласился Миша. - Поди, горькая?

Арно пожал плечами:

- Знамо, не мед!.. Кору еще можно. Вот солнцем немного подогрет, мякоть образуется. Сладкая и сочная...

С этого дня Миша и Арно встали на подножный корм. Не очень-то приятное блюдо, но уже спустя неделю опухоль стала спадать, боль в суставах затихать, кожа стала очищаться от чешуи. Сначала подножный корм не лез Мише в горло: тошнило, а иногда и рвало. Потом привык к нему и жевал уже с утра до ночи.

Здесь, на острове, конвой был малочисленным, не таким, как в Таллинском лагере. Видимо, немцы были уверены, что с острова, отделенного от большой земли полосой моря в несколько десятков километров, побег невозможен. Как правило, к месту работы весь отряд военнопленных сопровождали два-три конвоира, вооруженных автоматическим оружием и волкодавами.

В лесу рабочая зона охранялась патрульными.

Однажды во время переноски бревен, когда, казалось, силы покидали Мишу, кто-то поддержал конец бревна, немного облегчив непосильную ему ношу. Миша обернулся и пришел в смятение... Это был конвойный его подразделения. Он еле заметно улыбнулся Мише, кивнул — мол, держись, парень, надо.

На следующий день конвойный заметил, что Миша прихрамывает, показал ему на ногу, потом на штабель бревен. Миша понял — разрешает ему переобуть ботинок. Мокрая портянка в дырявом ботинке сбилась и до крови натерла пятку.

Немец часто заговаривал с Мишей и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского парня, забыл, что тот плохо понимает по-немецки. Ему казалось странным, что его не понимает человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

– Неужели вы ни черта не понимаете? - огорченно спрашивал он.

Миша по-русски ответил ему:

– Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных... А вообще-то я понимаю немецкий, только разговаривать не хочу.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка полтора исковерканных немецких слов, разговаривали военнопленные с немцами о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям. «Комрад, гут, брат, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагере, - ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтупгельгер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, легершуце — хватало, чтобы выразить особое, важное в простой и запутанной жизни лагерных людей. Были и русские слова — ребята, табачок, товарищ, - которыми пользовались немцы. А русское слово «доходяга», определяющее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгался в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами «матка, пан, руки вверх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов, для того чтобы вторгнуться в другую страну, грабить, убивать русских людей. Но этот немец, симпатизирующий Мише, был особого склада, он знал русский язык в совершенстве. Но разговаривать на нем было весьма опасно, - не дай бог, услышит начальство!

Присев с Мишей за штабелем, немец вынул пачку сигарет, разорвал с угла, высыпал на ладонь несколько штук, одну зажал в зубах, остальные протянул Мише. Потом достал спички. Ветер мешал прикурить. Конвоир сердился. Миша взял из его рук коробок, мгновенно прикурил и, держа горящую спичку в согнутых ладонях, как в фонарике, дал прикурить конвоиру.

- Вот это я понимаю, ловкость рук! - сказал конвоир. - Есть вещи, которым я завидую.
  - Чему завидуете? - спросил Миша.
- Ну вот хотя бы тому, что вы умеете так ловко на ветру зажигать огонь и удерживать его в руках.
  - Мелочь, - улыбнулся Миша.
- Я завидую и преклоняюсь перед мужеством вашего народа! - как бы не слыша его, продолжал немец.
  - Это слова, - сказал Миша. - Преклоняетесь, а сами что делаете!
  - К сожалению, я всего-навсего солдат. Если бы хоть что-то от меня зависело, я бы сегодня всех вас выпустил на свободу, - убежденно сказал конвойный.
- Немец был лет сорока, среднего роста, неуклюжий, с продолговатым лицом. По его манере держаться и разговаривать Миша почему-то решил, что в прошлом — это учитель. Конвоир затаился несколько раз, стряхнул с сигареты пепел, спросил:
  - Вы из Таллинского лагеря?
  - Из Таллинского, - ответил Миша.
- Я учитель. Моя фамилия Шульман. Фриц Шульман. - Называя себя, он внимательно разглядывал Мишу. - Здесь я недавно, с полгода, не больше...
  - А вы в Таллинском знали кого? - неожиданно спросил он.
  - Кое-кого — сказал Миша.
- Меня на этот остров, можно сказать, тоже перевели за провинность, - поделился Шульман. - И тоже из Таллинского... Я собирал и коллекционировал откровенные письма с фронта. Некоторые помещал в свой дневник. - Он потушил сигарету, помолчал немного и сказал:
  - Знаете, у меня к вам вопрос есть большой...
- Миша посмотрел на Шульмана в недоумении: немец — и вдруг вопрос, да еще и большой, к русскому пленному...
  - Дети меня будут спрашивать о войне, - продолжал он, - а война для меня — это лагерь. И мне хочется, чтобы память об узниках лагерей жила... Да и как же иначе! Вот кончится война, и кому суждено уцелеть, разъедутся по разным уголкам. А ведь о том, что пережили эти люди в лагерных застенках, должны знать все. Каждая самая маленькая черточка из их жизни дорога. И, потом, о тех, кто сложил здесь голову... Вы согласны со мной? - спросил он Мишу. Миша молча кивнул. - Я второй год собираю материалы об узниках таллинского лагеря. И кое-что мне удалось. Есть воспоминания, зарисовки, легенды, короткие очерки. Их у меня такая стопа накопилась, - немец развел ладони, показывая размеры стопы. - Вот я хочу и о вас, о ваших товарищах записать. Вы не возражаете?
    - Как, здесь?! - не понял Миша.
  - Нет конечно. Здесь слишком рискованно, - сказал немец и добавил: - Для меня. Вы тут ни при чем.

Шульман то и дело поглядывал по сторонам. Видно было, что он нервничает — бросил недокуренную сигарету, достал новую, прикурил от Мишиной.

- Завтра я буду в охране, - продолжал он, - назначили в ваш барак. Если не возражаете, после отбоя... Ну, скажем, минут на тридцать, а?..

Миша пожал плечами. Что пленный мог ответить охраннику?.. Немец скинул из-за плеч ранец, расстегнул его, достал краюху хлеба, отломил половину, протянул ее Мише:

– Возьми... Съешь потом.

Миша отстранил его руку.

– Бери, бери... от чистого сердца, - сказал Шульман.

– Нет!.. Я как все, среди нас нет нищих, - отрезал Миша.

Немец спрятал краюху в ранец, застегнул его, закинул его за плечи.

– Тогда пошли, - сказал он. - Надо работать.

Миша видел: это был не тот немец, что злобствовали, издевались над пленными, как говорится, выжимали из них последние соки. Но на нем была фашистская форма: ранец за плечами, автомат на шее, кованые сапоги на ногах. Все это не могло погасить той ненависти, что заполняла все Мишино существо.

Фриц Шульман появился возле Мишиных нар поздним вечером следующего дня. Дулом автомата он коснулся его дырявого ботинка:

– Ауфштеен! Пошли...

В коридоре едва слышно немец сказал Мише, чтобы он стоял в уборной возле приоткрытой двери.

- Это на всякий случай, маскировка, - улыбнулся он. - В уборную нет запрета и после отбоя, - сам же сел на чурбак в тамбуре. - Вы слышите меня? - спросил он тихо. - Тогда один момент, я бумагу достану, - и поспешно расстегнул шинель, из потайного кармана достал тетрадь, карандаш, поудобнее уселся на чурбаке: - Я попрошу вас рассказать самое главное. Меня интересует: кто вы такой и кто ваши друзья, наиболее характерные эпизоды из вашей лагерной жизни и жизни ваших друзей; и особенно, если друзья ваши погибли, то как, при каких обстоятельствах они погибли.

Миша старался рассказывать все по порядку, но у него это не получалось, переходил от одного случая к другому. Тогда немец стал задавать ему вопросы. Спросит, до определенного места слушает его, затем прервет и запишет.

Так они просидели больше полчаса, пока немец записал все, что его интересовало.

- Вот и хорошо, - сказал он, закрывая исписанную тетрадь. - Так и напишу: «Записано со слов узника Таллинского лагеря Миши Васильева». - Затем спрятал за пазуху тетрадь, карандаш, сказал: - Все эти записи — мое самое большое богатство. Среди них есть чудесные вещи.



- Есть у меня, например, одна легенда... Ее сами пленные сочинили. Это даже не совсем легенда. Она к правде ближе. Хотите послушать?.. - спросил он Мишу.

- Интересно... - сказал Миша.

- Так вот... В бараке тяжелораненых люди мерли как мухи, - начал свой рассказ Шульман. - Никто их не лечил. У кого душа потверже — выживет, у кого послабее — умрет... Вот в это-то время появился доктор. То ли его с неба Господь прислал, то ли он из среды тяжелобольных объявился. И сразу начал лечить... Не лекарствами, конечно, потому как их не было в лагере, а словом и делом. Подойдет к раненому, поговорит с ним этак минут с пяток, посмотрит ему в глаза, раненый поднимется с нар и ходит по бараку, потом на улице, вокруг барака.

Мишу поразило сходство начала этой легенды с тем, как лечил Оскар Вески, и он спросил:

- А фамилию доктора знаете?

- Нет. Ни одной фамилии нет, - сказал Шульман. - Легенда без имен и фамилий. Просто — безымянный доктор... Так вот, доктор этот умел колдовать. Подойдет к больному, поговорит, поколдует — у того вся хворь из нутра наружу... Потом он заколдовал немецкого офицера, лагерного врача. Так все лекарства из кладовой госпиталя перекочевали к доктору. Когда все раненые выздоровели, комендант вызвал к себе доктора и стал требовать, чтобы этот доктор передал свои секреты чудодейственного лечения немцам. А он молчит. Ни слова не говорит. Стали его пытаться. Чего только не делали: и иголки под ногти загоняли, и огнем палили, а он молчит, да и только. Ему хоть бы что, ни один мускул не дрогнет. Тогда комендант сменил гнев на милость. Он стал уговаривать доктора, обещать ему... Шутка ли, если русский доктор согласится передать немцам секреты скоростного лечения раненых... тогда его метод распространится на все немецкие госпитали... «Тебя мучить перестанут, только скажи...» - а доктор ни слова. «Мы не только жизнь тебе оставим, - говорил комендант, - но и сделаем большим человеком. Наш фюрер назначит тебя главным над всеми врачами великой Германии». А доктор ни слова. Понял комендант, что у него ничего не выйдет, и отступился... Отдал доктора на растерзание гестапо. Руки они ему из суставов вывертывали, ремни на спине резали, солью раны посыпали — молчит доктор. Удивились они его мужеству. «Видать, сердце у него каменное, - решили они. - Вырежем и посмотрим, какое оно на сомом деле». Вырезали они сердце и видят, что оно самое что ни на есть человеческое, трепещущее, кровью облитое. И сильным-то оно оказалось потому, что было человеческое. Все страдания, муки людей были ему доступны. И на каждую несправедливость оно отзывалось. И до конца было России, людям предано. Так свою Родину любил, что никакие муки не могли его заставить предать ее...

- Немец посмотрел на Мишу, задумчиво сощутив глаза: - Вот на этом, собственно, легенда и кончается... Неплохая легенда? Правда? Особенно конец хороший: о сердце солдата.
- Есть у нее и другой конец, - сказал Миша, - не сказочный, а настоящий.
  - То есть? - удивился немец.
 Миша рассказал об Оскаре, о его смерти во имя жизни других.
- Вот видите... Вот видите! - взволнованно проговорил немец и поднялся с чурбака. - Вот видите!... Оказывается, легенда не просто так выдумана. В жизни, оказывается, так было... Иногда удивительным бывает человеческое сердце. Видел я такое, видел. - Шульман заложил за спину руки и зашагал по коридору. - И тот немец, о котором вы рассказывали, тоже неплох. Даже очень неплох!.. И вы знаете, чем он хорош? - Немец остановился, приоткрыл дверь к Мише, посмотрел на него: - Жил он, чтобы люди не умирали, и умер ради того, чтобы люди жили. Это здорово!.. Это прекрасно!..
  - У нас это в порядке вещей, — сказал Миша.
- Я это знаю... Ведь я, можно сказать, ваш земляк. До революции жил под Петроградом. Да и потом бывал там — в Москве, Ленинграде. Возможно, что ваш друг Оскар Вески повлиял как-то и на нашего доктора, и даже на коменданта Хайнца Шнебеля. Комендант совсем другой стал. Ведь повлиять на человека, знаете, не только словами можно. Чаще всего как раз не слова, а человеческие поступки влияют. Вот морят вас голодом. Пытают, издеваются над вами, содержат в невыносимых для человека условиях, заставляют гнуть спину от непосильной ноши, а вы не теряете достоинства человека. И мы хорошо видим это... Видим, как стойко переносит российский солдат все невзгоды, можем ведь задуматься: во имя чего этот незнакомый нам человек на такие муки идет?.. - Немец продолжал ходить. - Истина, знаете, как вода: если ей в одном месте не удалось просочиться, она другой путь ищет, а до человеческого сердца уж обязательно доберется! И все, кто сердце имеет, правду найдут! - Он снова заглянул к Мише, улыбнулся: - Мы, немцы, все время правду ищем. А сейчас на два лагеря разделились: одни — за правду, пока в душе только, другие — за кривду. А вот вы, русские, всем сердцем поняли ее и деретесь с нами не на жизнь, а на смерть! Поэтому мне и легенда эта — назовем ее легендой об Оскаре Вески — так нравится... Уметь по-настоящему любить людей, без притворства, без хитрости, без сюсюканья, честно — это так прекрасно!
- Время затянулось, а Мише хотелось спать, и он открыл дверь.
  - Устали? - улыбнулся немец.
- Непривычно как-то, - признался Миша. - Да и спать мне надо, а то завтра трудно будет спину гнуть...
- Ложитесь, ложитесь!.. Сегодня я наговорил столько, сколько за весь год не пришлось...

- Это вы меня так расположили к философствованию. Увидел подходящую аудиторию, вот и разрядился. Извините меня, ради бога! - Пожимая Мише руку, немец еле слышно сказал: - Открою вам секрет... Я не только пишу, а еще и фотографирую. Заснял на пленку такое!..Получился неплохой документ, обличающий немецкий фашизм... Отвратительнейшее явление на земле! Хотите, я вам подарю несколько снимков? - вдруг предложил он Мише.

- А где же я хранить их буду? - спросил немца Миша.

- Да, вы правы. Об этом я как-то не подумал. Тогда скажите мне свой домашний адрес... Кончится война, я пришлю их вам. Обязательно пришлю!.. Если, конечно, живым останусь. - Он достал тетрадь. - Сверстников наших, тех, кто переживет войну, этими снимками, конечно, не удивишь, и не такое видели! А вот дети наши... Снимки им будут, так сказать, на память, в наследство. Дольше не забудут лицо фашизма. - Он помолчал немного, потом добавил: - Да, лицо фашизма!

- Когда еще это будет!.. - вздохнул Миша.

Немец посмотрел на него, улыбнулся:

- Будет, камрад, очень скоро будет. Только будем ли мы с вами, вот в чем вопрос? - Миша пожал плечами. - Потерпите еще немножко, - сказал Шульман. - Скоро настанет конец этой бессмысленной войне... Наша армия отступает. - Он снова взял Мишину руку в свою, и, крепко пожимая ее, вдруг спросил: - Вы ленинградец?..

- Почти, - смутился Миша.

- Хотите узнать кое-что о боях под Ленинградом?.. Это же чертовски интересно! - настоятельно спросил он Мишу. И, не ожидая ответа, сказал: - Я прочитаю вам всего несколько писем. Это займет несколько минут, зато в вашей душе зажжется радостный победный огонек.

Миша снова вернулся в уборную

- Вот объемистое письмо эсэсовца унтер-офицера 170-й пехотной дивизии Фрица Шульца своему другу, - сказал немец.  
«Я не понимаю, что происходит, мы не успеваем опомниться. Правда, мы ожидали этого наступления русских и в течение месяцев готовились к нему. Рыли противотанковые рвы, строили пулеметные гнезда, возили камни в лес, сооружали стени железобетонных укреплений, кругом опутались колючей проволокой, минировали все подступы к нам противопехотными и противотанковыми минами. Мы рубили, копали и строили не переводя дыхания, под непрерывным огнем русских. О, милый друг, ты не сможешь понять, что это такое! Перед нами стоял русский город, вернее, стоял раньше, до нашего прихода. Наша авиация и артиллерия превратили этот город в груды развалин. Но вот из-под этих-то развалин, из каждой щелочки всюду нас подстерегала смерть. Наши пушки и минометы были бессильны против этих развалин, так как все, что поддавалось разрушению, было уже разрушено,

- и нам казалось, что не русские солдаты защищают развалины, а их души совершают чудеса, вершат суд над нами за всю эту жестокость, с которой мы пришли в эту страну.

У русских бытует такая пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». Мы, когда ворвались в Россию, сеяли смерть на каждом шагу...

А потом на что-то надеялись и зарывались в землю. Но это была пустая работа, и поздно было за нее приниматься. Русские ударили, и все результаты нашей полуторагодовой работы полетели к черту. Будто сам Бог разгневался и метнул в нас полную пригоршню огня и железа вместе с русскими солдатами. Я как во сне. Все перемешалось для меня в этом мире, я перестаю понимать, где я и кто я. На мою спину сыплются комья мерзлой земли и в мокрое от пота лицо дует холодный ветер. Я прижимаюсь щекой к фундаменту разрушенного дома, всем телом врастаю в мерзлую землю, стараясь остаться незамеченным. Я только и думаю о том, чтобы меня не заметили и не раздавили.

Три дня назад на нас шли русские танки. По танкам били наши орудия. Некоторые снаряды попадали в танк. Они ударились о броню, лопались и разлетались. Тогда мне было все равно, что это значит, лишь бы танк не раздавил меня. Но теперь мне ясно: снаряды наши отскакивали от русской брони, они не могли ее пробить.

И вдруг страшный гром раздался над самой моей головой. Я закрыл глаза, надо мной прошел русский танк. А когда я снова поднял голову, то увидел кое-что пострашнее танков.

Я увидал невский ледяной покров и заснеженные приневские поля от самого берега до нашей укрепленной полосы, и весь этот простор был покрыт бегущими прямо на меня русскими солдатами.

Господи Боже мой! Это шла на нас Россия. Мы раздражили ее, и она двинулась с места и пошла в нашу сторону всей своей громадой. Я только тарасил глаза на их мокрые лица, на их раскрытые рты, из которых вырывалось частое и тяжелое дыхание. И у меня рябило в глазах от множества этих лиц. Они на ходу очередями из автоматов расстреливали моих товарищей, которые, как и я, не успели вовремя убежать. Все перемешалось в одну страшную кучу: снаряды, рев моторов, свист пуль, огонь, дым и снег. Но русский солдат проходил сквозь все это и что-то еще видел и соображал.

Мне чудом удалось спастись в этот день от смерти, но поверь, друг, чего мне это стоило... Когда мы встретимся, если суждено будет этому сбыться, ты не узнаешь меня, черный цвет моих волос сменился белым...» Немец закурил, полистал свой дневник и, после небольшой паузы, сказал:

– А вот еще...

«Нет, теперь мне не страшен ад». Это письмо пишет своему брату унтер-офицер эсэсовец Отто Брюгман, - прервав чтение, пояснил Шульман. - «Вот уже который день без перерыва идет бой за город, до которого мне нет никакого дела.

- Вчера мы бежали с высоты, на которой строили укрепления целый год. Русские до нашего прихода хоронили там своих родных и близких. Кладбище. Неприятное слово, правда? И вот мы пришли на него и изрыли все могилы вдоль и поперек.  
Я готов был проработать несколько лет на каторге, ем несколько ночей на этом кладбище. Кладбище старое, говорят, со времен русского царя Петра I. Мы вытаскивали сотни гробов, груды костей, и все это темными дождливыми ночами. Мы выбросили вон мертвецов, сами залезли в их могилы. В этих могилах мы жили больше года — ждали кары за все прегрешения. И вот эта кара свалилась на наши головы. Был невероятно жестокий бой. Мы бежали из этой «неприступной» крепости... Не все, очень мало. Большинство осталось в чужих могилах.  
Над нами бушует ураган огня и стали. Жуткое зрелище! Русские солдаты дерутся, как львы, они озверели и, если это нужно для победы, жертвуют своей жизнью не задумываясь. В критический момент они закрывают своим телом амбразуры наших дзотов, бросаются со связками гранат под наши танки и вместе с ними взрываются, они отстреливаются до последнего патрона, а когда патроны кончаются, дерутся врукопашную, рвут нас зубами.  
Нам не понять их морали. Русские говорят так: «Русского можно убить, но нельзя сломить его гордого духа». Это верно. Они — хозяйева своей земли, а не мы...»  
- Как вам показались последние строчки? - спросил Шульман Мишу.  
– Здорово показались! - восторженно сказал Миша. - Наконец-то начали понимать, куда пришли.  
– Тогда слушайте еще одно, — сказал Шульман.  
«... Русские наступают на Шлиссельбург двумя колоннами...» Это пишет своему другу оберлейтенант 170-й пехотной дивизии Леопольд Бехер, - прервал чтение Шульман. - «Одна колонна, прорвав линию обороны наших войск в восточном направлении и продвинувшись на несколько километров вглубь, внезапно повернула на север и на плечах в панике бежавших наших солдат ворвались на окраину города. Вторая разрезает нашу укрепленную полосу вдоль берега реки.  
Наше командование решило нанести удар по второй колонне и, разгромив ее, отрезать первую колонну русских, замкнуть кольцо окружения. Были собраны в единый кулак все рода войск, находящихся на этом участке. Смешно теперь вспоминать, как орал наш красавчик полковник: «Ребята! Только один нажим остался! Один хороший прорыв — и мы закроем русским все дороги к Ладоге и замкнем кольцо».  
Где он теперь? В каком котле варят черти те куски мяса, которые от него остались?.. Получив сигнал к атаке, мы ударили прямо в лоб русским. Они не выдержали такого натиска и отступили. Мы уже решили, что опрокинули их, когда снова ударили по ним исподтишка, собрав все свои силенки. Но не тут то было!

- Они только сделали шаг назад и, оставив небольшой заслон из отдельных пулеметных гнезд, вывели свои войска из боя на исходные позиции. А мы, не зная об этом, двинулись на них всей своей громадой. Вот тут-то и заиграл их органчик...

Ты не видел таких вещей, Вилли, и хорошо, что не видел, не дай бог видеть! Ты бы подумал, что небо опрокинулось на землю — так она вздрогнула и потом сразу закипела из конца в конец. А когда ветер унес дым, несколько десятков гектаров земли стали черными, как будто плуг вспахал их вместе со снегом за одну минуту. И ты напрасно искал бы, куда девались наши батальоны среди этих вспаханных черных гектаров. Их не было больше. Я встал из воронки, в которой случайно перед тем оказался один, как мертвец из могилы. В голове у меня был черный туман. Где мой батальон, черт возьми? Где мои друзья? Где они?.. Дорогой Вилли! В 1941 году, переходя русскую границу, мы забыли, что начали войну с великаном, которого еще никто никогда не свалил. Я плачу, Вилли! Плачу и не могу удержаться от слез. Слишком трагично все это...» - Шульман умолк, потом спросил Мишу подавленным голосом: - Продолжать?

– Мне интересно, — ответил Миша.

– Ефрейтор Эрвин Дониковский пишет своему брату.

«Я находился на советско-германском фронте с самого начала войны. Я много видел и пережил. Знаю, что германская армия понесла колоссальные потери в людях и вооружении. Но самой крупной из всех потерь явился упадок боевого духа солдат. Старых солдат осталось очень мало, в нашей роте их всего лишь несколько человек. У них теперь совсем другие настроения, чем в прошлом году. На место убитых и раненых присылают резервистов. Они плохо обучены и не хотят воевать. Многие солдаты начинают понимать, что русские воюют не против немецкого народа, а против Гитлера и его приближенных...»

Шульман не дочитал это письмо до конца и, приоткрыв дверь, сказал Мише:

- Хватит, на этом поставим точку. Идите спать, а то я до утра готов морочить вам голову.

«Наша армия наступает». Сколько придали Мише эти письма силы и новой надежды на скорое освобождение! Он тогда впервые увидел, что есть среди немцев и наши друзья — противники войны.

В этот день известие о наступлении советских войск облетело весь лагерь.

Обескровленные в ожесточенных боях, фашистские войска вынуждены были зарыться в землю у стен Ленинграда, но в город вошел другой враг, жестокий и неумолимый, - голод. И особенно тяжелой оказалась первая блокадная зима.

Колочий северный ветер засыпал снегом улицы и проспекты,

намел сугробы вокруг пустых, неподвижных трамваев и троллейбусов, валил с ног ослабевших от голода людей. Но город продолжал жить и бороться.

В 1812 говорили, что Москва сгорела от копеечной свечки. Наполеон, задумывая поход на Россию, не предусмотрел этой свечки, он слишком поздно понял, что огонь ненависти к врагу горит в сердце каждого русского человека. В конце ноября 1941 года один голландский учитель сказал об этом на уроке. И через несколько дней фашисты запретили рассказывать в школе о Наполеоне и его бесславном походе на Россию...

Советские люди читали об этом в газетах и не могли скрыть своего торжества над растерянностью врага. Да, к тому времени гитлеровцы уже начали понимать, что в их расчете на молниеносную войну сделан громадный промах.

Не такой ли, какой сделал Наполеон, не захотевший признать истину, что могущество любой страны кроется не в ее материальном богатстве, а в душе народа? Чем шире и свободнее эта душа, тем большего величия достигает страна. Из глубин самого тяжелого несчастья свободный и смелый народ всегда может выйти с победой. Этого-то и не учли гитлеровцы.

Советские люди ждали и верили, что вот-вот фашисты получат такой удар, от которого им придется откатиться назад.

И вот этот день наступил.

«Не тот теперь пошел немец», - говорили наши бойцы.

Не тот теперь был тон и в заявлениях самого Гитлера. Осенью он хвастливо говорил, что война закончится победой Германии еще до весны 1942 года.

«Создана, наконец, предпосылка, - восклицал, выпятив грудь, фюрер, - к последнему огромному удару, который еще до наступления весны должен привести к уничтожению врага!»

Но наступила зима обещанного года, и фюреру пришлось уже истерично взывать к долгу своих бегущих солдат. В первых числах января был перехвачен секретный приказ следующего содержания:

*«Главная квартира фюрера.  
3 января 1942 года.*

*Приказ фюрера:*

*Цепляться за каждый населенный пункт, не отступить ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты — вот что требует текущий момент. Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в опорный пункт, сдачу его не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником. Если все же, по приказу вышестоящего начальства, данный пункт должен быть нами оставлен, необходимо все сжигать дотла, печи взрывать.*

*Адольф Гитлер».*

Гитлеровские вояки старательно выполняли лишь последний пункт этого приказа — сжигать все дотла. В остальном призывы фюрера оставались без ответа.

Немцы ожидали от Гитлера обещанного весеннего наступления. Но его не было, а 26 апреля 1942 года, выступая в рейхстаге, Гитлер, запинаясь, говорил об «испытании, которое прошедшая зима принесла немецкому фронту и родине», и намекал на то, что подобные испытания «могут выпасть также будущей зимой, независимо от того, где она застанет немецкий народ».

«Осенний» фюрер соблазнял немцев верной победой. «Весенний» тешил себя и своих соотечественников мыслью о том, что гитлеровской армии удастся продержаться до весны 1941 года. И чем же он объяснял неудачи на фронте?

Всему виной, по его словам, была лютая русская зима.

Фашистам ничего не оставалось делать, как высечь зиму по примеру персидского царя Ксеркса, который когда-то высек море, разметавшее его корабли.

Но так как высечь зиму было все-таки невозможно, гитлеровцы срывали злобу на мирных советских гражданах, томящихся в оккупированных районах. Если бы фашисты были столь же умны, сколь злобны и бесчеловечны, они бы поняли, какую ненависть вызывают подобные зверства и сколько силы и стойкости придает советским людям эта священная ненависть к поработителям.

Всю Россию невозможно было запугать и поставить на колени.

В солнечный день весны сорок третьего года к месту работы пленных подошла легковая машина. Из открывшейся дверцы вышел офицер. Все немцы, стоявшие поблизости, вскинув головы, разом вытянули руки:

– Хайль Гитлер!

Их точно так же приветствовал приехавший на машине.

Миша увидел только его спину, но узнал ее — так много приходилось видеть его. И походку узнал, только раньше она была более легкой и уверенной, чем сейчас. А когда он повернулся, из-под фуражки улыбочивым взглядом сверкнули глаза.

Это был оберштурмфюрер Хайнц Шнебель — комендант Таллинского лагеря.

Объявили аппель.

Военнопленных построили на плацу вдоль забора. Обходя строй, фашист остановился возле Миши и Арно.

Посасывая короткую изогнутую трубку, он стоял долго и безучастно смотрел на выстроенную колонну военнопленных. Они все такие — надсмотрщики из лагерей, убийцы из зондеркоманд: чистые, здоровые, сытые и равнодушные. И этот, с коротко стриженными белесыми волосами и водянистыми бесцветными глазами, тоже не лучше. Другим он быть не может! Ну что с того — оставил Мишу в живых и отправил на этот остров? Это ровным счетом ничего не значит. Немцы любят порядок: сначала забинтовать, потом расстрелять. Так у них заведено, и в этом состоит их понимание человечности.

Оберштурмфюрер посмотрел на Мишу, их взгляды встретились. Он вынул трубку изо рта, давая этим понять, что сейчас будет говорить.

– А я узнал тебя, ты тот самый парень,



- который вернулся в лагерь с того света и «забил» там себе местечко в раю, - улыбнулся немец. - Рад видеть тебя в полном здравии! - отчеканил он.
- Стараюсь, господин комендант, не спешить на тот свет, строго блюду ваш наказ, - ответил Миша, вспомнив, что с ним нужно держаться смело.
- Сколько же осталось в живых из Таллинской группы? - спросил Шнебель.  
Вахман пожал плечами.
- Не трудитесь, господин унтер-офицер, - сказал Миша, - почти все подо льдом. Двое нас...  
Оберштурмфюрер метнул свой взгляд на Арно.
- Крепкие парни, богатыри, - пробормотал он и пошел вдоль строя. Взгляд его перебежал с одного пленного на другого, спокойный и невыразительный взгляд пастуха, привычно пересчитывающего коров в своем стаде.  
Обойдя весь строй, комендант снова подошел к Мише.
- Подо льдом, говоришь? - снова улыбнулся он. - А как уцелел ты? - спросил он Мишу. - Только... как это у вас?... без трепу.
- Некогда было, господин комендант, ведь «работа делает свободным» - так вы пишете на транспарантах? - подумав, ответил Миша. - Не до смерти тут...  
Фашист задумался:
- Да, конечно! - Потом улыбнулся, и, посмотрев на Арно, спросил его: - Твое имя?  
– Арно Тоотс, - громко отрапортовал Арно.
- Скажи мне, Арно Тоотс, как тебе удалось выжить? - спросил комендант.  
Арно пожал плечами:
- Так это всем известно, господин комендант. Его превосходительство вахмейстер своим харчем полную реконструкцию нутра сделал. Враз пайку умнешь — семь дней до ветру ходишь. Безотходное производство получается, - сказал Арно, - вот и живем, как у Христа за пазухой, - добавил он.  
Комендант засмеялся. Шутки, видимо, оберштурмфюреру Хайнцу Шнебелю пришлись по душе.
- Хорошо, очень хорошо, - бормотал он, - молодцы! - И, обращаясь к вахмейстеру, приказал: - отправьте их обоих в Таллин. Пусть живут... сегодня я добрый.  
Через несколько дней Миша снова шел по Таллинскому лагерю и вспоминал пережитое. Это была как встреча с прошлым. Вот гараж, где работал Урмас Вильман и откуда так удачно бежал он. Где-то он сейчас?  
А вот и сарай, куда выносили умерших. Через этот сарай бежал Микк Тяяль. Жив ли он, удалось ли ему выбраться из могилы?  
Миша подошел к тому месту, где грузили контейнеры.

Сердце сжалось до боли!.. Нет на войне минуты тяжелее, чем минуты прощания с товарищем. Оскар Вески и Алексей были первыми из друзей, кто погиб а лагере на его глазах.

– Шутникам работу повеселее! - приказал комендант вахману.

С раннего утра до поздней ночи черпали они из выгребных ям вонючую жижу, наполняли ею большую бочку на колесах, возили эту бочку за пределы лагеря, освобождали, возвращались и снова наполняли...

Минула первая половина сентября. Ночи стали длиннее, заметно похолодало. От лугов по утрам поднимался туман, и, умываясь, пленные зябко поеживались, подставляя плечи и шею под струю воды.

После жаркого и сухого лета стремительно наступала осень. Среди темного убранства сосен золотом вспыхивали листья берез, красными пятнами горела рябина.

Скворцы сбивались в стаи, неторопливо кричали, рассевшись на телефонных проводах и деревьях вдоль шоссе. Воздух был чист и прозрачен, холмы на горизонте стояли окутанные шелковистой дымкой. Когда землю сковало морозом и присыпало снегом, когда выгребные ямы были пусты, Мишу с Арно включили в общий строй военнопленных.

Теперь они работали вместе со всеми.

Пленные знали, что творится вокруг, где наша армия, чувствовали, что победа близка.

Несмотря на наказания, в бараках все время работала информационная группа. Она внимательно следила за ходом военных действий на главных фронтах и передавала товарищам полученные сведения. Все в лагере хорошо понимали, что судьба их тоже зависит от положения на фронтах.

Добывать сведения было очень трудно. Единственным окошком в большой свет для пленных порой были уборные часовых — там можно было найти обрывки газет. Но охранники и это заметили, часовым было запрещено использовать газеты как туалетную бумагу. Добывать обрывки газет могли только те пленные, кто работал во дворе или ремонтировал помещения для начальства. Миша и Арно долгое время собирали информацию, когда чистили помойные ямы и уборные. Те, кто ремонтировал автомашины, часто вынимали из багажника кабины свежие, порой еще не прочитанные шофером газеты.

Весь лагерь облетела весть о победе наших войск под Сталинградом...

Кто-то из пленных при свете коптилки читал:

«В последний час... Успешное отступление наших войск в районе города Сталинграда... На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, начали отступление с ранее занимаемых рубежей для того, чтобы выровнять линию фронта. Отступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда...»

Люди барака стояли и молча плакали. Невидимая чудная связь установилась между ними и теми ребятами, что, прикрывая лицо от ветра, шли сейчас по снегу, в крови и прощались с жизнью.

«Нашими войсками оставлены города Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская, станция и город Абгасарово...» - произносил читавший.

Миша тоже плакал вместе со всеми. И он ощущал связь между теми, кто шел в ночной зимней темноте, падал, вновь вставал и снова падал, чтобы уже не встать, и этой казармой, где измученные люди слушали не о выравнивании линии фронта, а о наступлении России.

А человек, читавший обрывки газет, произнес от себя лично, своими, не газетными словами:

– Наступление наших войск продолжается.

Радостная была для лагерников эта весточка! Дело ясное. Пусть те, кто начал войну, испытают полную меру ее горя. Враг задыхался, а наша армия набирала силы.

Приходит и на нашу улицу праздник!

Арно по этому поводу говорил Мише:

– Весна, к примеру, приходит скрытно. На дворе морозы трещат, а смотришь, на снегу корочка звякнула, на елке иглы ледком облегло, птаха запела. А там, глядишь, реки тронулись, земля развернулась, дышит, семян ждет... С малого начинается весна, а попробуй останови ее...

Может, он и прав, говоря о приметах весны...

Действительно, попробуй останови армию, если она всей своей мощью двинулась на запад, выполняя священный долг — освобождение своей Родины.

В снегу в поле, вдоль дорог стояли сожженные и разбитые немецкие танки, орудия, тупорылые итальянские грузовики, лежали тела убитых немцев и румын.

Смерть и мороз сохранили картину разгрома вражеских армий. Хаос, растерянность, страдание — все было впечатано, вморожено в снег, сохраняя в своей ледяной неподвижности последние отчаяния, судороги мечущихся на дорогах машин и людей.

Даже огонь и дым снарядных разрывов, чадное пламя костров отпечатались на снегу темными подпалинами, желтой и коричневой наледью.

Это была сцена пещерного времени. Гренадеры, слава нации, строители великой Германии, были отброшены с путей победы.

На запад шли советские войска, на восток двигались толпы пленных. Румыны шли в зеленых шинелях, в высоких барашковых шапках. Они, видимо, страдали от мороза меньше немцев. Глядя на них, не ощущаешь, что это солдаты разбитой армии, - шли тысячные толпы усталых, голодных крестьян, наряженных в оперные шапки. Над румынами посмеивались, но на них смотрели без злобы, с жалостливой презрительностью. Еще с большим беззлобием относились к итальянцам.

Другое чувство вызывали венгры, финны, особенно немцы.

А пленные немцы были ужасны.

Они шли с головами и плечами, обмотанными обрывками одеял. На ногах, поверх сапог, куски мешковины и тряпья, закрученные проволокой и веревками. Уши, носы, щеки у многих были покрыты черными пятнами морозной гангрены. Тихий звон котелков, подвешенных к поясам, напоминал о кандалниках.

Они то и дело поглядывали на румяные от степного морозного ветра лица конвоиров, озирались на руки, державшие оружие, шли, стараясь не спотыкаться. В их покорности был не только страх перед легкостью, с которой палец русского мог нажать на спусковой крючок автомата. Власть исходила от победителей, какая-то гипнотическая страсть заставляла подчиняться им.

Удивительно! Сколько оказалось среди них маленьких, носатых, низколобых, со смешными заячьими ротиками, с воробьиными головками. Сколько черномазых арийцев, много прыщавых, в нарывах, в веснушках.

Это шли люди некрасивые, слабые, люди, рожденные своими мамами и любимые ими. И словно исчезли те, не-люди, нация с тяжелыми подбородками, с надменными ртами, белоголовые и светлолицые, с гранитной грудью.

Как чудно, по-странному, братски похожа эта толпа некрасивых людей на те печальные и горестные толпы несчастных, рожденных русскими матерями, которых немцы гнали хворостинами и палками в лагерь на запад осенью 1941 года.

Сложное, странное чувство испытываешь, глядя на искореженные немецкие танки и грузовики среди снежной степи, на заледеневших мертвецов, на людей, которые брели под конвоем на восток.

Это было возмездие.

Вспомнились рассказы о том, как немцы высмеивали бедность русских изб, с гадливым удивлением разглядывали детские люльки, печки, горшки, картинки на стенах, кадушки, глиняных раскрашенных петухов, милый и чудный мир, в котором рождались и росли ребята, побежавшие от немецких танков.

Немцы несли на шинелях своих товарищей. По их лицам, напрягшимся шеям было видно, что они скоро сами упадут. Их мотало из стороны в сторону. Тряпье, которым они были обмотаны, путалось в ногах, сухой снег лупил их по безумным глазам, обмороженные пальцы цеплялись за края шинели.

– Доигрались фрицы, - говорили одни.

– Не мы их звали, - угрюмо вторили другие.

А потом вдруг счастье захлестывало, - в снежном тумане шли на запад советские танки — злые, какие-то быстрые, мускулистые... Из люков, высунувшись по грудь, глядели танкисты в черных шлемах, в черных полушубках. Они мчались в снежном тумане, оставляя за собой мутную снеговую пену, - и чувство гордости, счастья перехватывало дыхание...

Закованная сталью Россия, грозная, хмурая, шла на запад. Это эпизод одного дня войны под Сталинградом, дня разгрома армии фельдмаршала Паулюса, и это была сушая правда. Правда, которую не скрыть от людей, не убить, не задушить, не закопать.

А вот эпизод одного дня того же времени года из лагерной жизни.

Лагерное начальство устроило показ агитационного фильма.

Гитлеровское командование предлагало военнопленным вступать в ряды «Русской освободительной армии».

«Героические воины России!» - этими словами начинался фильм.

Столь возвышенное обращение вызвало у людей смех и остроты.

– Довоевались... Дух испускают!

– Вот до чего дошло, у советских людей помощи запросили.

«Не опоздайте вступить в ряды Русской освободительной армии.

Сталинград взят доблестными немецкими армиями. В Ленинграде наши войска заняли Кировский завод. Город падет на колени в любой день, когда прикажет фюрер. Вот полюбуйтеь этой картиной...»

Во весь экран легла карта Ленинграда. Жирное кольцо обозначало немецкие войска, замкнувшие осаду. Линия фронта проходила через город.

«Гитлер отдал приказ сравнять город с землей, так как после победы Германии не будет нужды в существовании такого большого населенного пункта».

Действительно, через несколько лет в ходе Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками стал известен секретный документ от 29 сентября 1941 года, подписанный начальником штаба фашистских вооруженных сил. В этом документе с циничной развязностью говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта».

«Выхода у вас нет, - надрывался диктор, - иного спасения тоже нет.

Пожалейте ваши жизни. Подумайте о судьбе родных. Из чувства человеколюбия предлагаем: формируйтесь в дивизии и марш на восток против Советов».

– На испуг берут! - выкрикнул кто-то.

– Насчет Сталинграда вранье. Врут немцы, - уверенно сказал Миша.

– А Кировский завод? Неужели? - усомнился Арно.

– Тоже вранье!.. - сказал кто-то.

На экране замельтешили бои под Москвой, под Сталинградом.

– Вранье все это!... - кричали из толпы.

Миша опустил глаза, вспомнились кадры из другого фильма, последнего, который он смотрел за несколько дней до начала войны, - «Волга-Волга».

Вместе с друзьями он хохотал, когда пароход незадачливых путешественников рассыпался на ходу, и волновался,

когда влюбленные ссорились, вместо того чтобы целоваться.

«Ведь это все было, было! - думалось ему. - Тихие лесные прогалины с желтыми солнечными пятнами на листьях, и любимые книжки, и города, залитые светом. Как не умели мы тогда ценить все это... Да, было, и когда-то еще будет?»

– Будет! - сказал Миша вслух. - Обязательно будет!.. А это все вранье.

– Конечно вранье! - согласился Арно.

Сегодня Миша работал без Арно. С группой военнопленных Арно направили на ремонт разрушенного участка железнодорожного полотна к товарной станции.

Поздно вечером, как только Арно вернулся в барак, он подошел к Мише, взял его за руку.

– Поговорить надо, - сказал он озабоченно.

Забрались на нары в неосвященный угол.

– Есть возможность бежать, - сказал он шепотом.

Миша вспыхнул, но молча смотрел на Арно. Тот сжал его руку:

– Я серьезно... есть выход с товарной станции.

– Через проходную? - пошутил Миша.

– Зачем ты так... По мосту, - на полном серьезе продолжал Арно. - Вдоль насыпи — крытая траншея.

– А до насыпи?.. Там же колючка! - недоумевал Миша.

– Колючка, - согласился Арно. - Но есть канава, по ней можно пролезть...

Слушай, друже, я все продумал, - настоятельно сказал Арно. - Перед концом работы укроемся в люке. Отсидимся, пока все уйдут, и ходу... Я и люк облюбовал. Ну?..

Миша согласился с Арно, но сказал, что нужно все как следует взвесить, продумать и рассчитать.

Выдался теплый мартовский день. И солнце грело сильнее. Оно уже не желтело тусклым пятном в морозном тумане, а светило ярко, по-весеннему. На полях, дорогах и крышах засинел ноздреватый снег.

Колонна военнопленных шла из морского порта на товарную станцию. На душе у людей радость. Они радовались весне, теплему солнцу, а больше всего — победам на фронтах. Об этом они знали не только из газет: было заметно по поведению самих немцев, по их отношению друг к другу, к военнопленным.

Командование частей тыла старалось сберечь, сохранить тот настрой среди солдат вермахта, какой был в прошлом. И, конечно, лишь внешне все шло неизменно. На самом деле огромное количество изменений вторгалось в жизнь солдат частей тыла. Ясно: те, кто прежде ел досыта, теперь ощущали постоянное недоедание; лица голодных и недоедавших изменились, стали землистого цвета. Конечно, изменились немецкие солдаты и внутренне, - притихли спесивые и надменные, хвастуны перестали хвастать, оптимисты стали поругивать самого фюрера

и сомневаться в правильности его политики.

Но имелись особые изменения, начавшиеся в головах и душах немцев, зачарованных бесчеловечностью национального государства. Они касались не только почвы, но и подпочвы человеческой жизни, и именно поэтому люди не понимали и не замечали их.

Этот процесс ощутить было так же трудно, как трудно ощутить работу времени. В мучениях голода, в ночных страхах, в ощущении надвигающейся беды медленно постепенно началось высвобождение свободы в человеке, то есть обезчеловечивание людей, победа жизни над жизнью.

Зимние дни были короткими, огромное делались ледяные семнадцатичасовые ночи. Все злее и злее становился на фронтах огонь советских пушек и пулеметов, все чаще нашествия советских самолетов, а с ними все ожесточеннее наносились бомбовые удары по немецким тылам... Как беспощаден был русский мороз в прожитую зиму, невыносимый даже для привычных к нему, одетых в тулупы и валенки русских людей! Морозная, лютая бездна стояла над головой, дышала неукротимой злобой, сухие вымороженные звезды выступили, как оловянная изморозь, на скованном стужей небе.

Кто из гибнувших и обреченных на гибель мог понять, что это были первые часы очеловечивания многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности?

За последние дни и охрана лагеря заметно сократилась. Да и пленные стали обузой для них, самим есть нечего!

Вот и сегодня колонну сопровождали всего четыре охранника. Четыре на сотню военнопленных!... А еще вчера их было восемь.

– Ни к черту дела у немцев, - сказал кто-то вслух, - видать, всех на фронт поотправляли.

Конвойные шли по бокам колонны: двое слева, двое справа, изредка поглядывали на идущих людей тупым, безразличным взглядом. Вот уже который день Миша и Арно ждали случая, чтобы ускользнуть от охранников. Но слишком много глаз следило за ними. Сейчас же Миша, глядя на конвойных, подумал: пожалуй, сегодня можно будет попытаться счастья.

– Удобный случай, - тихо сказал он Арно.

Видимо, Арно, как и Миша, тоже думал о том же, понял его, кивнул в знак согласия.

Весь день, разгружая вагоны, они приглядывались к местам, где недавно работал Арно. Перед глазами, как на ладони, виднелся мост, на нем фигура часового, насыпь железнодорожного полотна, а рядом забор из колючей проволоки. Едва заметной темной полоской виднелась и водосточная канава от насыпи до приемного колодца ливневки. Арно показал Миша и люк, в котором можно будет с наступлением темноты спрятаться, отсидеться, пока не опустеет станция.

У Миши трещала голова от мыслей и напряжения.

Теперь в беспокойную его жизнь вселилась еще и тревога — огромная, как море: «А вдруг!» Ведь если промах — и ему, и Арно теперь скидки не будет, застрелят на месте.

Это был не страх, страха не было, он ушел куда-то, видимо, вместе с первым побегом, а тревога осталась, притаилась и начала заполнять его голову, проникать в его душу...

Как только стало темнеть и на столбах загорелись прожектора, Миша неотступно стал следить за охранником. Тот сидел неподалеку на железной бочке, поглядывал по сторонам, а иногда поднимался, чтобы размяться, пройтись вдоль вагонов.

Вот он встал, подошел к вагону, в котором работали Миша с Арно, потоптался на месте, что-то пробурчал под нос, поплелся к соседнему...

– Пошли, - шепнул Миша.

Арно подлез под вагон, на четвереньках прошмыгнул на противоположную сторону, за ним неотступно следовал Миша. Вот они поднялись и крадучись прошли между составами до последнего вагона. Подлезли под вагон соседнего состава, по-пластунски проползли мимо тарного склада, снова поднялись, преодолели развалины снесенного бомбой кирпичного здания, и здесь только Арно остановился, перевел дух, прошептал:

– Пришли, вот он...

С трудом Миша поднял крышку люка, Арно спустился в колодезь: «Нормально». Миша прикрыл за собой крышку и наступила могильная тишина.

Так они просидели долго, наверное, до полуночи.

Обнаружили ли немцы их исчезновение, разыскивали ли они их по окончании работы, об этом они могли только догадываться. Снаружи никаких звуков...

Миша приоткрыл крышку, просунул голову, осмотрелся... Ничего подозрительного. Они выбрались на поверхность, подползли поближе к железной дороге, замерли. Мост виднелся чуть правее. С противоположной стороны поднялись на насыпь три немца. Некоторое время они стояли, что-то говорили. Потом разделились: двое пошли по шпалам от моста, а третий, пройдя с десятков метров к мосту, спустился с насыпи и скрылся из виду.

– Часовой меняется, - шепнул Арно. - Сейчас вернется сменившийся. Все это я точно засек, когда работал на железке.

– А те двое? - спросил Миша.

– Патруль они. Меняются на ходу.

Действительно, через некоторое время в том месте, где исчез сменщик часового, появился сменившийся, он прошел тот же десяток метров и удалился.



Подождав немного и убедившись, что движение караульных по насыпи закончилось, друзья крадучись подползли к проволочному ограждению. Почти на ощупь отыскивали канаву, воды в ней не было, был мокрый снег.

Арно разгреб снег руками и подлез под проволоку. За ним следом выбрался на ту сторону ограждения и Миша. У насыпи замерли, долго всматривались в темноту, настороженно прислушивались к каждому шороху

Издали донеслось шарканье сапог по гравию, сначала глухо, потом все явственней. Насыпь была высокая, и снизу не видно идущих наверху. Но по полотну все же шли. Шли от бункера на переезде к мосту. Не дыша Миша вглядывался в сторону идущих, но ничего не увидел. Поддетая сапогом, сверху катилась галька. Идущих было двое. Но вот их шаги постепенно затихли.

– Патрули, - шепнул Арно. - Теперь надо ждать, когда они пройдут от моста.

Минут через двадцать те же шаги по насыпи. Ближе, ближе. Патруль возвращался. Он поравнялся с ребятами... Да, патрульных было двое, - Миша слышал их голоса. Они шагали к бункеру, в котором находилась патрульная охрана участка железной дороги от переезда до моста. Когда шаги постепенно стихли, Арно шепнул Мише:

– Пора.

Они поползли по насыпи к крытой траншее.

Десять метров... Двадцать... Тридцать... Где-то здесь спуск в траншею, немец, шедший на смену, исчезал в этом месте.

Стены узкого земляного коридора забраны жердями. Под ногами чавкает грязь. Вскоре траншея круто повернула. «Значит, мост рядом», - подумал

Арно и пошел медленно, крадучись. У выхода к мосту они замерли...

Вдруг возле тумбы моста возникли очертания часового. С автоматом в руках, фашист повернулся к траншее и направил в нее луч фонарика.

Потом, задрвав голову кверху, зевая и что-то ворча, остановился в двух шагах от Арно. Арно присел, напряжился и вымахнул прямо ему под ноги. Зацепив каской о бруствер, фашист свалился в траншею, туда, где стоял Миша. Тот навалился на немца, прижал его к земле. Спрыгнул в траншею и Арно.

– Держи автомат, - сказал он Мише, схватил немца за горло, с минуту держал не выпуская, потом поднял его, отнес на середину моста и бросил в реку.

Миша случайно обернулся и увидел патрульных — они бежали по насыпи и были уже близко.

– Немцы, Арно! - сказал Миша и кинулся от них по шпалам через мост. За мостом скатился вниз по насыпи к дороге, припустил по ней в сторону видневшихся домов.

Фашисты не отставали от них,

Миша видел: с каждой минутой расстояние между ними и немцами сокращалось. Тогда он присел на колено, дал по немцам очередь из автомата. Один, видно было, упал, второй лег на снег, открыл огонь. Над головой свистели пули.

Пригибаясь к земле, Миша перебежал через улицу. Позади кто-то вскрикнул, он оглянулся, но никого не увидел. И вдруг испугался, что отстал от Арно, побежал быстрее, почти сравнялся с ним, и уже вместе они свернули в переулок.

Впереди сады, снежные поля, лес. Миша обрадовался. Но совсем неожиданно, оттуда, из садов, затрещал автомат, и снова над ними со свистом понеслись пули.

Оба невольно остановились и залегли.

Теперь и спереди и сзади них были немцы. Ребята оказались зажатыми в узком переулке. Оставался один выход: бежать вперед, проскочить сквозь засаду. Бежать на верную смерть...

Миша сорвался с места, кинулся навстречу выстрелам.

Немец выскочил из темноты и преградил ему дорогу. Михаил выстрелил в упор, немец упал. Упал еще один... И Мишин автомат умолк — он выпустил последний патрон. С досады швырнул автомат в снег, перескочил через немца и побежал дальше, в сторону леса...

Сколько времени он так бежал?.. Вдруг почувствовал, что ни бежать, ни идти больше не может. Сердце рвалось наружу, стучало в горле. Шатаясь, он все же сделал еще несколько шагов и упал.

Возбуждение и усталость постепенно улеглись. Миша пришел в себя и осмотрелся. И первое, что почувствовал, - одиночество. Один в большом поле. Где же Арно?..

Выстрелы смолкли, наступила тишина. Налетел легкий ветер, шуршу обледенелыми ветками кустов.

«Где же Арно? Что, если он ранен и ему нужна помощь?..» - подумал и ясно представил, как Арно лежит сейчас в канаве, истекая кровью.

Тогда он поднялся и, прислушиваясь, всматриваясь в темноту, пошел обратно. Вот и забор, вот и переулок. От него расходились в поле слабо наезженные дороги: одна шла вправо, а другая, по которой он бежал, прямо. Миша наклонился и попытался разглядеть следы, но следов много, и трудно было узнать, чьи они.

Прижимаясь к забору, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов, он пошел по переулку. Шел медленно, и переулок показался ему значительно длиннее, чем тогда, когда он по нему бежал. Тогда это было одно какое-то страшное мгновение.

Посреди переулка что-то чернело. Миша подошел поближе. Нет, это не Арно, это лежал немец.

От того места, где все началось, доносились голоса. Немцы могли появиться здесь каждую минуту, Мише надо было спешить. Он прошел до конца переулка,

с минуту постоял в раздумье у развилки дорог и пошел не по той дороге, которой бежал, а свернул направо.

Стоп!.. Мише показалось, что кто-то метнулся с дороги через канаву в кусты. Прислушался... Тихо. «Идти дальше или вернуться?» Пошел вперед, решил, что немец прятаться не стал бы. Поравнявшись с кустами, остановился...

– Друже, ты? - еле слышно раздалось из кустов.

От радости Миша кинулся через канаву, помог Арно выбраться на дорогу.

Они шли остаток ночи и весь день. Часто останавливались, отдыхали. Арно шел легко, и Мише казалось, что если бы не он, Арно всю дорогу бежал бы.

«Железный он, что ли?» - подумал Миша.

Тропа привела их к куче аккуратно распиленных и уложенных дров. В этих местах крестьяне заготавливали дрова — дорог было много. Они перекрещивались, заводили в тупики или просто терялись в лесу, в непролазном снегу...

Так они блуждали до самого вечера. Оба очень хотели пить.

– Это от голода, - сказал Арно.

Пробовали есть снег, но он не утолял жажду.

С каждой пройденной верстой Миша чувствовал все большую усталость.

Устал, судя по всему, и Арно. Теперь они уже не стремились попасть в какой-нибудь хутор к вечеру, а шли как попало, часто отдыхали. Только после каждой остановки идти было еще тяжелее.

Наступила ночь. Они боялись сбиться с тропы, а идти в темноте было особенно трудно. И вскоре совсем выбились из сил.

– Давай передохнем, - сказал Арно.

Усталые, они уселись на валежину и долго сидели молча, в растерянности. Что делать? Надо было поспать часок-другой, поесть бы не мешало. Но улечься на снег — замерзнешь. А о еде можно было только мечтать.

Первым поднялся Арно и протянул Мише руку:

– Пошли, друже...

К утру они очутились на дне большой котловины, посреди чистого снежного поля, окруженного кольцом покрытых лесом холмов. Они отгородили их от всего мира. А что если за этими холмами опять такие же — и так без конца?..

Вот и день начался.

– Не могу больше!.. - пошевелил Миша губами и свалился в снег.

– Что ты, друже!.. - Арно поднял его, наломал лапника, и они долго, до самой ночи, сидели на нем, дремали, прислонившись спина к спине.

«Даже костер разжечь нечем», - подумал Миша.

Арно поднялся, помог подняться Мише...

Неожиданно лес кончился, под ногами стало меньше снега.

Они зашагали по ровной поляне, удивляясь легкости своих шагов. Неужели перевал?.. Миша боялся верить. Вдруг опять какая-нибудь ложбина? Но как хорошо идти! Нет, это все же перевал!..

Он огделся и увидел не только над собой, но и впереди темное небо. И там вдаль... Что это? Огонь? Далеко-далеко, где-то ниже горизонта, огонь. Миша нагнулся, и огонь сразу исчез, скрывшись за вершинами деревьев, растущих ниже по склону холма. Миша снова выпрямился и увидел маленькую светлую точку.

– Огонь!.. - не выдержав, радостно закричал он во весь голос. - Арно! Друг ты мой хороший!..

Спустились вниз по склону, не разбирая пути. На этой стороне было меньше снега, склон был значительно круче и путь во много раз короче. В спешке Арно наткнулся на дерево и сильно ушиб плечо. Но все это не имело значения. Впереди был свет, он приближался, становился все ярче. До света манившего их, оставалось не больше ста шагов. Он лился из окна одиночного дома.

Подошли поближе. Окно не завешено. В глубине дома за покрытым белой скатертью столом сидела пожилая женщина. Ее седые волосы были растрепаны, она казалась безумной.

Арно постучал.

– Кого Бог послал? - спросила женщина по-эстонски.

– Свои мы, бабуся, - отозвался Арно. - Отдохнуть бы...

Дверь отворилась, они вошли в дом.

- Проходите, божьи души, - равнодушно сказала женщина уже на украинском. - Сядьте.

Уселись на стоящую возле окна скамью. Сидели и не спускали глаз с женщины. Она снова уселась за стол и, подпершись ладонями, уставилась в передний угол, где висела массивная, обвешенная полотенцами икона.

Они готовы были так просидеть всю ночь, - все лучше, чем бродить по лесу!.. В доме было тепло, они быстро согрелись, и их потянуло ко сну.

Миша кивнул Арно на пол, и оба, словно по команде, улеглись на полу, незаметно уснули...

Проснулись под вечер следующего дня. Вышли из дома, умылись холодной водой. На улице неудержимо таял снег. Всюду блестели большие лужи. Только в тени забора и дворовых построек кучи грязного, слежавшегося снега все еще упорствовали, не сдавались ранней весне. Во дворе оглушительно кудахтали куры и, шумно хлопая крыльями, то и дело горланил петух. Через дощатый забор Миша увидел, как хозяйка дома заботливо купала в медном котле маленького белого поросенка. Перепуганное животное делало отчаянные усилия, чтобы вырваться, издавая душераздирающий визг. Миша усмехнулся: «Война войной, а поросенка купать надо».

Единственная обитательница хутора — худая морщинистая женщина лет шестидесяти. Они познакомились: Ганна Тиукс.

Много лет назад переехала она в этот уголок Эстонии из-под Киева с отслужившим солдатом Тойво Тиуксом, да так и осталась на всю жизнь. С помощью Арно хозяйка быстро управилась по хозяйству, молча развела на дворе костер, поставила на камни большой чугунок с водой и принялась резать капусту. И Миша решил помочь. Взял старый заржавелый топор, пошел рубить валежник. Пока нарубил охапку сучьев, хозяйка успела сварить ужин.

Борщ получился густой и удивительно вкусный. Ели его не из котелков, а из глубоких тарелок. Ели молча и сосредоточенно. Сидели за столом неуклюже, вспотевшие от неловкости и горячей пищи. Поев, вразнобой поблагодарили женщину и снова улеглись прямо на полу. Ни о чем не спросили ее, и она ни о чем их не спрашивала. Все было как-то ясно и без разговора.

За занавеской возле печи Ганна Тиукс позвякивали посудой. Потом притихла. Арно сразу уснул, а к Мише сон не приходил. Он тихо поднялся и вышел за занавеску. При свете коптилки хозяйка рассматривала фотокарточки. Миша присел к столу на табурет и посмотрел на хозяйку. Подбородок ее трясся мелкой дрожью, а из глаз бежали слезы. Она не всхлипывала и не стонала. Она просто тряслась от слез.

- Не надо, мать, - сказал Миша. - Может, что мы не так?

- Ни... ни то. Седай, - ответила она. - Жалко мне вас... - И, смахнув передником слезы, протянула Мише фотокарточки: - Дивись вот... В черной резной рамке под стеклом Миша увидел парня с девушкой. Парень в белой рубашке, в брюках навыпуск, в хромовых сапогах. И девушка — радостная, с ямочками на щеках.

- Это кто? - спросил Миша.

- То сын мой, - она ткнула пальцем в изображение парня, - а то дочка моя. Убили их нехристи... Убили, як в хутор прийшли.

Миша подождал, пока исчезнет комок в горле, и спросил вдруг охрипшим голосом:

- За что их?

- О-ох, сынку, не спрашивай! - простонала хозяйка, уткнувшись лицом в передник.

Мише хотелось утешить женщину, а слов не было. Тогда он осторожно поднялся и пошел к Арно. Так до утра и не уснул. В эту длинную ночь он дольше всего думал о своей матери.

«Упрямый характер, замкнутый!» - писала мать в начале войны. «В самом ли деле у меня такой характер? - думал Миша удивленно. - И правда ли то, что я с душой отдаюсь всякому делу, с которым соприкасаюсь?»

Миша этого не знал, а мать знала. Он невольно улыбнулся: «Эх, мама! Видела бы ты сейчас меня!.. Лучше всяких слов объяснило бы тебе, каков я стал за это время...»

Право посылать на смерть во время войны отвергают матери. Но и на войне встречаются участники «материнского подполья». Такие люди говорят: «Сиди, сиди, куда ты пойдешь, слышишь как бьет. Подождут они там моего донесения, а ты лучше чайничек вскипяти». Такие люди рапортуют в телефон начальнику: «Слушаюсь, есть выдвинуть пулемет», - и, положив трубку, говорят: «Куда там его без толку выдвигать, убьют же хорошего парня».

Вдали от родного очага помнится всегда светлое и хорошее, чему ты обязан лучшим в себе. А горечи и обиды тогда возрождаются в памяти и вызывают боль по утраченному, когда ты на месте убеждаешься, что ничего уж из того, чем ты жил, нет. Все погублено, и неоткуда теперь ему взяться...

И тут совершенно неожиданно у Миши возникла тоска по дому, по своему поселку. В этой тоске вспомнились и друзья детства... Будто все они так и живут там, в поселке, и ждут его. Грезилось озеро, леса, поля и луга. Болота с клюквой и морошкой. Это было его детство, оно жило в его памяти. Ему страшно захотелось побывать там... Увы! Эта мечта несбыточна, как несбыточен возврат в детство.

Несколько дней друзья восстанавливали свои силы на хуторе Ганны Тиукс. Провожая их, она глухо и безысходно жаловалась на свою долю, ни на что уже не надеясь. По ее старушечьим рыхлым щекам скатывались выжатые горем из мутных глаз слезы.

Потом еще долгое время из Мишиного сознания не выходила эта бабушка Ганна Тиукс: стояла на крыльце, глядела им вслед невидяще, глухо подвывала. И ему, уходившему, все время хотелось оглянуться... И потом, на всем пути, тоже хотелось оглянуться, когда он думал об этом своем уходе...

И снова потянулись болота, заросли, бесконечные лесные тропы, перекрытые горбами заледеневшего снега. Ноги скользили, расползались, Ветви деревьев то и дело хлестали по лицу. Сбиваясь с пути, они шли на восток...

Единственным ориентиром для них были солнце днем и звезды ночью. Весной погода в Прибалтике бывает изменчивой. Небо часто закрывают набухшие дождем тучи. Вот тут-то и начинались их мучения.

Проплутав и вконец обессилив и изголодавшись, они вышли к дороге, надеясь встретить какое-нибудь селение.

– Тут одни хутора, да и то разбросаны друг от друга, - сказал Миша. Арно кивнул в знак согласия.

Поднялся ветер, пошел мелкий дождь.

Из придорожного лесочка они заметили впереди силуэт человека. Спрятались за кустами, и вскоре с ними поравнялась пожилая женщина, она шла, опираясь на палку.

Арно вышел из кустов. Женщина остановилась, посмотрела на него:

– Мисс сюлле, пояке?

– Село далеко? - спросил Арно на эстонском.

Женщина внимательно посмотрела на него и, подумав, сказала:

- Верст этак с десяток... А что ты, сынок, в селе-то забыл?.. Все из села, а ты в село... Нельзя нынче в селе жить, там люди в волчьей шкуре хозяйничают. Волки, сынок, волки в селе... - Она подошла к Арно поближе, заглянула ему в глаза. - В лесу надо, в лесу, сынок, - сказала она подавленным голосом.

– Живот пуст, бабушка, - сказал Арно, - вот и тянет в село.

- На-кось вот сухарик, погрызи и — в лес... Нельзя нынче в село, там волки...

Дрожащей рукой женщина вынула из торбы сухарь, протянула его Арно и поплелась по размытой дождем дороге.

Сухарь был присыпан крупной солью, прикипевшей, но не растворившейся в хлебе. Грызть и сосать его было великим наслаждением. Арно разделил сухарь на две равные части, и они снова пошли вдоль дороги. Но в лесу было намного тише, чем на открытой местности. Начался уже настоящий ливень с холодным ветром. Ветер с каждой минутой все усиливался, даже дышать было трудно. А кругом тьма и дождь. Только слегка поблескивала дорога, похожая на речку. Потом лес неожиданно оборвался, вышли на открытую поляну. Начался подъем в гору. Они долго карабкались по крутому склону, ноги скользили по глине.

С горы показались мерцающие огни.

- Ну вот и село! - радостно воскликнул Арно. - Хорошо, что перекусили, иначе бы не дошли, - пошутил он. - Отдохнем, согреемся.
- Миша всматривался в мерцающие огоньки села и не двигался с места.
- Что загрустил, друже? - подбадривал его Арно. - Пошли!
- Кто знает, что нас ждет за этими огнями — не торопился Миша. - Предчувствие у меня недоброе... Слышал, что старушка говорила?..
- Слышал... А куда деваться, голод не тетка... Отдохнем, согреемся, - повторил он.

И Миша понадеялся на русский «авось»...

Огоньки становились все ярче. Где-то совсем близко залаяла собака. Свернули с дороги к сараям, под ногами захлюпала вода. Собаки еще громче подняли лай. Подошли к высокому забору, остановились... В какой дом зайти? Как угадать, за какими огнями не поджидает тебя враг? Пошли вдоль забора... Первый дом. Пройти мимо или завернуть?.. Окна поблескивали тусклым светом.

- Рискнем? - спросил Арно. - По огню вроде бы свои люди.
- Миша пожал плечами. Недобрые предчувствия сковали его.
- Крыльцо. Тихо поднялись, Арно постучал...
- Кес? - раздался из-за двери мужской голос.
- Переночевать бы? - спросил Арно.

С легким скрипом отодвинулся засов.

– Входите, - пропустил их в сени хозяин.

В темноте не видно, кто он, молодой или старый, свой или чужой.

– Проходите, проходите... Не стесняйтесь! - подбадривал хозяин, чувствуя какую-то неуверенность у пришлых.

– Темно здесь, как бы не стукнуться обо что, - слукавил Арно.

Разговаривал с хозяином Арно на родном языке. Миша молчал, при свете керосиновой лампы рассматривал его.

Лицо гладкое, будто со скул, со щек, с вылепленного напоказ лба, с плоского, обрубленного подбородка смыли что-то старательно. А потом разгладили на этом лице кожу... Человек пожилой, если внимательно посмотреть. А так, на первый взгляд, не скажешь о возрасте. А глаза?..

Вроде они и не глядели, только были на его лице. Взгляд выражал притворную услужливость. И губы подчинялись этому взгляду.

Искривленные, подобранные. Натренированные. Они были готовы тут же улыбнуться и выказать порочную ласковость лица. «От человека с такими губами не жди пощады...» - подумал Миша. Кожа бледная, как выдубленная овчина. Волосы выцветшие. Анемичность лица и белесость волос еще глубже прятали нутро этого человека.

Миша перевел взгляд на Арно. Тот тоже внимательно смотрел на хозяина.

– Подмочило вас подходяще! - сказал хозяин. - Так и богу душу отдать не долго! Снимайте одежду, посушим ее мигом...

Он без толку крутился по комнате, не зная за что взяться.

Друзья стояли в нерешительности: раздеться, или подождать? Хозяин не внушал доверия.

– Да вы, я вижу, с оглядкой? Здесь на вас некому смотреть. Подберу что-нибудь взамен...

Через минуту у их ног валялась куча всякого тряпья.

Они быстро переоделись, уселись на скамью возле печки.

– Ну вот, теперь другое дело, - улыбнулся хозяин. - Поди, есть хотите?..

– Да не мешало б, - сказал Арно.

– Сообразим и поесть. Слава богу не голодаем, фашисты нас не беспокоят... Почти не заглядывают.

– Как не заглядывают? - удивился Арно. - А кто ж здесь хозяйничает?..

– Да никто. Как перед войной, так и сейчас, - убеждал хозяин.

Трудно было поверить в правдивость его слов.

Хозяин налил горячих щей, нарезал хлеба и, садясь с ними за стол, стукнул себя по лбу и выругался:

– Старый дурак, чуть не забыл! У меня в погребе огурчики! Вы начинайте, я мигом...

– Не верю я этому человеку ни на грош, - сказал Миша, быстро поднялся из-за стола, осмотрел комнату: ничего подозрительного. Взял со стола лампу, заглянул за перегородку...



На массивном металлическом крюке висели немецкий френч с голубой повязкой на рукаве и фуражка с голубым околышем.

Миша шарахнулся из передней:

– Он же полицаи, Арно! Бежим, - и кинулся к двери.

В сенях что-то загрохотало, на улице яростно залаяли собаки.

– В окно, друже! - крикнул Арно.

Миша распахнул окно, и они вымахнули через него в сад.

Не успели сделать и несколько шагов от дома, как с яростным лаем накинулись на них собаки. Они повалили обоих на землю, кусали, рвали одежду...

– Хенде хох!

В отношении хозяина дома Миша ошибся. Это был не полицаи, а бургомистр. Немцами была составлена специальная инструкция о правах и обязанностях человека, занимающего этот пост. Инструкция гласила:

«Германское военное учреждение назначением оказывает большое доверие личности, занимающей эту должность. Бургомистр должен вести списки всех ненадежных или подозрительных элементов. Появляющихся незнакомых людей немедленно арестовывать и доносить об этом коменданту...»

Мишу и Арно ввели в помещение — прямоугольник с дощатым полом, застеленным соломой. На полу лежали три человека. Миша мгновенно ощутил: все трое посмотрели на вошедших с человеческим интересом. Обитатели КПЗ были людьми, плохими ли, хорошими — Миша не знал, но хорошее, плохое, безразличное, что исходило от них и шло к нему, было человеческим.

Миша сел на свободное место, указанное ему. Арно сел рядом, а трое сидевших на полу молча смотрели на них. И то дивное, драгоценное, что Миша, казалось, терял, - вернулось.

Один был массивный, лобастый, с бугристой мордой, с массой полуседых, по-бетховенски спутанных курчавых волос над низким, мясистым лбом.

Второй — постарше, с бумажно-бледными руками, с костяным лысым черепом и лицом, словно барельеф, отпечатанный в металле, словно в его венах и артериях тек снег, а не кровь.

Третий, сидевший рядом с Мишей, был милый, с красным пятном на переносице от недавнего удара, видимо, кулаком, несчастный и добрый. Он показал пальцем на дверь, едва заметно улыбнулся, покачал головой:

– Там еще кто-то есть или вы последние?

– Последние, - сказал Арно нехотя.

– Ну что ж, - сказал человек со спутанными волосами лениво и добродушно, - позволю себе от имени общественности приветствовать вооруженные силы. Откуда вы, дорогие товарищи?

Миша смущенно улыбнулся, ответил:

– Из Ленинграда.

- Ого, приятно видеть участника героической обороны. Добро пожаловать в нашу хату. А вы? - спросил он Арно.

Арно молча пожал плечами.

– Я знакомлюсь с вами к тому, чтобы знать, с кем завтра пойду в преисподнюю, - сказал курчавый, оправдывая свое любопытство. Действительно, на следующий день обитателей КПЗ вывели во двор. Подошла машина, в ней сидел эсэсовский офицер. Не открывая дверцы, фашист высунул голову. Его взгляд как молния скользнул по толпе.

– На свободу захотели? Вы все получите ее!.. - резко выкрикнул он. Всех загнали в кузов крытой автомашины, закрыли дверцу и повезли за пределы поселка.

Машина мчалась с бешеной скоростью, не замедляя хода даже на крутых поворотах. Фашисты спешили выполнить приказ эсэсовского офицера скорей выпустить всех на свободу.

Люди сидели молча, опустив головы, все были заняты своими мыслями, прощаясь с жизнью...

- Что загрустили, друже?! - нарушил тишину Арно. - Давайте песни, легче на душе будет... Как говорится, умирать, так с музыкой!

Слова Арно вывели людей из раздумья.

– Споем... А чего ж не спеть, запевай!

И Арно запел:

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой...

Все разом подхватили песню, и хор голосов заглушил рев моторов:

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег, на крутой.

Не воплем, не стоном отчаяния звучали голоса...

Миша не заметил, как остановилась машина, да, пожалуй, и никто этого не заметил. Громкий окрик: «Шнель! Шнель!» прервал песню.

...

Дальнейшее произошло в одну минуту.

Людей поставили на бруствер старого, осыпавшегося окопа, лицом к строю немцев. За окопом заболоченная равнина, поросшая мелким кустарником, впереди густой сосновый бор. Офицер-эсэсовец, оберлейтенант, поднял руку. Одновременно солдаты-исполнители подняли свои автоматы, направили дула в лица стоявших перед ним людей.

– Да будьте вы прокляты, сволочи! - крикнул Арно.

Фашист опустил руку, мгновенно прозвучал оглушительный треск автоматов...

Земля вместе с лесом закружилась у Миша в глазах, в ушах раздался пронзительный свист. И последнее, что ему запомнилось в тот миг, было страшное ощущение, что летит он не вниз, а вверх, туда, где в рваной бесформенной дыре светило небо, озаренное нежным светом заходящего солнца...



**Здравствуй, жизнь!**

Соловей запел на заре, засвистел, защелкал. Миша лежал на дне окопа рядом с телами товарищей, присыпанных тонким темно-серым слоем сухого песка. В голове его жил шум листьев, и свет луны, и пшенная каша с молоком, и гудение огня в печке, и отрывки мелодий, и собачий лай, и ненависть к рабству, и все, что было когда-то и осталось в сознании.

Будто бы где-то рядом звучит задушевная песня, когда-то им тоже слышанная в детстве. Казалось, что не тонкий голос старца стонет и рассказывает про горе и тоску, а будто стонет все кругом: стонет темная ночь, запахом весенних трав пропитанная; стонет лес, черной стеной в стороне, за рекой, притаившийся; стонут кузнечики, неумолимым стрекотом наполнявшие ночную тьму; стонет опрокинутый над уснувшей землей черный полог ночи, расшитый трепещущими звездами.

И со дна моря, из холодной тьмы поднимались на поверхность забытые чувства, высвобождались мысли, о которых давно не было воспоминаний... Они не давали ни радости, ни легкости. Но сила их была человеческой силой, то есть самой большой силой в мире.

Потом он попытался подняться, но сил хватило только встать на колени. Легонько, чтобы не причинить беспокойства, поправил воротничок на куртке рядом лежащего товарища.

Внезапно хлынула носом кровь. Миша оторвал лоскут от рубахи, приложил к носу. Тряпка сделалась тяжелой, вся намокла. У него закружилась голова, в глазах помутилось, и на короткое мгновение показалось, что снова теряет сознание. Он зажмурил глаза, а когда открыл их, мир, оживленный его страданием, уже исчез, лишь серая пыль, подхваченная ветром, кружилась над траншеей.

Миша поднес тряпку к глазам, они были сухими, а тряпка мокрой от крови. Он ощутил, что лицо в липкой крови, и сидел, сутулясь, смиряясь, не по своей воле делая маленькие первые движения к осознанию того, что произошло с ним. Он сидел рядом с телами людей, видел свои грязные руки, валяющуюся на земле шапку, у него онемели ноги, он ощущал, что лицо его запачкано. В горле все пересохло, першило.

Ему было все равно. Скажи ему кто-нибудь, что кончилась война, очутись рядом с ним стакан горячего молока, кусок теплого хлеба, он бы не шевельнулся, не протянул бы руки. Сидел без тревоги, без мыслей, они ушли куда-то в бездну. Все было безразлично, не нужно. Одна лишь ровная мука сжимала сердце, давила на виски.

Он не думал, у него не было воли. Ничего у него не было.

Потом Миша все же встал, стряхнул заочневшими руками землю с одежды, вылез из окопа и ползком добрался до кустов. Укрывшись в кустарнике, разорвал рубаху, с трудом сделал себе перевязку.

На большее не хватило сил. От малейшего движения рана на груди кровоточила.

Время шло, а он лежал и даже не пытался подняться. Горизонт все больше окрашивался в темно-розовый цвет.

Наконец, он собрал всю оставшуюся силенку, все, что у него было в запасе, поднялся, сделал несколько шатких движений и медленно пошел в глубь леса...

Каждый сделанный шаг, каждое движение резали грудь. Да еще этот мелкий кустарник и сухой валежник... Они мешали переставлять ноги.

Недавно прошел дождь, повсюду на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, блестели и глухо капали крупные капли. Они его освежали, прибавляли сил. Раза два выглянуло из-за туч солнце. Сначала оно было справа от Миши, потом, описав полукруг, оказалось слева. Плохи были его дела! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в лес, а вокруг никаких признаков жизни.

Лес кончился, пошли кусты, а между ними сплошной ковер брусничника. На нем прошлогодние ягоды. Это было кстати — сколько дней он ничего не ел?..

Почти ничего, если не считать ужина у бургомистра.

Что-то неподвижно темное лежало на полянке за кустами. И всякий раз, когда, навалившись на палку, Миша тянулся за ягодой, этот неподвижный предмет почему-то беспокоил его. Потом Миша забыл о нем — и снова вспомнил с неприятным чувством. Даже дрожь прошла по спине.

Несколько ягод упали в траву. Он стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула прямо в сердце: это был человек. Теперь Миша шел к нему как мог быстро.

Человек лежал на спине с раскинутыми руками. Арно!.. Миша потянулся к нему, расстегнул ватник. Пули попали ему в живот... Видно, сил хватило, чтобы выбраться из окопа, добраться до этого места.

«Эх, Арно, Арно! Друг ты мой хороший!» - он прижался ухом к груди...

Услышал слабое, едва уловимое постукивание сердца. Выдернул клочок мокрой травы, приложил к голове Арно. Никакой реакции... И когда уже казалось, что веки его не приоткроются, он вдруг вздохнул, вздрогнул и с усилием открыл глаза. Свет вместе с воздухом вошел в него и задержал жизнь в теле... Так это все увиделось Мише.

- М-и-иша?! - едва слышно произнес Арно. Губы у него слипались, он с трудом выговорил это слово. Дышал все тяжелей, закрывал глаза. И Мишу охватила тяжелая, с болью в груди, скорбь по товарищу... Он никогда еще не видел так вот мирно, в лесу, умирающего человека, перед кончиной торопившегося сказать то, что нельзя с собой унести.

- Арно! Тебе нельзя говорить, помолчи... Я помогу тебе. - Миша закрыл его рот ладонью. - Нельзя, Арно! Побереги силы.

Арно положил свою руку на Мишину, отвел ее от лица.

- Прошу тебя... - пытался он все-таки что-то сказать. Но рука как-то сразу обмякла, пальцы разжались, глаза остановились.

- Арно!.. - Миша снова прильнул к груди, но сердце его уже не стучало...

И Мишу ошеломило непостижимое, пугающее своей невозвратностью: только было с ним рядом одно, привычное,

вдруг на его глазах превратилось совсем в другое — стало вечным и неживым, ненужным в этом мире, из которого и он сам. Так и с ним случится... И тут же с какой-то определенной ясностью он осознал, что Арно все что-то хотел ему сказать особо важное. Но так и не сказал... Миша каялся перед кем-то невидимым и несуществующим, чтобы тот простил ему грех, что сдерживал Арно, не давал ему выговориться. И из-за этого Арно не дожил, не доделал чего-то важного в своей жизни...

Миша надергал брусничника, накрыл им своего друга. На большее его не хватило.

«Я вам постараюсь вспомнить все. Все. Все... - билась в глубине меркнувшего сознания мысль. - Все... И Арно тоже...»

Передохнув пошел дальше, шел и разговаривал. Это был бред, подступивший удивительно незаметно. С ним Миша уже не мог бороться, потому что бороться надо было с одним непреодолимым желанием: отшвырнуть палку, натершую на руках водяные мозоли, и опуститься на землю. Она была покоем и счастьем...

Миша лежал, смотрел в небо, которое все синело и уходило от него среди трепещущих жидких осин.

Запутывалось и переворачивалось все в сознании. Возник, как эхо в безлюдном храме, разговор с матерью. Что-то нежное и сдержанное промелькнуло в душе: «Мама». Это был уже сон... Мише не хотелось расставаться с этим сном, он держал мать за руки, не отпускал от себя...

Открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. Миша почувствовал, что не один на этой поляне. Повернул голову — рядом, рукой подать, сидела огромная кошка. По крайней мере ему так показалось. Это была рысь, она смотрела на него. Потом, почувствовав что-то, оскалила зубы, приготовилась к прыжку. Миша закрыл глаза: «Будь что будет, а сопротивляться не могу».

Прыжок... На него посыпались сухие листья, ветки. Миша открыл глаза... Рысь сидела на дереве, спокойно смотрела вниз, на него. Он снова закрыл глаза, затаил дыхание. Послышался треск сучьев, рысь перемахнула на другое дерево, дальше, дальше и вскоре скрылась из виду.

Миша поднялся, сделал шаг...

Это была не та боль, что без промаха бьет куда-то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали его грудь на части. Он сделал второй и третий шаг...

- Выдюжу! - сказал он вслух и сделал четвертый.

Солнце стояло довольно высоко, когда добрался он до опушки, за которой открылось болото, пересеченное единственной полоской примятой мокрой травы. Красивые зеленые кочки-шары виднелись здесь и там. По ту сторону болота он увидел большое озеро. Не обращая внимания на болото, он пополз ближе к воде. Добравшись, жаднопил чистую холодную воду. Потом окунул голову, руки...

Голод, подобно воде, постоянно и естественно связан с жизнью, и вдруг он превращается в силу, уничтожающую тело,

ломающую и коверкающую душу, истребляющую многомиллионные массы. На пятый день пути Миша набрел на расположенный возле леса хутор. Дверь в дом была полуоткрыта, он вошел в сени, никто его не окликнул, и Миша прошел в комнату.

Тепло пахло на него. Голова закружилась, и он лег на лавку у двери. Миша тяжело и быстро дышал, оглядывал белые стены, иконы, стол, печь. Все это потрясло после лагерных загонов.

В окне мелькнула тень, и в дом вошла девушка, увидела Мишу и воскликнула:  
- Кто вы?

Он ничего не ответил. Ясно было, кто он.

В этот день не безжалостные силы могучих государств, а молодая девушка решала его жизнь и судьбу.

Солнце глядело из серых облаков на весеннюю землю, и ветер, тот, что дул над колючей лагерной проволокой, над траншеей, заполненной телами казненных, сейчас подвывал под окошком дома.

Девушка дала Мише кружку молока, и он, жадно и трудно заглатывая, стал пить. Выпил молоко, и его стошнило. Его выворачивало от рвоты, глаза плакали, и он, словно кончаясь, с воем втягивал в себя воздух, и его опять рвало. Миша старался удержать рвоту, в голове была лишь одна мысль: хозяйка выгонит его, поганого и грязного.

Он видел воспаленными глазами, что она принесла тряпку, стала подтирать пол. Хотел сказать ей, что сам все почистит, вымоет, только пусть не гонит его. Но лишь бормотал, показывая дрожащими пальцами.

Время шло. Девушка то выходила, то входила в дом. Она не гнала его. Может быть, она попросила соседку привести немецкий патруль, позвать полицейев?

Хозяйка поставила в печь чугунок с водой. Стало жарко, пар задымился над водой. Лицо девушки казалось нахмуренным, недобрим.

«Выгонит, и дезинфекцию после меня делать будет», - подумал Миша.

Девушка достала из сундука белье, брюки. Она помогла Мише раздеться, свернула в узелок его белье. Он ощутил запах своего грязного белья, пропитанных мочой, кровавыми испражнениями подштанников.

Девушка помогла Мише сесть в корыто, и его изъеденное вшами тело почувствовало прикосновение ее шершавых, сильных ладоней, по плечам и по груди его потекла мыльная теплая вода. Он вдруг захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, он вскрикивал: «Мама... Маменька...

Маманька!»

Она вытерла серым холщовым полотенцем его слезящиеся глаза, волосы, плечи. Намазала медом и туго перевязала рану. Подхватив Мишу под мышки, посадила его на скамью и, нагнувшись, вытерла его похожие на палки ноги, надела рубаху и подштанники, застегнула белые, обшитые материей пуговицы. Вылила из корыта в ведро в черную, поганую воду и унесла ее. Она постелила на полу овчинный кожух, накрыла его полосатой простыней, сняла с кровати большую подушку и положила ее в изголовье. Потом легко, как куренка, приподняла

Мишу и помогла ему улечься в постель.

Миша лежал в бреду. Его тело ощущало невыносимую перемену, - стремление безжалостного мира уничтожить замученную скотину перестало действовать.

Но ни в лагере, ни в дороге он не испытывал таких страданий, как сейчас, - нестерпимо ломило в груди, ноги томились, ныли пальцы, ломало в костях, подкатывала тошнота, голова наполнялась сырой, черной кашей, то вдруг, легкая и пустая, начинала кружиться, глаза резало, била икота, нутро наполнялось дымом, и казалось, пришла смерть.

Пришел в себя в комнате на постели, бережно укутанный одеялом. Первое, что ощутил, озноб. Миша чувствовал его еще во сне, и это было похоже на мучительное сновидение, от которого хочешь и не можешь избавиться. Потом понял, что знобит от ран и потери крови.

Миша открыл глаза, потом услышал тихий, домашний разговор. На дощатом, покрытом половиками полу лежали ломаные квадраты солнечных пятен. Из окна было видно чистое голубое небо... Низкий побеленный потолок, через окна светили лучи утреннего солнца.

На нем чистое бязевое белье, грудь забинтована. Голоса приглушенные, мягкие... Слов разобрать не мог, но его обдало такой радостью, таким блаженством, что из горла вырвался стон.

Хотел приподняться и вдруг резко, будто от толчка, повернулся: рядом сидела девушка — румяная, в белой кофточке; и вдруг увидел, что смотрят на него прекрасные, умные и грустные глаза, каких он не видел в жизни.

- Где я? - еле слышно спросил Миша.

Девушка склонилась над ним, поправила одеяло.

Как тебе олете венелане?! - удивилась она и, не дожидаясь ответа, сказала уже по-русски: - Не бойтесь, немцев здесь нет.

- Куда я попал?!

Девушка пожала плечами, а потом, словно вспомнив что-то, сказала:

- В лесу вы, на берегу озера... в доме лесника-рыбака. Мы здесь только с дедушкой... Не бойтесь, - добавила она, - немцы сюда не заходят.
- Не заходят? - удивился Миша. - Меня только что здесь расстреляли...
- Что вы, - улыбнулась девушка, - здесь вы уже давно, вторую неделю. А стреляли в вас где-то в другом месте, не у нас. - Она снова наклонилась к Мише, прикоснулась к его щеке: - У вас жар. Лежите спокойней, не раскрывайтесь...

На ней была эстонская сорочка с широкими, напускными, перехваченными у запястья рукавами и темно-красная юбка.

Миша закрыл глаза.

В доме топилась печь, подле нее возился хозяин, маленький старичок.

- Так ты сходи, Юля, принеси, - услышал Миша голос хозяина.
- Я сейчас, сейчас! - ответила девушка тихо и так же на эстонском.

Хлопнула дверь, девушка промелькнула в низком окне.

«Есть же на свете такие красивые», - подумал Миша.

Хотел снова заснуть, попытался устроиться так, чтобы было теплее,



но ничего не получалось. Услышал шаги, открыл глаза, увидел в дверях ту же девушку в красивой сорочке. Она подошла, села на табурет, начала с ложечки поить Мишу теплым молоком. Он хотел подняться, но она остановила его:

– Что вы, вам нельзя.

Кто-то хлопнул дверью, заскрипели половицы.

– Юля! - послышалось за дверью.

Девушка встала, поспешно вышла из комнаты.

Сумерки быстро окутывали комнату. Со своей постели Миша видел кусок черного неба — надвигалась гроза. По стеклам забарабанили первые крупные капли дождя. Где-то совсем близко послышались раскаты грома. Он приподнялся, чтобы встать и закрыть форточку, но тут же от острой боли снова потерял сознание...

Проснулся от солнечного света. Яркое солнце светило прямо в глаза — горячее, лучистое. Окно было распахнуто. Миша удивился изменившейся природе за окном — все было зелено и, главное, тепло. Сколько же он времени снова пребывал в забытьи, если природа могла так измениться?

Миша не слышал, как открылась дверь, но вдруг почувствовал, что не один в комнате. Повернул голову, увидел Юлю. Она показалась ему еще красивее. Среднего роста, худенькая, стройная. У нее были живые голубые глаза.

Мише не хотелось, чтобы она уходила, и он протянул руку. Девушка с улыбкой подошла, Миша тоже улыбнулся ей, слегка кивнул головой.

– Присядьте ко мне! - попросил он.

Юлия села на край постели. Она не то боялась, не то смущалась взглянуть на Мишу, и он видел только ее профиль.

Минуту-другую молчал, почувствовал неловкость молчания, сказал первое, что пришло ему в голову:

– На дворе солнечно?

– Да.

– И ветра нет?

– Нет.

Но продолжать разговор о погоде было смешно. Миша помолчал, потом спросил:

– Вас Юлей ховут?

– Юлей... А вы откуда знаете? - удивилась она.

И снова наступило молчание. Разговор держался словно на ниточке. В довоенные годы Миша был еще молод и ему не приходилось ухаживать за чужими девушками, поэтому чувствовал неловкость, не знал, о чем говорить.

Мать учила его называть незнакомых людей на «вы», а перед Юлей ему не хотелось ударить в грязь лицом, и он говорил ей «вы», хотя это было как-то очень уж вежливо.

- Вы все время здесь живете? - продолжал Миша.
- Раньше в городе жили... Как началась война, отец привез нас сюда, к дедушке, а сам уехал на фронт.  
И почему так трудно говорить с девушкой, да еще с красивой? Миша не знал, что сказать, о чем спросить. Да и Юля отвечала как-то сдержанно, все время смущалась от его вопросов.
- Мне как-то не верится, что живой, - сказал Миша.
  - Думаете, что на том свете? - спросила она.
    - Вроде...
    - Как чувствуете себя?
      - Лучше.
      - А вас как зовут?
        - Миша назвал себя.
        - У меня брат был такой же... Михкель.
    - Почему был, погиб на фронте? - спросил Миша.
      - Нет, не на фронте...
- Юля судорожно всхлипнула и замолчала.
- Скажите, Юля, - прервал Миша разговор, - до фронта далеко? Я должен уйти от вас...
- О чем вы говорите!.. - вспыхнула Юля. - сначала поправьтесь, встаньте на ноги, а потом уж и в дорогу... Сейчас и до двери не дойдете.  
Помолчали.
  - Если немцы заглянут, - сказал Миша, - и вам не поздоровится.
- Я же вам говорила, что немцы сюда не заходят... - убежденно сказала Юля. - Пока ваша рана заживет, и фронт поближе будет. Дедушка от полицаев слышал, что русские войска наступают.
- Хорошо бы! - улыбнулся Миша. Он лучше дедушки знал о состоянии дел на фронтах.  
В проеме двери показалась приземистая фигура старика. Лицо его заросло густой щетиной, в глазах ласка и старческая мудрость. Опираясь на большую, похожую на посох палку, он прошел к окну и, возвращаясь, остановился возле Миши.
- Смотрю я на тебя и никак не вразумлю: кто же ты будешь, сынок? - спросил он Мишу, глядя на него из-под нависших бровей.
  - Русский я.
    - Это-то я вижу... Только кто — из партизан или армейский?
      - Армейский, - улыбнулся Миша, - в плену был.
    - Н-да... Давно, сынок, из России-то? - поинтересовался старик.
      - Давно, батя, давно...
- Ишь ты, беда!.. А я про Россию хотел спросить. Армейские должны знать.
  - А что про Россию? - заинтересовался Миша.
- Да как она?.. Скоро ли немцев двинет?.. У меня ж сын там, на войне.

- Она уже двинула, батя, - твердо сказал Миша. - Всюду Россия громит немца, это я точно знаю.
  - Слава богу!..
  - Помолчали.
- А куда ж войско русское ушло в сорок первом-то? - не унимался старик.
  - К Москве... - неуверенно ответил Миша.
- Это как?.. Назад, значит. Н-да... Чего ж так? Упредил он, или впрямь силенок не хватило?
- Отошли, чтоб с силами собраться, - сказал Миша. Сказал потому, что в эту версию верил сам, был убежден в этом. - Решили так ударить по фашизму, чтобы и духу его не осталось! - добавил он.
- И то дело... Я-то уж знаю: как немец не хитрует, а его русские все равно побьют.
  - А вы, отец, с немцами воевали? - необдуманно спросил Миша.
- Меня зовут, сынок, Михкель Лутс, - сказал он назидательно. - В прошлую воевал, да в Гражданскую малость, а в эту не пришлось, годы мои вышли, - обиделся он на Мишу.
 

Дед опустил голову и, постукивая палкой, направился к двери. У двери обернулся:
- На случай, если вдруг немцы заглянут, ты внук мой, Михкель, понял?.. На него, да и на Юлю, у меня бумаги от управы выписаны.
 

Прошло много дней. Миша поднялся с постели, стал ходить по комнате. Его поражало, что мир оказался полон еды. В лагерной жизни была лишь гнилая свекла и тухлая картошка. Казалось, на земле есть только одна лишь мутная болтушка — лагерный суп, жижица, пахнувшая гнилью. А теперь он видел пшено, картошку, капусту, сало, он ел рыбу, слышал крик петуха.

Ему, как ребенку, казалось, что в мире есть два волшебника — добрый и злой, и он все боялся, что злой волшебник осилит доброго и сытый, теплый, добрый мир исчезнет, и он опять будет мять зубами кусок своего поясного ремня.

Первое время он боялся выходить на улицу, долго вглядывался в окно, прежде чем выйти во двор, всегда спешил обратно в дом. Если громко хлопала дверь, падала на пол кружка, он пугался, казалось, доброе кончилось, перестала действовать сила юной Юлии.

Когда Юлина знакомая из соседнего хутора шла к дому, Миша залезал на печку, лежал, стараясь не сопеть, не чихать, но соседи редко заходили к ним.

Мысль, что он живет в тепле и покое, а кругом идет война, не вызывала у Миши угрызений — он был еще не готов для войны, но очень боялся, что его снова затянет в мир лагерей и голода.

Утром, просыпаясь, опасался сразу открывать глаза, казалось, что за ночь волшебство исчезло и он увидит лагерную проволоку, охрану,

услышит звяканье пустого котелка. Лежал с закрытыми глазами, прислушивался, не исчезла ли Юля. Он мало думал о недавнем времени, не вспоминал друзей, бой с немцами, немецкий лагерь. Но каждую ночь кричал и плакал во сне. Однажды ночью Миша поднялся с постели и пополз по полу, забился под кровать, проспал там до утра. А утром не мог вспомнить, что ему померещилось во сне.

Сердце замирало, когда он представлял себе — вот картавые голоса загалдят в сенях, потом в комнату ввалится немецкий патруль. Как-то он спросил Юлю, вот уж который раз:

– А вы не боитесь, Юля, что я у вас живу?

Она покачала головой и сказала, что в селах много отпущенных домой пленных, правда, это эстонцы. Но она ведь скажет, что Миша ее брат. Пришло время, когда Юля вывела Мишу на прогулку подальше от дома, в лес.

Мир за это долгое время словно помолодел. Дом был будто вымыт, на деревьях блестел каждый листок. На небо — чистое, голубое и яркое — было больно смотреть. Совсем рядом, за садом, начинался лес. Он покрывал гряды холмов, и их темно-зеленые вершины резко выделялись на светлом небе. Отражая небо, блестели прозрачные лужи.

Миша не верил в предчувствия, но это словно невольно пришло ему в голову, когда, пораженный красотой эстонской земли, он стоял на берегу озера. Точно это была его Родина, которую, к сожалению, вот уже который год видел лишь во сне, - таким явился Мише этот уголок. И в радостном возбуждении стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для него, неожиданное и значительное.

Горе и радость как-то перепутались в сердце, он бродил по этому чудному, просторному берегу растерянный, очарованный, стараясь не думать о том, что скоро кончатся счастливые для него дни.

Вернувшись к дому, они пересекли двор, забрались на сложенные возле забора еще сырые, но теплые доски... Юля протянула Мише лист бумаги и фотокарточку. На ней — парень, подвешенный за связанные назад руки. Его лицо искажено страданиями, темные волосы упали на лоб, закрывая глаза, белая нижняя рубашка в темных каплях крови.

– Братик мой... Возле школы на заборе висела, - сказала Юля, - и лист бумаги был: «Смерть красным бандитам». Запугать хотели.

Миша взял листки и тут же, будто его толкнули, поднялся на ноги. Им на миг овладела бессильная ярость. Буквы слились в единую серую полосу.

Он отвел взгляд от листа. Прошла секунда, и он, пересилив себя, возвратил его.

Юля опустила руки на колени. Лицо побледнело, исказилось. Миша коснулся ее руки:

– Юля...

Она Мишу не видела. Вздрыгнув от прикосновения, выронила листки из рук. Миша поднял их сжал ее руку, как бы желая что-то сдержать в ней, сказал с просьбой:

Этому ты не верь, Юля. Тут может быть и месть, злоба. Только садист, фашист мог такое сделать.

Миша отдал карточку, боясь заглянуть Юле в глаза... Вспомнил слова Оскара: «Они погибли за Родину, ведь вот какая штука-то. Гордиться надо ими...» Юля смотрела на фотокарточку, а он ждал. В чертах лица Юлии появились строгость и озабоченность. Вокруг глаз возникли морщинки. Это настигла ее тень войны.

– Да, - сказал Миша глухо, глядя на руки Юли, на листок бумаги. - «Человек войну проживший и гнет от нее на всю жизнь ему».

Юля отошла в сторону, прислонилась к дереву, затряслась от рыданий...  
 – Его за городом взяли. Немцы засаду устроили, выскочили из кустов: «Стой!» Растерялся он, ну и поднял руки. Обыскали, но ничего не нашли, при нем оружия-то не было... Почему его немцы задержали, потом прояснилось. - Юля помолчала с минуту, смахнула ладонью слезы, с ненавистью сказала: - Бандюга этот! Наш родич предал... Он все про него немцам рассказал. Про то, что Михкель из Таллина с партизанами ушел. Когда его допрашивали, он молчал... Бить стали. На помогло... Так били, что кровь пошла. После этого подвесили его, вот как на карточке показано. Только и это не помогло. Отвели в чулан, что при школе, на ключ заперли. А этот чулан дощатой стенкой отделен от комнаты, где сторож живет. Там все слышно. Стонал, говорит... Пить просил... А потом к нему этот бандюга явился. Стал уговаривать, чтобы Михкель партизан предал. А он ему и говорит: «Уйди вон, предатель, я тебя видеть не могу!» А тот уговаривает: «Скажи, где партизаны, жив останешься и деньги получишь». На следующий день немцы опять Михкеля пытали. И били они его, и за руки подвешивали, а потом взяли, положили полуживого на машину, отвезли на площадь... А карточку эту и бумагу возле школы на заборе оставили, чтобы людей напугать...

– Почему без оружия пошел? - спросил Миша, когда Юля немного успокоилась. - Глупо как-то... - сказав это, он тут же понял, что сказал не меньшую глупость.

Юля вздрогнула при его последних словах, тут же отступила, опустив голову. Тяжелая прядь волос скатилась с ее плеч на грудь.

– Потому то такое ему задание было, - сказала она. - Он просился, чтобы его при партизанах оставили, а ему задание дали.

Но вот она привычно встряхнула головой, откинула волосы, подняла глаза, приблизилась. Прямо и смело стала лицом к лицу, сказала твердо:  
 – Хороший он парень!.. Таких мало! Как его ни пытали, никого не выдал!.. - Юля замолчала. А Миша продолжал стоять и глядеть на нее.  
 – Может, и вернется еще, - сказал он. Сказал, чтобы успокоить Юлю.

– Ведь никто же не видел, как его расстреляли...

Понаслушался Миша — как снова в смертном бою побывал. На пытках, под дулами автоматов, на плахе и на виселице словно его самого держали... Известно, как они истребляют людей. Но когда своими глазами увидел работу палачей и услышал, с каким хладнокровием они свое ремесло применяют на деле, - волосы у него дыбом поднялись. Ночью Миша долго лежал и думал... В тылу у немцев тоже идет борьба, как на фронте. С той лишь разницей, что солдаты подполья воюют втихую. Русский... Но если бы народ твой оказался в этой войне одиноким, было бы тяжелее стократ.

Мишу все время терзали мысли об Арно Тоотсе. Его прах покоится под тонким слоем мха и брусничника, и он все еще не похоронил друга. Миша рассказал об этом Юле. Кто же еще, кроме нее, мог сейчас понять его тоску? Юля молча перевела взгляд на кромку стола. А он, видя, что она не отзывается, заговорил о том, о чем уже говорил и повторял при случае:

– У нас, выживших, особенная ответственность перед теми, кого унесла война. Ее мы остро чувствуем. Другим понять такое трудно. И тебе трудно понять. Я тебя и не виню ни в чем. Но помочь ты мне должна... Теперь я буду жить с этим всю жизнь. И без этого долга перед погибшими не могу. Иначе — предательство.

Они молча вышли во двор, взяли лопату, и тем же путем, по которому Миша шел сюда после расстрела, направились к тому месту, где остался Арно. Хотя Миша и был тогда в состоянии полузабытья, но сейчас все же зрительно припоминал пройденный путь.

На поляне, покрытой сплошным ковром брусничника, Миша нашел полуразложившееся тело Арно, почти вся одежда его истлела. Спазм перехватил горло, заклинило дыхание.

Здесь же, на поляне, они вырыли могилу, опустили в нее прах друга, засыпали землей. Молча постояли возле могилы, потом медленно поплелись обратно.

Ветер раскачивал деревья, ветки царапали Мише лицо, но он не замечал этого и уходил от могилы, от друга Арно Тоотса. Всю дорогу молчали... У дома Миша сел на скамейку под яблоней. Сидел, согнувшись, обхватив руками голову. Юля стояла, затаив дыхание, не смея ни подойти, ни окликнуть. Потом положила руку ему на плечо, сказала:

– Пойдем, Миша... Поздно уже.

Он медленно поднялся, стряхнул с колен осыпавшиеся лепестки яблоневого цвета, пошел за ней в дом.

Как-то Юля сказала Мише:

– Завтра я тебя со своей библиотекой познакомлю. Дни твои не такими уж тоскливыми будут.

Она пригласила Мишу войти в ее комнату, а сама задержалась в кухне.

Он разглядывал комнату. Возле стенки — полки с книгами, у окна — столик. Все сделано, видимо, руками хозяина. И дерево, похоже, не красное. Он не сразу догадался, что это ольха. «Красивое дерево... Значит, мастер, раз оценил ольху...» - и спросил Юлю:

– Это твой дедушка полочки сделал?

– Дедушка, - ответила Юля. - Все, что в доме, - его работа. Да и дом построил он же. Папа ему помогал.

Мише понравилась ее маленькая, побеленная известью комнатка с простым столом и тремя такими же простыми, из некрашенных досок, полками с книгами. Книг было много, наверное, больше сотни. Он стал разглядывать корешки: Толстой, Лермонтов, Салтыков-Щедрин, Эдуард Вильде... Некоторые имена были ему незнакомы.

Ты любишь читать? - спросила Юля. Она сидела за столом, подпершись ладонями.

– Люблю... Больше приключенческие, - сказал Миша.

– Майн Рида, что ли? - не унималась Юля.

– И Майн Рида, - ответил он, продолжая разглядывать книгу.

– А Войнич не читал?

– Нет... А интересно? - спросил Миша и повернулся к ней.

– Интересно... - ответила она улыбаясь. - Ты садись, чего стоишь... мрачный человек.

Тут же за этими, может, и действительно шутливыми словами открылась Мише причина, почему Юля бывала порой грустна и беспокойна с ним.

Наверное, что-то замечала в его настроении. Иногда на него находила угрюмость, возникала необъяснимая неудовлетворенность. Обычно к вечеру, в сумерках, начинала мучить мысль, что его снова захватят немцы, и чувство ужаса становилось все шире, больше, тяжелей. Но когда гибель казалась совершенно неизбежной, ему становилось вдруг легче!

Может, действительно все это остатки пережитого. Оно таилось какой-то скрытой тяжестью внутри, в перестроенном еще его душевном мире.

Но вот Юля заметила, оказывается, и это.

Книга «Овод» так взволновала Михаила, что он не мог спать: это очень близко касалось его жизни.

Ему захотелось подышать свежим воздухом, побыть одному. Сырой воздух казался очень приятным. Потихоньку, чтобы не разбудить Юлю и дедушку, Миша вышел на улицу. Ночь была светлой, звездной. Он посидел на лавочке возле трех сосен, а потом пошел бродить по саду.

Какие милые, молчаливые деревья. Как хорошо ступать по опавшим лепесткам яблоневого цвета... И чего только он не передумал в эту ночь! Сад был тихий, свежий, весь облитый лунным молоком — яблони цвели.

Спокойна полная луна выбелила и стены дома, в саду было светло, сказочно.

Какие это были удивительные дни.

Мише казалось, что книга истории перестала быть книгой, а влилась в жизнь, смешалась с ней. Обостренно ощущал он цвет неба и прибалтийских облаков, блеск солнца на воде. Эти ощущения напоминали ему пору детства, когда вид первого снега, дробь летнего дождя, радуга наполняли его ощущением счастья. Это чудное чувство оставляют с годами почти все живые существа, привыкшие к чуду своей жизни на земле.

Все, что в современной жизни казалось Мише ошибочным, неверным, здесь, в Прибалтике, не ощущалось. «Вот так было в детстве», - думал он.

На родине сейчас тоже июнь, и там полнолуние, если только тучи не заслонили луну. И родину его, так же, как и Эстонию, топчут сейчас немецкие сапоги. Там его мать... «Как хочется увидеть ее! Хоть бы нам свидеться когда-нибудь!» - подумал Миша.

Вдали от родины ему мнилось, что жизнь там идет по-прежнему. И если не отец, то кто-то другой, почти такой же, как он, внешне похожий на него, в красной фуражке и фонарем с разноцветными стеклами, выходит встречать и провожать поезда... Мерещилось, как по вечерам на мыске у озера в его доме постукивает топорик. Под самой крышей в летних комнатах кто-то пилит, строгает. И к древним запахам земли примешивается свежий запах древесины. Это и была полная жизнь дома, которая Мише виделась. И это видение прежнего преобладало над реальностью.

Но стоило ему вспомнить, что Родину топчут немецкие сапоги, как все эти представления разом исчезают. «Нет там моего отца, нет и моих друзей». А ему необходима была уверенность, что кто-то из них появится... И он носил в себе веру в то, что непременно встретится с ними. Когда есть эта вера, то нет бесследного исчезновения того, чем ты жил и живешь. Увериться, что ничего уже нет, - значит убить в себе живую плоть детства. Эти мысли были вроде бы как услышаны от кого-то. Но раньше он так не думал. А теперь они стали и его мыслями... Он остался в живых, но, вероятно, потерял всех своих родных. Потерял свой дом и свой поселок... Юля, одна только Юля и осталась у него теперь. Единственный близкий для него человек, кому он может в эту минуту высказать свои мысли, горе и радость...

Мысли переметнулись к Юле... «Будет день — обязательно летний, - подойду к ограде Юлиного дома и остановлюсь... - Даже в мечтах у Миши не хватало смелости сразу войти в дом. - Она удивит меня первая и выбежит навстречу. И тут я скажу ей нежные слова». За эти дни Миша уже решил про себя, что в его нежных и чистых чувствах к Юле нет ничего смешного.

Мечты уносят Мишу далеко, и в темноте он улыбается им... Следующий день он только и жид мыслью поскорее побывать в Юлиной библиотечке.



- Что, прочитал? - удивилась Юля, когда Миша протянул ей книгу. - Интересно? Интересно?.. Миша, конечно, не мог передать ей и сотой доли того, что пережил. Он только сказал, что эту ночь не спал. Они поговорил еще немного о книге, и Юля подала ему с полки «Войну и мир» Толстого.

– Эту за день не осилишь, - улыбнулась она.

Потом взяла еще одну, села поближе к окну и, раскрыв книжку, пролистала первые страницы. Это были стихи Некрасова. Миша попросил Юлю почитать и услышал с детства любимые строчки:

Опять я в деревне. Хожу не охоту,  
Пишу мои вирши — живется легко.

Все это было так далеко и так не вязалось с тем, что его окружало... Он взглянул на Юлю. Ее усталый вид поразил Мишу.

– Устаете?.. Вам и поспать, наверное, мало приходится?

Она слабо улыбнулась в ответ:

– Пустяки, это весенняя усталость, знаете, витаминов организму не хватает. Так всегда весной.

Она говорила о весне на своей родине, стиснутой железными когтями фашистской оккупации, жестоко страдающей от голода. Но весна действительно в разгаре, внешне так похожая на все весны... За окном кричали грачи, чистились воробьи. И птичье щебетанье, и шум проснувшихся на весеннем ветру деревьев говорили: живем, чтобы ни происходило вокруг!..

Потом стали говорить о жизни вообще. Мишу удивило, как много Юля знает!.. Знает о таких вещах, о которых ему даже и слышать не приходилось. Новый для Миши мир открывался за ее рассказами... С детства Юле представлялось, что она должна прожить несчастливую жизнь. До войны она смотрела на подруг и знакомых, ездивших на автобусе, как на расточителей. Люди, выходявшие из плохоньких ресторанов, казались ей необычайными существами, а она иногда шла следом за такой вывалившейся из ресторана компанией и прислушивалась к разговору. Приходя из школы домой, она торжественно говорила матери:

– Знаешь, что сегодня было, меня девочка угостила газированной водой с сиропом, натуральным, пахнет натуральной черной смородиной.

Нелегко было им на те деньги, оставшиеся их четырехсотрублевого жалованья отца, после вычета подоходного и культурного налогов, после вычета госзайма строить бюджет. Новых вещей они не покупали, перешивали старые, в оплате дворничихе, убиравшей в квартире места общего пользования, они не участвовали, и, когда приходили дни их уборки, Юля мыла полы и выносила мусорное ведро. Молоко они брали не у молочниц, а в государственном магазине, где очереди были очень большими, но это давало экономию. А когда в государственном магазине не было молока, Юлина мать ходила на базар вечером: там молочницы, спеша на поезд, отдавали молоко дешевле утреннего,

и получалось почти в одну цену с государственной ценой. На автобусе они никогда не ездили. Это было слишком дорого. А на трамвай садились, когда надо было проехать большое расстояние. В парикмахерскую Юля не ходила, мама сама подстригала ей волосы. Стирала они, конечно, сами.

Лампочку жгли неяркую, чуть светлей той, что горела в местах общего пользования. Обед они готовили на три дня. Он состоял из супа, иногда каши с постным маслом. Юля, как-то съев три тарелки супа, сказала: «Ну вот, сегодня у меня обед из трех блюд».

Прочитав вторую книгу, Миша попросил у Юли книжку на немецком, он еще у Арно прочел одну с изодранной обложкой. Поставил себе цель познакомиться с литературой этой страны и понять, что же толкнуло немецкую нацию к безумию.

С книгой Миша выходил к озеру, и Юля просила его рассказать о войне. Но говорить о войне он не мог. Просто не знал, что говорить. Сам не знал, что такое война. Не рассказывать же о смертях, о страданиях, о ранениях. Отдавая все свое время чтению, он старался заглушить в себе тоскливое чувство одиночества и еще непонятную самому, какую-то унижительную неуверенность. Тем ли он делом занимается?

Не сразу заметил он внимание к себе Юлии, застенчивой, с кротким взглядом. Ее молчаливую робость, когда они оказывались рядом, принимал за жалость к себе. Ему показалось, что она и следит за ним, и пугается его. И все же вроде бы ищет встречи с ним.

Оставаясь наедине с собою, он становился угрюмым от неясной грусти, вдруг охватывавшей его.

Но вот в какую-то минуту особого душевного состояния он приметил в Юле что-то схожее со Светой, его соученицей по школе. В чем была эта схожесть, он так себе и не мог объяснить ни сразу, ни потом. Скорее, тут было мнимое, желаемое, идущее от тоски. Но от сознания того, что в Юле увиделось что-то Светино, он уже не мог освободиться. И становилось еще тяжелее на душе. Хотелось счастья, полной жизни. Но еще больше не верилось, что такое возможно.

Заново ничего не повторяется, внушал он себе, стыдясь почему-то оставаться с Юлей наедине.

Находясь все еще в какой-то неизвестности и неопределенности в отношениях с Юлей и чувствуя связанность, мешавшую ему быть свободным, он решил побеседовать с ней основательно.

Как-то Юля завела патефон, поставила пластинку, полилась музыка - «Синий платочек». Юля подняла стул и закутилась с ним по комнате. Тут же поставила стул на место, подошла к Мише, улыбнулась, протянула руку:

– Станцуем?..

- Я ведь почти не умею танцевать, вернее, разучился, - смущенно сказал он Юле, пытаюсь как-то оправдать свою нерешительность. - Когда-то немного танцевал в школе.

– Из наших ребят никто не умел, - ответила Юля, - а все танцевали...

Пойдем, получится.

И он, преодолевая неловкость, вышел с ней на середину комнаты. Юля была в легком простом платье вишневого цвета. Он чувствовал ее близость, запах ее волос, увидел рядом глаза, губы, уловил ответное ее чувство и обмер. Промолчал весь танец, не помня, танцевал он или нет.

Потом, в конце танца, сказал, не понимая, как решился:

– Юля, милая...

Она улыбнулась, зарделась и слегка сжала его руку...

Она была очень хороша. Волнистые, редкого пепельного цвета волосы ниспадали локонами на покатые, слегка обнаженные плечи. Тонкие и мягкие черты лица, большие голубые чуть прищуренные глаза и открытая улыбка — все это сразу привлекло к ней, а милая застенчивость, с которой протягивала она ему маленькую ручку, окончательно пленила его. «Как она обворожительна!» - промелькнуло в голове, и образ ее занял его воображение так полно, что он уже ничего более не слышал и не замечал. Очнулся лишь при последних волнующих звуках танца. Возбуждение от танца и близости чудесной девушки охватывало его все больше и больше. Он танцевал удивительно легко, со страстью и упоением и чувствовал, то она словно слилась с ним и тоже находится в том же восторженно-счастливом состоянии, что и он.

Они вышли в сад и легли на траву под ветвистым дубом. Сквозь узорчатые листья был виден кусок голубого неба и медленно плывущие облака. Миша лежал, и все, даже небо с облаками, ему казалось новым, необычайным. Он закрыл глаза и сразу открыл их. Разве можно сейчас лежать с закрытыми глазами?.. Он снов и снов хотел смотреть на Юлю, слушать ее, разговаривать с ней. Любовался, глядя снизу на ее округленький, детский подбородок, на маленький носик, на темный пух ресниц, на тонкие брови и пепельные локоны волос, разделенные пробором. Красивая?.. Почему он знает! Возможно, что и нет. Рассуждать он может только о том, к чему равнодушен, оценивать только постороннее. А это...

В такой восторженный час Миша с Юлей вышли на берег озера. Жара под вечер спала, от озера отдавало свежестью воды и запахом молодой листвы.

Они прошли ближе к реке, к тому месту, где рыбки на стрежне больше резвились. Постояли там на голой отмели и повернули обратно, прячась от солнца под ели.

– Постоим чуток, охладимся, - сказала Юля.

– Исккупаться надо, и будем в норме, - предложил Миша.

Прошли вдоль ряда елей, посаженных по прямой линии через весь мысок. Солнце спускалось в лес за озером. Выступ берега отражался в глуби водной глади.

Все, что было вокруг, повторялось в воде, двигалось и жило. Кто-то непонятно объяснял это явление фиксацией времени, вспомнил Миша. Озеро как бы запечатлело свой берег. Наверное, такое «виденье» озером всего, что есть вокруг, пугало первого человека. Наводило на мысли, что нельзя ничего делать скрытно. И потому человек боялся осудительных поступков.

На ели падали рваные тени от ракушек, росших у воды. Ракушки качались, качался и свет на елях. И это качанье света разрушало неподвижность. Тень и свет — два состояния природы, причина всякой борьбы в ней. Тень там, где отнят свет... Эта мысль вроде бы давала простой и ясный ответ на то сложное, через что пробивался человек к истине.

Миша выбежал на мысок, позвал Юлю:

– Вот здесь укромное местечко, - и стал раздеваться.

– Отвернись... - Юля зашла за куст, разделась и вошла в воду.

До самого конца купанья плавала она и плескалась вблизи берега. Дразнила его мелькающими под водой точеными плечами и небольшими острыми грудями, похожими на рожки маленькой козы. И до самого вечера мельтешили перед глазами эти круглые плечи и белые рожки на груди с чуть заметными розовыми пуговками на кончиках.

От солнечного заката светились все окна в доме. Озеро тихо дышало, жило своей жизнью. В глубине его прятались отблески скрывшегося солнца. На берегу звенели кузнечики, предвестники погоды. В березняке посвистывал, заливаясь трелью, соловей. Казалось, даже слышно было, как исчез огонь в конах дома. Огонь погас, и что-то оборвалось в воздухе, - протяжно замерло, как звон зноя в полдневную жару. И ночь стала более чуткой...

Они сидели на бревнышке у самой воды. Глядели, как плещется рыбешка на быстрине, где речка впадает в озеро. Но и тут Юля была обеспокоенной: дедушка в доме один, вот-вот позовет.

– Посидим немного еще, - попросил Миша.

Ему хотелось отвлечь Юлю от забот, хотя бы на эти минуты. Здесь, у озера, щедрость ее и доброта души увиделись Мише как бы со стороны, и он сказал:

– Как хорошо, что ты со мной, радость ты моя...

Это было сказано неожиданно и для нее, и для него.

Но и тут подступило сдерживающее спокойствие, как это часто бывает в избытке чувств. Порыв признания показался излишним. Будто кончилась неизведанная дорога и тревоги пути разом отпали. А новые тревоги, которых надо ждать, еще не осознаны.

Их кроткую, полумолчаливую беседу — первую, пожалуй, о том, в чем признаться друг другу всегда робеешь, - все же прервал встревоженный голос дедушки.

Юля прислушалась, сказала: «Ну вот...» - и тут же встала, опершись на Мишино плечо.

Все пошло стремительнее, быстротечнее... Не минуты и часы, и даже не дни, а сутки заторопились. Замелькали, как поезда мимо маленьких станций. Вроде бы меньше стало и неожиданного, и непредвиденного. Реже остановки на путях дорогах. Больше раздумий и спокойного созерцания. Мир стал шире, взгляд дальше. И мысли уже какие-то иные, несуетные.

На следующий день Миша снов сидел в Юлиной комнатке. На этот раз она рассказала ему, как однажды ездила в оккупированный немцами свой родной город, каким она увидела его в последний раз. Она так и сказала: «Я никогда не смогу жить в этом городе, там люди с ума посходили». Вот то ее так ошеломило...

При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо недавно выпущенный из госпиталя, не умея еще одиноко нести свою слепоту, переминался суетливыми шажками, дробно постукивал палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав молодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

– Помогите сесть в трамвай, я слепой.

Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потеряв равновесие, плюхнулся на мостовую.

Юля поглядела в лицо женщины. Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его — голод, пережитый ею в детстве?.. Жизнь, полная по края нужды?.. На мгновение слепой обмер, потом вскочил, закричал птичьим голосом. Он, вероятно, с невыносимой пронзительностью увидел своими слепыми глазами самого себя в съехавшей набок шапке, бессмысленно машущего палкой. Он бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному зрячему миру. Все, толкаясь, лезли в вагон, а он стоял, плача и вскрикивая. Люди, которых Юля с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть ее взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки.

Что-то мучительное, темное коснулось Юли. И одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой, ощущением беспомощности в жизненной тундре.

Она подошла к слепому, взяла его под руку и, когда подошел очередной трамвай, помогла ему подняться в открытую дверь, атакованную разъяренной толпой.

Из рассказанной Юлей истории Миша понял: война жестока и безлика. Одних людей она сплачивает, делает их добрее, отзывчивее. Других разъединяет, делает злыми, жадными,

завистливыми и безучастными не только к людям вообще, но и к своим близким.

«Скорей бы она кончилась, эта война, - подумал он. - Тогда и людское, человеческое снова вернется к людям».

У него вдруг защемило в груди... «Не слишком ли долго я засиделся в этом гостеприимном краю?..» Пока залечивал раны, его бездеятельность еще как-то оправдывалась. А теперь?.. Он чувствовал, как борются в нем два разных человека — новый, сегодняшней, и тот, другой, которого породила война. То, что было на войне, не отходило от него так просто.

Бередело своими недугами и мешало второму, новому в нем. Тот, отживший, умирать не хотел. Он кричал и теснил нового, который хотел от Миши выжившего совсем других действий, малопонятных ему, умирающему. Противоборство началось, как только он оказался в лесном доме Арно. Старый и там его не хотел оставлять. Говорил ему, изломанному и уставшему: «Чего ж тебе, уймись, ты сполна свое сделал!.. Остаешься здесь, в глухомани, отсидись до конца войны, а там уж и домой подавайся».

Новый Михаил все же заставил взяться снова за автомат, заставил двигаться к фронту, чтобы встать в ряды освободителей своей Родины.

Война начинала не то чтобы забываться, а отходить от него куда-то в далекую даль, как бы заволакиваться туманом, терять грани, конкретность фактов.

После всех раздумий о Микке и Урмаса душевная смятенность, находившая порой неясными предчувствиями тревог, исчезла. Ничего скрытного, связанного с тем, что они живы и где-то рядом с ним, тоже больше не оставалось. Все в прошлом, преодолено. А значит, и не должно тревожить. Нужно немедленно начать розыски друзей — и через линию фронта...

И вот снова старый начал одолевать его.

Юля сидела словно воробушек в вязаной, заштопанной на локтях серой кофточке, и каждое слово, сказанное ею, казалось Мише, было полно ума, деликатности, доброты, каждое движение выражало грацию, мягкость. Миша не сразу, не вдруг понял, что Юля, в разговоре, в своих действиях, все время подчеркивала, что нет силы, способной помешать людям оставаться людьми, что самое могучее государство бессильно изменить эту истину.

— Я пойду... душно здесь, - сказал Миша и вышел.

На дворе полуденный жар уже ушел, наступила вечерняя прохлада. В воздухе носился острый запах скошенных трав. Миша лег на землю, и ему вдруг стало так тоскливо от своей беспомощности... Он прошел в огород. Грядки с овощами и картошкой, по краям яблоньки, разные деревья. Хлевушек для коровы и сарайчик возле него в углу участка. Все стояло как-то порознь, само по себе. И глядело вроде бы искоса друг на друга.

Не сливалось воедино с домом, стены которого еще белели свежим деревом... Усадьба старика сразу привлекала глаз уютом. Дом его притягивал к себе все — и грядки в огороде, и деревья, и баньку в зарослях бузины. В центре всего стоял вековой дуб...

Миша внимательно смотрел на рубленый дом. Теперь он угадывал по этому дому характер его хозяина. Видно было, что дом строил открытой души крестьянин, старатель, жизнелюб. Возле изгороди стояло несколько колод, тихих, без пчел. Рядом с ними, на узкой скамейке, прибитой к двум пням, сидел Юлин дедушка, Михкель Лутс, с посохом в руках. Миша подошел к нему. Лутс убрал посох, подвинулся на край скамейки:

– Присаживайся, коли охота.

Он все косился на улы, вздохнет, отвернется и опять туда же смотрит.

– Э-эх, пролетели годы, как вешние воды! Н-да... - пробормотал он. - Ну, прожил я немалый кус, всего повидал. А вот такое!..

Миша понял — что-то случилось с пасекой.

– Пришли немцы и забрали весь мед... - продолжал старик. - Все, до капельки!.. Н-да. Зимой-то я свой сахар отдавал пчелам... Было маленько.

Куда там, не хватило. Н-да... Те, что уцелели, к лету оправались. Ну, опять-таки, взяток слишком мал. Слышу — затихают рои...

Миша подумал, как одиноко пчеловоду среди пустых ульев, - спросил: разве нельзя позаимствовать у соседей?

– По всей округе кутерьма такая же. Всюду немцы почистили... - Помолчал, потом заговорил о другом: - Ты в наших краях бывал прежде? Н-да... Хорошо у нас... Наш край — райский край! - Он смотрел вокруг печально, долго.

Миша понял, что вот живет человек, среди этой красоты родился и вырос, все время видит ее, а привыкнуть к ней не может. Она всегда свежа и радуется.

Вдалеке раскатисто грохнул взрыв. Лутс не обратил внимания на него.

Опять заговорил:

– Много на полесье в народе всяких бывальщин живет, и песен, и сказов. Заслушаешься стариков наших... По Нарве к морю горушка бугрится. Там заповедный бор есть, зовется Красные Сосны. Мне дед сказывал, а сам от своего деда слыхивал, будто в том бору после битвы шведский воевода отдохнуть прилег. А молодая сосенка в одночасье проросла сквозь него, пригвоздила корнями к земле!.. Н-да... - Лутс засмеялся. Глаза его по-прежнему оставались колючими. - Видишь, браток, не живется врагу на нашей земле. Так уж оно повелось... А колоды мне еще вот как понадобятся, я такие рои разведу... Когда сын вернется! - Старик повернулся к Мише, положил на его колено руку, несколько раз прихлопнул ею, сказал: - Нелегко жизнь-то сложить. Н-да... Она ведь как дорога дальняя. Никогда о ней наперед ничего не узнаешь. Н-да... И натерпишься, и намаешься. А передюжишь все — и счастье твое с тобой.

- Н-да... Я-то спокоен теперь. Младшей бы внученьке моей дал Бог еще счастья. Н-да... Трудно без ребят. Вроде бы как и семьи нет без них, - сказал он срывающимся голосом. Помолчал, успокоился и признался: - Меня вот все преследует такое чувство, будто я один после войны на свете останусь. Н-да... Всех растерял. И в боях, и вот дома... И все жду, что они вернуться. И знаю, что не дождусь, но жду. А дети вроде бы и есть эти люди, которых ждешь. Н-да... Одна младшенькая при мне... На ее только и надежда.

Он снова надолго задумался, потом, прокашлявшись, сказал, как бы выкладывая свою душу о трудной жизни тем, кто уже вернулся с войны, в том числе Мише:

- Вот и мечутся, сердешные, кто уцелел. Н-да... Война в них, как хмель тяжелый, головушку мутит. И тебе-то тоже больно от нее. Всех тронула она изнутри, кто там побывал. Другой так от ее недруга и сгинет, не найдет мира в душе. Н-да... Дети — это хорошо. Спасенье. Тоже вот внука-то и мое горе залечивает...

Все это он выговорил сухо, преодолевая в себе какую-то стеснительность, постоянно мешавшую ему в объяснениях о личном, интимном даже с близкими людьми.

Из дома вышла Юля. Она огляделась по сторонам и хотела было сесть на скамейку возле дома. Миша окликнул ее.

– Вот вы где! - сказала она.

Миша подал ей руку, Юля пролезла через изгородь, и они сели в сосняке рядом. Ветви деревьев укрыли их от солнца, пахло старой, прелой хвоей, и земляникой, и детством. Миша прислонился к сухому красному стволу крупной сосны.

- Юленька, помоги мне разыскать Урмаса и Микка, друзей моих... Я не могу больше сидеть без дела, - попросил он.

И он рассказал ей о своих друзьях, о побеге из лагеря, об их уговоре встретиться в условленном месте и попытаться перейти линию фронта.

- А что я должна сделать?.. Как помочь? - Юля уставилась на Мишу.

– Хутор Ярвис... далеко отсюда? - спросил Миша.

Юля пожала плечами.

- Юля, да они же местные, - спохватился Миша, Микк из Тапы, Урмас из Орры... Побываем у их родителей, может, навещают они их от случая к случаю?

– Я согласна, улыбнулась Юля и отвела от Миши глаза.

Миша проснулся сразу, одним радостным рывком нетерпения. Так просыпался он в детстве, когда ожидали его еще накануне задуманные с приятелем какие-нибудь окутанные тайной похождения.

После завтрака быстренько собрались с Юлей в дорогу. Перед тем как выйти из дома, Юлин дедушка рассказал, как добраться до хутора. Потом спохватился, сказал:



– Пойдите, куда ж вы без документа? – Вынул и-за иконы вчетверо сложенные два листа бумаги, один протянул Юле, другой Мише: – Михкель!.. Крепко запомни! – предупредил он.

Они отправились в сторону Орры. По камням перебрались через ручей, который бежал рядом с поляной, и углубились в настоящую тайгу. Шли напрямик, обходя большие валежины и густые заросли, потом вышли на старую зимнюю дорогу. Когда попадалась лужа, Миша протягивал Юле руку и помогал ей перейти.

Они долго шли молча, и Мише не хотелось говорить ни о войне, ни о лагерных делах, ни о своих опасениях, предчувствиях, хотелось молча идти рядом с маленькой, неловкой и в то же время легко шагающей девушкой и испытывать чувство безумной легкости, покоя, непонятно почему пришедшее к нему.

На опушке леса шла глубокая канава. Она успела зарастить травой. Пошли вдоль канавы, пересекли выступ леса и оказались возле небольшой горки. Горушка желтела разрытой дырой. «Песчаный карьер», – подумал Миша.

Поднялись на эту горушку.

На всю даль простиралась зеленая ширь. Среди низкого кустарника, завладевшего этой ширью, выделялись проплешины — луговины. На них бурели стожки сена. Справа бросался в глаза раскорчеванный квадрат этой зелени. Оттуда, вероятно, брали и увозили торф.

Путь прокладывала Юля. За плечами у нее, так же как и у Миши, висела прутьяная корзина. Нести корзину за плечами удобнее. Так не только легче идти, но и руки свободны, да и за ветки не задеваешь. Юля посоветовала взять корзины на всякий случай, чтоб у немцев не вызвать подозрений.

«Идем побираться, и все тут», – сказала она.

Старая зимняя дорога вышла из леса в поле и распалась на тропинки. Они пошли самой торной тропой. Она подвела их к деревянному памятнику со звездочкой. Он стоял в зелени берез на небольшом бугорке. На могиле в двух стеклянных банках стояли полевые цветы.

Миша остался у могилы. Юля сняла корзину, насобирала ромашек и васильков во ржи. Сменила высохшие цветы. Постояли молча.

От памятника они прошли к речке. Берега ее заросли ивняком, ольшаником. Но земля не успела еще заглазить свои шрамы. Люди невольно их бередили, ступали в бывшие окопы, как ступают в раскопки древних поселений, открытых археологами.

– Вот здесь и была передовая. По берегу — линия обороны, – сказал Миша. – Там, за рекой, немцы, а здесь — наши.

Вдоль речки тянулось хлебное поле. Там, где когда-то стояло селение, желтела рожь. Поле было и за рекой. А по сторонам, по обоим берегам речки, рос молодой лес — осинник, березняк. Реже сосняк, ельник. Над гущей молодняка возвышались старые деревья. Они и дали жизнь молодым.

В судьбе этих деревьев было сходство с выжившими селениями и городами. И с выжившими людьми.

Миша остановился. Из горла вырвался звук, похожий на кашель. Как от пронзительного зова в тишине, оборвался ход мыслей.

За этим полем хлеба встало то черное, мертвое поле. Увиделись парни, polegшие на рыхлой пашне неумелыми воинами... Подумалось снова и о своих друзьях-товарищах: такими же вот они были...

Они походили по «нашему» берегу речки. Каменистой, с перекатами, через которые пробиралась вода и которые делали речку красивой и уютной. Большим препятствием тогда она не была ни для пехоты, ни для танков. Но все же это был рубеж.

Хотелось из наших окопчиков посмотреть на другую сторону, туда, где был враг. На окопы немцев.

И они смотрели. Присели в наших окопах, чтобы видны были только головы. Так, как смотрели из них бойцы.

Бродом, по мелким камушкам, перешли на тот берег. Переходили босиком. Юля вскрикивала беззаботно, когда ноги соскальзывали с камушков. Она не представляла, как этот рубеж преодолевали бойцы. Сколько их упало в ту воду, мутную и кровавую...

Миша перешел вслед за Юлей речку, переходя, приобщался к таинству, братству, и мужеству...

Перешли и постояли на берегу. Огляделись, будто чего опасались. Окопы немцев петляли метрах в двадцати от берега, прятались на возвышенности и в кустарниках. Местами они были почти сглажены. Миша обратил на это внимание Юли.

- Видишь, - сказал он, встав на дно канавки, - какие окопы на этой стороне? И какие на нашей? Тут все сровнено. Только по этому можно определить, с какого берега пошли в наступление. Над этими окопами поработала немецкая артиллерия.

Он подумал, что здешнюю оборону, окопы свои, тоже кто-то выживший вспоминает по сию пору, так же как и он свои.

На окраине бывшей деревеньки был родниковый колодец. Здесь стояли сосны и березы. Сосны особые, боровые, с желтыми, как воск, стволами.

И березы тоже были приметны. Ветвистые, густые. Все в птичьих гнездах. Такие деревья никогда не растут на гнилых местах. Они любят живую почву. И сами почву облагораживают.

Война истребила все вокруг, а вот эти сосны и березы и колодец родниковый, поилец селян, не смогла истребить и она...

К этому колодцу по заметной, видимой издали тропке они и подошли. Сняли корзины, во фляги набрали воды. Пообедали за столом, сделанным кем-то из березовых плах. Из таких же плах кто-то смастерил и скамейки.

Миша поел, отпил из фляги воды и неожиданно спросил Юлю:

- Ты встречалась с теперешними немцами, разговаривала с ними?  
Юля промолчала.

В вопросе вроде бы был упрек или загадка, и тут не требовалось ответа.

- Перед самой войной я встречал одного, обыкновенный был, мирный...  
Никогда не подумал бы, что они такими сволочами будут. Вот что фашизм с этими обыкновенными и мирными немцами сделал!

Скажи он об этом в компании, тут же возникли бы вопросы, разговоры. И, может, споры. И Миша иначе, не так упрощенно, объяснил бы, как сам об этом мыслил, почему так случилось... Но здесь, на бывшей передовой, незачем было объяснять.

И все же Юля спросила, о чем спрашивала деда:

- Зачем же они себе Гитлера таким большим начальником избрали?.. Не могли коммуниста подобрать?..

Миша подумал и не ответил. Сам не знал.

Юлю поражало, что по одну сторону их речки были немцы, а по другую — наши. Все вроде бы и просто, а поражало. Раньше думалось не так. Все ей казалось туманнее, сложнее. Ей непонятно было, где начиналась траншея и где кончалась. И она спросила об этом Мишу:

- Окопы так и шли по берегу в обе стороны? Где-то они должны кончиться — в озеро или болото упереться?

Миша молчал. У него таких мыслей не возникало. Где-то, конечно, окопы начинались и где-то прерывались. Обычное дело. И он ответил Юле:

- От моря и до моря тянутся окопы. Через всю страну.

И это ошеломило Юлю: от моря и до моря?..

- В такое даже и не верится, - отозвалась она. - Подумать только: через всю страну?.. В начале войны у нас в райсовете карта висела. На нее накалывали флажки. Сначала черные надвигались. Страшное горе шло... А красные отходили все быстрее, флажки переносились каждое утро. На карте-то понятно. Вкалывали флажки. А вот на земле?..

- Такие карты будут храниться в музеях, - сказал Миша. - Они окроплены слезами горя и радости. Только нам, солдатам, редко попадались те карты на глаза. Порой солдаты даже и не знали, какие рубежи разделялись флажками. Сами они эти рубежи отмеряют. Тяжелыми шагами, видя землю, как пахарь — поле. Идут по ней и припадают к ней. Падают на нее и не встают. Тяжело ее оборонять. И так же тяжело, пядь за пядью, освободить. - Миша задумался на минуту, улыбнулся, сказал: - Потом, когда кончится война, будем рассматривать с удивлением старые карты с проколами от флажков. Покажется невероятным, что такое могло произойти. Мы ли сами прошли в смертном труде неохватную глазами огромную часть земли?

Из-за озера загрозила тучка. Ее заметила Юля.

- Невеличка, но с опаской, - сказала, обеспокоенная.

Сначала повеяло ветерком, приятной прохладой. Это им понравилось... Упали на плечи первые крапины. Тоже приятные, прохладные. Даже не подумалось, что дождевые. Неоткуда вроде и падать-то было им.

Но беспокойство Юлии стало подгонять их к укрытию. Только успели подбежать к лесу, как хлынул ливень. И снова радость. Тихая какая-то, внутренняя: смочит траву, прибьет пыль...

Спрятались под густую старую елку на опушке леса. Будто она и росла тут только для того, чтобы укрывать людей...

Прошли по лесу с десятков километров, может, немного больше, и очутились в ельнике. Здесь росли только елки — высокие, стройные. Под ногами — мягкий скользкий ковер их порыжелых игл.

Тишина и покой. Распластавшись в воздухе, белки бесшумно перелетали с елки на елку.

Этот лес, озера дышали жизнью Древней Руси, о которой Миша читал до войны. Здесь, среди озер, лесов, лежали старинные дороги, из этого прямоствольного леса строились дома, церкви, обтесывались корабельные мачты. Старина задумалась и притихла еще в те времена, когда бежал тут серый волк и плакала Аленушка на бережку, которым Миша теперь шел. Ему казалось, что эта ушедшая старина какая-то наивная, простая, молодая, и не только жившие в теремах девушки, но и седобородые купцы, дьяконы и патриархи на тысячу лет моложе житейски умудренных парней из мира скоростных машин, автоматических пушек, дизелей, кино и радио. Знаком этой ушедшей молодости была Нарва, быстрая, худенькая, в пестрых крутых берегах, в зелени леса, в голубых и красных цветных узорах...

Земля под сапогами скрипела и пружинила, как старый матрац, — это лежали листья, сверху легкие, хрупкие, отличные один от другого и в смерти, а под ними — засохшие уже годы назад, соединенные в одну хрусткую слитную коричневую массу, — пепел от той жизни, что взрывала почки, шумела в грозу, блестела на солнце после дождей. Истлевший, почти хворост крошился под ногами. Тихий свет доходил до лесной земли, рассеянный лиственным абажуром. Воздух в лесу был застывший, густой. Это особенно ощущал привыкший к воздушным пыльным вихрям горожанин. Нагретое, потное дерево пахло сырой свежестью древесины. Но запах умерших деревьев и хвороста забивал запах живого леса. Там, где стояли ели, в октаву врезалась высокая скипидарная нота. Осина пахла приторно, сладко, горько дышала ольха. Лес жил отдельно от остального мира, и Мише казалось, что он вошел в дом, где все не так, как на улице: и запахи, и свет через спущенные занавески, и звуки по-иному раздавались в этих стенах, и, пока не выйдешь из леса, все чувствуешь себя не по-обычному, как среди не людей.словно со дна, сквозь высокий, толстый слой лесного воздуха смотришь наверх, где плещут листья, и кажется, что трескучая паутина, цепляющаяся за лицо, — это водоросли, взвешенные между поверхностью и дном водоема. Кажется, что быстрые толстоголовые мухи, и вялая мошкара, и тетерев, по-куриному продирающийся между ветвей, шевелят плавниками и никогда им не подняться над лесом,

как не подняться рыбе выше поверхности воды. А если сорока вспорхнет над вершиной осины, то тотчас нырнет меж ветвей, - рыба блеснула на мгновение белым боком на солнце и вновь плюхнулась в воду. И каким странным кажется мох в каплях росы, синих, зеленых, гаснущих в сумраке лесного дна.

Хорошо из этой тихой полутьмы вдруг выйти на светлую поляну, все сразу по-иному — и теплая земля, и запах нагретого солнцем можжевельника, и подвижность воздуха, и поникшие белые колокольчики, отлитые из фиолетового металла, и цветы дикой гвоздики на липких смолистых стеблях. На душе становится беспечно, и поляна — как счастливый день в бедной жизни. Кажется, что бабочки, черно-синие отшлифованные жуки, муравьи, прошуршавшие в траве, уж не хлопочут каждый о себе, а вместе делают одну общую работу. Коснулась лица березовая ветка, осыпанная мелкими листьями. Кузнечик подпрыгнул, угодил в Мишу, как в древесный ствол, уцепился за поясной ремень, не торопясь напружинил зеленые ляжки, и замер с круглыми кожаными глазами, с литой бараньей мордой. Тепло, запоздалые цветы земляники, горячие от солнца пуговицы и пряжки поясного ремня... Наверное, над этой поляной никогда не пролетали самолеты.

Миша вспоминал месяцы, проведенные им в лагере. Они казались ему адом. И здесь, в лесу, прислушиваясь к гулу деревьев, он думал:

«Неужели все это было?»

И еще десяток километров остались позади.

Блиндажи и землянки выросли на их пути среди развалин домов, в них когда-то помещались солдаты, штабы, радиопередатчики, в них писались письма, донесения, набивались пулеметные ленты, заряжались автоматы. А сейчас мирный дым шел из труб, возле блиндажей сохло белье, играли дети. Их мир вырос из войны — нищий, бедный, почти такой же трудный, как и сама война.

Вечер застал на окраине поселка Ора. Они шли поселком с веселым, несмотря на разрушенность, костелом. Он стоял на пригорке и по-старинному украшал село.

— Ничего еще взамен не придумано красивой церковью, особенно в селах, - сказала Юля.

Миша промолчал, кивнул, соглашаясь. И они пошли, глядя на эту церковь, окруженную кладбищенскими деревьями.

Юля зашла в первый попавшийся на пути дом, спросила, как пройти к усадьбе Георга Вильмана. Ей рассказали...

Хозяин дома стоял босой, в коротковатых серых в полоску штанах, в коричневой выцветшей рубашке навыпуск. Коренастый и сухой. Не проявлял ни интереса, ни беспокойства. Выждал, как жактовский мастер или водопроводчик, к которому пришли с просьбой в неурочное время. А когда услышал имя Урмаса, оживился.

Слушая Мишин рассказ о дружбе с Урмасом в лагере,

отец его беспрестанно курил скрученные им же самим папиросы и все время поглаживал свою седую бороду. Выкурив одну, он легким хлопком выбивал из мундштука в пепельницу окурок и неторопливо принимался скручивать другую.

И отец и мать Урмаса почти не говорили по-русски. Все, что Миша говорил, переводила им Юля.

Выслушав, Георг Вильман повел белыми усами:

- Бывали, и не однажды. Последний раз с месяц тому, покормились и ушли. Куда?.. А бог их знает, не докладывали. Придут еще, расскажу им о вас...  
Оставьте адресочек.

Мать Урмаса, тетка Лула, накормила их ужином, уложила спать.

Поднялись, как только начало светать.

Пока Миша умывался и приводил себя в надлежащий порядок, Юля уже куда-то упорхнула из дома. Миша вышел на улицу. В ярком свете восходящего солнца за изгородью, густо обросшей малинником, мелькнуло что-то пестрое. Миша приподнялся на носках, чтобы получше рассмотреть, что делается в огороде, и увидел Юлю. Она поливала грядку с огурцами. Это ее косынка показывалась и пропадала за изгородью, когда она разгибалась и переходила с одного места на другое. Вспомнилось Мише мигом, как и он сам поливал грядки в своем огороде. Вечером, особенно по воскресеньям, всегда торопился, чтобы убежать с друзьями по своим житейским делам.

Увидел все это резкой, до необычайности яркой памятью.

Вошел в калитку, в огороде, ближе к дому, звякало железо, булькала вода в ведре. Летели брызги, лились струи. Сверкали при утреннем солнце капли воды на шершавых огуречных листьях. Как все это было знакомо ему!

Он смотрел на Юлю: как красива была она в это раннее, облитое солнцем утро! На фоне садовых цветов, зелени и облитых солнцем кустов, ее лицо казалось Мише особенно прекрасным. Суровость, портившая ее, отступила. Ее большие светлые глаза смотрели мягко, с грустью.

Юля поправила волосы, видимо, чувствуя на себе взгляд Миши, и он сказал ей:

- Прости меня, Юля, но я не представлял себе, что девушка может быть так красива. Я никогда не видел такого лица, как твое.

Сказав это, он покраснел. Вспыхнула и Юля... Тут же улыбнулась, еле слышно сказала:

– Спасибо, Миша!

Миша смотрел на Юлию, и ему казалось, что только сейчас он по-настоящему понял, какое серьезное и нелегкое дело — жить на земле, как значительны отношения с близкими и друзьями.

Он понимал, что жизнь его идет по-обычному и он снова станет раздражаться, тревожиться по пустякам, сердиться на родных и друзей, но этот день он не забудет никогда,

будет вспоминать его всю жизнь.

На свободе, в таежной Прибалтике, Миша впервые, пожалуй, за все военные годы почувствовал, что ушел далеко от войны. В городе было не так. В городе война напоминала себя каждодневно: взрывами авиабомб, пожарами, движением военной техники, маршировкой немецких солдат и, наконец, каторжным гнетом «победителей побежденных».

Здесь, в сельском краю, о войне вспоминалось глухо, как вспоминается о беде, когда она уже в завершающей стадии. Виден был всюду мирный труд на мирной земле. Местами зрели хлеба, косили луга. И все это напоминало Мише свой поселок, жизнь там до войны.

Он тоже взял косу и попробовал косить. Сначала за домом на лужку — получится ли?.. Все вроде бы выходило как надо. За обычной крестьянской работой он забылся, убеждаясь, что не такой уж и калека.

Провожая их, Георг Вильман сказал:

- До хутора Ярвис далековато... Но ничего, найдете, - и рассказал, как до него добраться. - Да в сосновый бор, что поодаль Яниды, заверните, - добавил он. - Там бараки довоенных лесозаготовителей сохранились.

Урмас вспоминал о них...

До Ярвиса опять-таки шли лесными тропами, болотами, зарослями. Потом вышли к железной дороге, долго шли вдоль насыпи — и так до железнодорожной станции Кехра. А там, как-то сами, без подсказки, вышли к хутору.

Мать Оскара встретила их с какой-то настороженностью, подозрительностью, но все же приняла, накормила.

Она рассказала о Мишиных друзьях.

Сначала Урмаса дед в лесу нашел. Он лежал без сознания. Последствия после перелома ноги. Потом пришел Микк...

Многие месяцы Урмас не вставал на ногу. Микк надолго уходил, приносил еду и кое-какие лекарства и снова уходил. Стал партизанить.

Когда Урмас выздоровел, они пошли к фронту... Долго ждали кого-то, потом перестали ждать и пошли...

Через какое-то время они возвратились. Урмас принес Микка на руках, чуть живого. Его немцы ранили по пути в перестрелке. Выхаживали Микка тоже долгие месяцы. Теперь Урмас стал партизанить, кормить и лечить Микка. Привозил к нему мать и даже доктора.

Где они сейчас, не знает. Сказали, по возможности будут партизанить, а жить — где придется.

Вот и весь ее сказ. Да еще показала дорогу к сосновому бору.

Тропа ползла сначала по болотам, потом пошла в гору. Со всех сторон их окружал густой лес. Раньше Миша видел этот лес издали — он покрывал густой зеленью высокие, возвышающиеся на востоке до Ярвиса холмы, кажущиеся иногда синими. Здесь все так же необыкновенно: и большие, в обхват, деревья, и папоротниковые заросли, и огромные камни, разбросанные всюду, похожие на настоящие памятники.

Это было необыкновенное, суровое зрелище.

Они остановились на небольшой поляне и огляделись. Там, внизу, перед их глазами расстилались покрытые зеленью равнины. С холма был виден порт. Миша глядел на мачты кораблей в порту. Мачты издали напоминала деревья с обрубленными сучками. Такие деревья видел он в старом парке перед казарменным городком, где держали оборону под Выборгом.

Впереди был подлесок, а за ним оголенный бор. Таким он стал после артобстрела немцами позиций русских. Те сосны напомнили ему тогда мачты. Это и другие заметили и сказали о кораблях и мачтах. А теперь корабли напоминали о том парке. Об этой памяти Миша умолчал. Назойливыми и пародийными могли показаться Юле сравнения. Говорить он не стал, но сравнение пришло, и он не мог от него отстраниться.

Миша ждал, что вот увидит бараки, - тетка говорила, от Ярвиса до них близко. Но они шли, шли, а их все не было. Вокруг был глухой лес, без малейших признаков человеческого жилья, когда Юля вдруг обернулась и весело сказала:

– Вот они! Это уж точно!..

Сделали несколько шагов и очутились на небольшой полянке. В центре стояли два барака. По всему было видно, что совсем еще недавно здесь шли бои. На стенах зияли свежие следы осколков, сорванные двери, выбитые окна, изломанные деревья. У окна лежал исковерканный пулемет.

Вошли в барак. На полу валялись окурки, стреляные гильзы, консервные банки. В углу стояла разрушенная печь с плитой. Вдоль стен, против двери, тянулись нары, покрытые разным тряпьем. На чердаке Юля нашла заряженный немецкий пистолет.

– На!.. - протянула она Мише. - Командир без ружья — не командир, а так...  
- добавила она улыбаясь.

На склоне высоты обнаружили свеженасыпанный холмик. На нем лежала доска с надписью на эстонском языке: «Здесь похоронены неизвестные партизаны». На обратной стороне доски тоже надпись. Но уже другим почерком: «Отомстите за нас!»

Сердце у Миши сжалось от боли: «Неужели мои друзья здесь покоятся?»  
- подумал он.

Молча постояли у могилы. Юля поправила косо лежавшую на холмике доску, немного подумав, повернула ее надписью кверху.  
- Может, и не они... - подавленно сказала Юля.

Перевалили через гребень и спустились в долину. Юля — она шла впереди — неожиданно остановилась, подняла голову и стала прислушиваться.

- Кричит кто-то, - испуганно сказала она.

Снизу, из долины, доносились гортанные, чужие голоса.

– Немцы?.. - усомнился Миша.

Осторожно пошли вниз по тропе.



– Это точно немцы, - шепотом сказала Юля и остановилась.

Далеко от них, где тропинка пересекала извивающуюся вдоль долины реку, копошились десятка два солдат в синей форме.

– Уходим! - тихо сказал Миша, и, сгибаясь, бесшумно раздвигая кустарник, они пошли в сторону.

Вскоре голоса смолкли, опять наступила тишина...

На лужайке разложили свои припасы. Юля вынула из корзины солдатский котелок, сбегала к ручью за водой. И снова потекла для них мирная жизнь...

Ночь застала их в пути, всю дорогу Юля молчала. А когда подходили к хутору, глубоко вздохнув, сказала:

– Быстрее бы все это кончилось, Миша... - Голос ее стал грустным, тяжелым. - Войне бы конец.

Надежды, которые когда-то, как все надежды юности, обещали что-то необыкновенное, отошли сейчас далеко, и казалось, понадобилось бы бессмертие, чтобы они сбылись.

Уже на подходе к заветному мыску, увидев темную стену елей, купол огромного дуба, Миша понял, ясно почувствовал, что ему с домом Лутса будет трудно расстаться. Очень трудно... Тут, в этом доме, его сердце, его душевная сила.

На следующий день отдохали. «Сегодня воскресенье, работать грех», - сказала Юля.

Обедали под дубом, древним, широко разросшимся.

Под ним, сколько помнит себя старик, всегда стоял стол. Дуб был посажен кем-то из Лутсов. Будто даже самим Лутсом-прадедом, первым поселенцем на этом мыске. Под ним было уютно и в непогоду. Как под шатром. В жару могучие корни тянули из земли живую прохладу и отдавали ее дому.

Старику этот дуб внушал ощущение непрерывности лутсовского начала.

Дерево для того тут и растет, чтобы держать память обо всех Лутсах.

Поэтому старик посадил рядом, метрах в пятнадцати от первого дуба, молодой дубок. Пройдет время, и молодой возьмет все от старого, не даст бесследно пропасть родовому дубу Лутсов. И елки защитные по берегу мыска тоже неизвестно кем из Лутсов были посажены. На скудный песчаный мысок и земли плодородной кто-то навозил. Все тут сотворено руками и душой человека. Потому так и благодатен этот уголок.

Так, как этот мысок, этот дом и вся округа приозерья, строилась вся огромная Русь. И шло по ней, и идет вдоль и вширь извечное, не сразу видимое и постижимое мыслью могучее начало...

Но все равно за всей мощью и неодолимым движением видятся прежде всего усилия неповторимых в своем трудолюбии старателей. Они были и останутся рачителями земли, ее творцами.

Для Юлии таким старателем останется дедушка — Лутс.

Юля говорила о перемене погоды.

И старик предвещал, поясницу ломило, и птицы невеселые. И надо бы оно, - говорил он, - дождичка-то. Давненько уже не мочило. Не да... Не мешало бы. Для картошки и для огородов хорошо. - А когда еще утром вышли на улицу, определил, что и гроза будет. - Давит на землю что-то, это в грозе, - сказал, прислушиваясь к чему-то в воздухе.

Солнце поднималось из-за леса в ясном небе. И казалось, непогоды не предвещало. Но чистый восход и сухая и утренняя трава как раз и было, по крестьянским приметам, предвестником дождя и грозы.

На озеро старик не вышел не только из-за недуга. В момент такого рыбьего жора он жалел рыбу. Оберегал ее, как оберегают от обильной еды долго голодавшего. Мишу удивила непостижимая вера старика в свое озеро. Старик понимал что-то такое, чего не понимали другие. Как-то он сказал: «Озеро-то ведь тоже по жалости человеческой страдает». Эти слова прошли незаметно, как стариковское чудачество. А Мише открылся их смысл: он жалел озеро и верил, что и оно жалеет человека, жалеет и его, старика.

Дуб, приютив их, насупился от какого-то ожидания. Все угнеталось тишиной. Птицы прятались. Только стрижи и ласточки носились над самой водой и травой. Тяжелый воздух вдавливался, вжимался в живое тело сверхсилой.

Все затихло. Ни движения, ни голосов. Деревья насторожились. Листья тополей и берез прислушивались к тайне, выжидали. Только сосны изредка вздрагивали, тревожа покой.

После обеда старик прилег было отдохнуть. Но не лежалось. Крутился, вертелся и все же решил искупаться. Разделся у лодки. Вода освежила тело, и он поплавал. Одеваясь, заметил, как по глуби озера, под водой, прошла тень. Потянуло было свежестью. Дуновения не чувствовалось, просто каким-то магнитом на миг оттянуло от земли духоту. И тут же невзначай из-за далеких вершин леса показался краешек тучки.

Послышалось что-то, отдаленно напоминающее движение. Потом от этого движения по воде прошли буравчики. И опять огрузнело озеро свинцовой тяжестью. Прошла минута или две, и повторилось далекое урчание, озеро зарябило нервно, задрожало, протянулись по глади ветряные дорожки.

Старик беспокойно подумал о лодке, привязал ее покрепче. Постоял, наблюдая, как оживает вода, будя густой камыш у берегов.

Гром повторился явственно. Раскатистый и угрожающий, он надвигался на озеро из-за леса. Миша с Юлей вышли на улицу. Звонко, с трепетом зашумели осины. Качнулись березы, застучало что-то падающее по крыше. И разом рванулся вихрь, все меняя вокруг. Ласточки и стрижи скрылись, полетели сорванные с деревьев листья и обломленные ветки.

Юля закрыла веранду, чтобы не сорвало дверь с петель. С проулка в огород летел ворохом мусор, бил в стекла веранды и окон. День потемнел.

Один старик знал, каким бывает это озеро в бурю.

Рвется в небо, свирепеет. Закипает, пенится серой пеной. Бросает лодки, крутит их, переворачивает и выкидывает на берег. Он не подавал виду, что тревожился за лодку.

В окно было видно, как бурлило озеро. Порывы ветра разрывали стену деревьев и кустарника, и в прорехах видна была пляска лодки на воде.

Начали падать крупные дождины, будто брызги, поднятые ветром. Дождь с градом хлынул неожиданно. Он захлестал по окнам, забарабанил по крыше. Мгновенно вся площадка перед домом оказалась под водой.

Шума дождя не слышно было за ревом в вершинах деревьев.

Но вскоре вихрь, словно сбитый дождем, стал вроде утихать, поутих и дождь. Миша с Юлей выскочили на улицу...

Вокруг дома было неузнаваемо. На деревьях, на заборе висела солома, крыша завалена ветками, сорванными с деревьев. Грядки в огороде, кусты смородины, малины прибиты. Но в такой день всего этого не замечали и даже не удивлялись.

За ужином старик снова разговорился:

- Озеро наше — это совсем другое. Если по-настоящему разобраться, оно у нас тоже нива. И нива добытная. Рук вот только не хватает для него. Да и средства... Н-да, - Придвинулся ближе к Мише: - Ведь как тут рассудить...

Был у нас сосед мой по хутору. Дума была у человека. Идея важная. Н-да... Блаженной она многим казалась. Народ зубоскалил: рыбу, говорят, Георг, как цыган лошадей муштрует. Щуку поймает и зубы разглядывает, на что годится. А иную возьмет — да и обратно в озеро. Гуляй. Окуней там, лещей. Угрей хотел запустить. И выходило у него. Н-да...

Старик посмотрел в сторону, склонил голову, что дальше бы и незачем пустое говорить.

И все же старика сверлили идеи Георга, рыбоведа.

- Блажь блажью, - досказал он, - а если по делу — вперед старик заглядывал. Н-да... Рыбка наша не дороже бы морской обошлась. Да чего там дороже, даровая... Подход бы к этому делу иной. Да где уж, видно!.. - с досадой смолк. - Ей, брат, рыбе-то, что коровьему стаду, тоже свой пастух нужен, - продолжал он. - А мы ее, как траву, косой под корень. Кто где хочет. Не жаль ведь — не поили, не кормили. Н-да...

Начатый разговор об озере, о рыбалке соскользнул к разговору о военной поре. Старик рассказывал, как в лихую годину, с самого начала войны, озеро кормит их. И немцы на озере промышляют. Глушат рыбу взрывами.

- Что только не терпело оно, сердешное, - все переживал старик, жалея свое озеро. - Рвут его огнем, кидают все. И машины разные на дне, танки, оружие. Н-да... Знамо, по-хозяйски-то рассудить, так вытащить бы все надо... А людей-то сколько сгублено. Уж лучше и не говорить. Мы все ребятами, задолго еще до войны, а потом и взрослыми, любили и берегли наше озеро, - продолжал старик. - Привыкли к нему, как к своему, домашнему. Боялись обидеть его, бросить что. Н-да... А теперь вот уж и поганить стали, разные люди и нелюди без боязни его уродуют...

Смеркалось, но на веранде не зажигали огня. Голос старика тоже был приглушенный, сумеречный. И потому старик казался и вправду хозяином озера, о котором говорил. Его водяным. В такого водяного дети верили и верят.

Когда старик ушел в темноту, в самую ночь, то подумалось Мише, что ушел он не в постель, а в свое озеро. И что он кормил их рыбой, пойманной в озере, кормил на радостях. Как хлебобоб угощает новым хлебом с возделанного им самим и только что убранного поля. Угощает щедро, чтобы был этот хлеб у него спорым.

Старик знал, как никто, и нравы озера, и жизнь вокруг него своей земли. Ему трудно было мириться, что уже все не такое за околицей его усадьбы. И он с тревогой жаловался: «Человек стал неболевым к своему дому, не то что к общему наделу... Все не его руками делается. Оттого это».

Тут была доля правды, что боль «за свое» утрачена. «Свое» - это не личное. Оно было «охватистее» личного, по понятиям старика. Озеро — тоже вот было для него «свое». Оно-то, такое разумение своего, не каждому дается. Об этом «своем» и «не своем» не только думали, но и страдали старики. «Не батраки ведь мы. На своем поле работаем. Так как же можно спустя рукава дело делать!»

- Теперь в Тапу, к матери Микка, и на этом поставим точку, - сказал Миша Юле.

День выдался таким же ясным, солнечным и теплым, какими бывали все дни двух последних недель. В полях было как-то пустынно. Даже щедро залитые солнцем, они нагоняли грусть и уныние. Хот уже наступила пора полевых работ, а людей на полях было мало, не слышалось и ржания лошадей. Крестьяне все еще с оглядкой выходили на работу. Их пугала близость немцев, страшили смертоносные мины, разбросанные по нивам. Многих женщин и стариков немцы мобилизовали на оборонные работы или отправили на работы в Германию.

По пустынному полю изредка пробежали испуганные зайцы, над нивами лениво махали крыльями сытые вороны. Они садились то на брошенную каску, то на остов разбитого автомобиля и равнодушно смотрели на кое-где работающих крестьян или случайных прохожих.

Не замедляя хода, Миша с Юлей перешли через поржавевшие рельсы железнодорожного полотна, и скоро маленькая с выбитыми окнами будка обходчика осталась позади.

— Последняя надежда, - озабоченно сказала Юля.

Сперва шли лесом по тропе, потом свернули с тропы и пошли целиной. К полудню снова вышли на тропу, и идти стало легче. Тропа обходила густые заросли, в пади, возле небольшого ручья, сделали привал. Съели по куску хлеба, запили его водой и с часок отдохнули.

После привала еще долго шли лесом и только к вечеру выбрались на дорогу. Снова начались поля, покрытые кое-где бороздами картофельной тины и зреющей рожью.

По пути нагнали двух женщин с котомками за плечами. Обе босиком, в телогрейках и длинных, до пят, черных платьях.

Женщины оказались из Тапы, а когда узнали, что Юля их землячка, разговорились на родном языке. Но Миша их понимал свободно.

Рассказывали, как там голодно. Много говорили о разных зверствах фашистов, о том, что они творят, предчувствуя свой конец.

Юля спросила одну из тех, что помоложе, знает ли она семью Тяяль. Женщина остановилась, внимательно посмотрела на Юлю.

- Знаю, а как же... Кто ж их не знает, - ответила она. - Тетка Лайма и сейчас там живет.

Она помолчала с минуту, потом, будто спохватившись, спросила:

- А вы кто будете?.. Откуда?

Юля назвала свой хутор и пояснила:

- Неподалеку — хозяйство лесничего.

- Как же, как же... Бывала там. Перед войной лес пилили... А с дедом Лутсом чай пила. Добрый старик, добрый, ничего не скажешь.

Некоторое время шли молча.

- В родстве с дедом Лутсом? - полюбопытствовала спутница.

- Внучка его, - сказала Юля.

- А этот? - кивнула она в Мишину сторону.

- Тоже... Братик мой, - солгала Юля.

- Добрый парень, добрый, ничего не скажешь. - И, нагнувшись к его уху, шепнула: - Сынок к ней приходил, Микк... к тетке Лайме-то, - добавила она.

Миша повернулся к женщине, схватил ее за руку, «Лжет?»

- Не верь ей, парень, - сказала вторая спутница, что постарше, увидев, как ошарашило Мишу ее сообщение, - болтает пустомеля.

- Вот те крест!.. - настаивала на своем женщина, что помоложе. - Нужен он вам, чует мое сердце, ох, как нужен!.. Сходите к тетке Лайме, сходите!.. Подошли к развилке дорог. Женщины остановились, попрощались с ними и повернули на Эсну.

- Нам сюда, - сказала молодая. - Не болтушка я, милые... Сходите к тетке Лайме... Как войдете в город, идите до первого поворота. Там — второй дом направо.

Оставшись одни, присели на обочине и, отдохнув немного, снова пошли. Стало смеркаться.

Через час-полтора увидели огни города — тусклые, трепещущие вдали точки. Огни то появлялись, то пропадали, то становилось немного ярче и число их увеличивалось. Так было до тех пор, пока не подошли к городу.

Здесь рос высокий кустарник, он скрывал от них город. Прошли еще с полчаса, может быть, больше, когда кусты кончились, путники вошли в город.

Шли по совершенно безлюдной окраине — по улице, которая тянулась вдоль железной дороги. Редкие, тусклые фонари плохо освещали улицу. Знакомая Юле до мелочей, она казалась сейчас чужой. Вот скамейка у ворот, палисадник, пожарная каланча... И ни одной живой души, все словно вымерло.

Вскоре подошли к дому, в котором, по словам молодой женщины, жила мать Микка.

— Здесь, - сказала Юля взволнованным шепотом и остановилась.

Миша открыл калитку, вошли во двор.

Юля осталась во дворе, спряталась за домом, откуда хорошо видны двор, калитка. В случае чего она сможет предупредить Мишу об опасности, а сама уйти огородами.

Миша подошел к двери, показавшейся ему совсем низкой, постучал. В маленьких оконцах горел свет, и он видел, как за окном мелькнула тень. Постучал еще раз, сильнее. К двери подошла женщина. Миша узнал это по осторожным шагам. Она остановилась возле двери, прислушалась.

Тогда он постучал снова, но теперь еле касаясь пальцами.

— Кес сеал он? - спросила женщина вполголоса.

У Миши заколотилось сердце. Он не знал, что ответить этой женщине за дверь, и некоторое время находился в замешательстве.

— Я друг вашего сына, - наконец нашелся что сказать.

Говорил эти слова по-эстонски почти шепотом, но женщина услышала их и стала открывать запор:

— Сейчас я... Сейчас я...

Она хотела поскорей открыть, но от волнения у нее дрожали руки, и она долго возилась с запором, все время приговаривала:

— Сейчас я... Сейчас я...

Наконец дверь отворилась.

— Проходите! - тихо сказала она.

Миша вошел, увидел встревоженное лицо молодой женщины.

Да, правду сказала попутчица, Микк иногда приходит домой вместе с товарищем. От ран оправился. В последний раз дома побыли всего одну ночь и ушли. Куда?.. Ничего не сказали. Это, видимо, были два таких друга, связанных тем чувством, которое всегда отличает истинных друзей, уверенностью, что каждая пустая мелочь, происшедшая в жизни одного, всегда значительна и интересна для другого. Миша хорошо знал и Микка, и Урмаса и поэтому не сомневался в их такой дружбе.

- Как только заглянут, непременно скажу о вас, - заверила Мишу мать Микка.

Миша вышел во двор к Юле, и они молча, в расстроенных чувствах, пошли в нелегкий обратный путь.

Весь август простоял на редкость знойным. В этом зное, грустном уже к исходу месяца, начинали возникать прозрачные нити паутины. Они плыли в полуденном мареве и, почти незримые,

нанизывались на темную зелень старых елей. Сверкали в них, как седина в бороде угрюмого лесовика.

Листва на деревьях еще не взялась желтизной, но уже черствела. Березы беспокойней, без задора, шелестели на озерном ветерке. Осины тоже ожидали своего времени, чтобы вспыхнуть осенним полымем, и трепетали. В листьях ив прибавилось серого цвета, и они начинали ржаветь и скручиваться... В каждом дереве проступала своя примета конца лета и наступающей осени. Печально прижалась к земле ботва на грядках в огороде, сникла рава на лужайках.

И состояние деревьев, и вид выщипанных и вымятых лужаек, и зрелость огорода, - все это наполнило душу Юлии ощущением перемен и необъяснимого беспокойства. Раньше ей ничего похожего не приходилось испытывать. А тут внутреннему взору ее открылся извечный зов природы.

В такие минуты одинокого пребывания у озера она и удивлялась, и пугалась, что оставалась наедине с целым миром, представшим перед ней с полной доверчивостью и обнаженной откровенностью.

Каждый раз она хотела рассказать о переживаемом Мише, но все пропадало из глаз, из мыслей, когда он оказывался рядом с ней на берегу озера. Тут же находились чувственные объяснения, что такое можно увидеть и понять в интимной близости, когда все — и озеро, и трава, и деревья, и ты сама — одно целое.

До этих часов созерцания окружающей жизни мысли Юлии не шли дальше того, что было связано у нее с работой и домом. А тут она задумалась о вечности. И растерялась, словно бы встретила запоздалой любовью. Как бы внезапно обнажился перед нею неведомый мир, который ближе всего был душе человека. Мир этот представился ей неизменным во времени. Был нетленным и всегда верным человеку, служил ему. Все вроде бы так было и раньше. Только она ничего не замечала, не думала о таком...

Часы пребывания ее наедине с природой что-то изменяли и в ней самой.

Она уже по-другому ждала Мишу. Становилась теплее, мирясь с неизбежностью и самих ожиданий, и переживаний. Думала о подругах, далеких от нее в эти минуты, о Мише, который теперь каждый день, и в эти минуты, уходил от нее в лес, с дедом за грибами, и хотела, чтобы и к ним пришло все то, что единила ее душа с окружающей жизнью природы, что ей самой сейчас открывалось.

«А может, это и не приходит раньше определенного времени?» - тут же спрашивала она себя. Задумывалась и снова бралась за книгу. Но откладывала ее. Начинала томить сладостная грусть, навеянная почти что уже угадываемым узнаванием неизбежного.

К обеду вернулся Миша. Он вошел в дом, постоял на веранде, сбросил корзину с плеч, проследовал на кухню, напился воды. Заглянул было в комнаты. Убедился, что во всем доме ни души, заторопился к озеру, зная, что Юля сидит там.

Увидел ее под ивами. Она сидела на новой скамейке за столиком, сделанным им на прошлой неделе. Держала перед собой книгу. Читать не читала, глядела мимо раскрытых страниц сквозь ветлы в заозерную даль.

Чем-то непохожая на себя прежнюю, в летнем с желтоватыми цветами платье. В нем Миша еще не видел ее. Близкая и отчужденная в одно и то же время. Но что-то в ней увиделось Мише такое, отчего захотелось кинуться к ней и задушить в своих объятиях.

– Пришли! - воскликнула она, увидев его. Оттолкнула от себя книгу, вскочила. - Как ты долго...

Постояла, опираясь рукой на стол, шагнула ему навстречу. Но Миша несколькими прыжками опередил ее. Прижался щекой к ее щеке, обнял ее за плечи. Проникся нежностью, видя Юлю непривычную, будто всеми оставленную и, как ему казалось, тоскующую.

Миша был близок ей духовно в эту минуту. Он не нарушал ее уединенности, не отрывал ее от мыслей. Только и всего, что их было теперь двое. И они одинаково видели и озеро, и ивы над водой, и ели в солнце. И были счастливые и от радости встречи, и от этого одинакового видения природы.

Юля угадывала, что Мише доступней, чем ей самой, понимание природы.

Его бы не удивило, если бы она рассказала о своем видении деревьев, озера, травы, смене их настроения, похожести солнечных лучей на летящие нити паутины. Но она не говорила об этом, не знала, как сказать.

Сказала о другом:

– А я тебя ждала... Очень!

Миша с Юлей больше не ходили на розыски друзей, ждали, что со дня на день они сами теперь явятся к ним. Миша чувствовал, что они живы и где-то рядом, но найти их было сейчас все равно что иголку в стоге сена. Да откровенно говоря, и побаивался он... Хотя во многих селах немцы и не размещались, но все же ходить по всей округе было небезопасно.

Боялся за себя, а еще больше боялся за Юлю... С каждым днем все сильней они привязывались друг к другу.

Однажды вечером перед тем, как лечь спать, кто-то постучал в окно.

Миша замер от испуга, а когда выглянул в окно, увидел двоих с автоматами на груди. К ним вышел Михкель Лутс. Некоторое время они о чем-то говорили. Миша достал из-под подушки пистолет, приготовился...

Снова подошел к окну. Один, побольше, скинул автомат, повернулся в Мишину сторону, и Миша узнал его.

– Урмас! - крикнул он срывающимся голосом. - Урмас!..

На лице его было такое выражение, что Миша не выдержал и еще раз крикнул:

– Урмас! Урмас!

Они кинулись друг другу навстречу.

Урмас застенчиво улыбнулся.



– Здравствуй, Урмас!..

Миша остановился, помедлив, приглядываясь пристальнее, шагнул к нему, протянул руку, сжал его ладонь в своей руке, обнял.

– Здравствуй, дружище! - повторял он. - Здравствуй, Микк!

Ладонь у Урмаса была широкая и жесткая. Не такая, как у Микка.

Вошли в дом. Миша остановился возле двери, не в силах идти дальше.

Стоял, улыбаясь, сквозь какой-то туман различал лицо о чем-то говорившего друга, хотел что-то сказать и не мог, шевелил только губами.

– Ну, наконец-то, - хриплым от волнения голосом сказал Урмас. - А нам тетка Лайма о тебе сказала... Мы даже не поверили.

– Где же ты пропадал, чертяка? - набросился на Мину Микк.

– Ходили и вас всюду искали, - улыбалась Юля.

Сияющими глазами она смотрела на Мишу.

– А мы тебя похоронили... Так где ты все же плутал? - снова терзал его Урмас. - Где Алексей?

Миша рассказал о гибели Алексея, о прожитом времени, прежде чем попал сюда, в этот гостеприимный уголок Эстонии... Это был долгий рассказ, рассказ не только о себе, но и о людях, помогавших ему выжить.

Все напоминало канун большого праздника. Юля истопила баню, порылась в дедушкином комодe, подобрала хотя и старенькое, но чистое белье.

Баня стояла около старых елей, ближе к озеру. Она казалась Мише похожей на их баню, в его поселке. Светлая, с выскобленным полком, жарко натопленная. Они парились в ней до полного утомления. Приходил старик, справлялся: «Живы, что ли?..»

Сходили к озеру, искупались, а главное — сменили белье. Ведь они не меняли его очень давно, и оно, как острил Микк, было не первой свежести.

После бани Юлия угостила их — чего тоже никогда не было — липовым чаем с медом. Урмас достал из вещмешка бутылку самогона.

Выпили за своих друзей, погибших в боях, за добрую и вечную их память, за тех, кто жил и ушел из жизни за освобождение Родины. И так, через память о них, пришли к разговорам о своем и ратном, потому что им никак нельзя было обойти эти разговоры.

Прямым поводом их встречи было как бы фронтовое братство. Но вот встретились — и опять разговоры. Радости встречи мешала какая-то досадная обида и на саму войну, и на себя. Что вот они, люди, впустили ее в свою жизнь. Теперь изгоняют, а все равно невесело признаваться в первой оплошности.

До поздней ночи сидели они за столом, вспоминали прожитое время в лагере, рассказывали о своих похождениях после побега. Потом улеглись спать. Юля постелила им прямо на полу. Поговорили еще немножко, но усталость взяла свое, друзья уснули. А Мише не спалось.

Радость встречи переполняла его, он поднялся и вышел в сад. И опять мысли, мысли...

Миша посмотрел на небо, отыскал Большую медведицу и полярную звезду. Вот так же они с Арно смотрели ни них в последний вечер, когда он уходил в поселок за продуктами...

Миша не заметил, как из дома вышел Урмас.

– Миша! - крикнул он. - Ты чего это?..

От неожиданности Миша вздрогнул:

– Так просто. Не спится чего-то.

– А я проснулся, смотрю — тебя нет... - Урмас подошел к Мише.

– Хожу вот, на небо смотрю, - улыбнулся Миша. - Гляди, звезд-то сколько! Никогда столько не видел.

– Скоро войне конец, - неожиданно сказал Урмас.

– Что, примета такая? - спросил Миша.

– Мне мать говорила... вон по той дороге, где светло, Иисус Христос ходит и звезды сеет. Что на дорогу попадет — остается, а что мимо — вниз летит, людям на счастье. - Урмас глубоко вздохнул и повторил: - На счастье... Видишь, как часто падают?..

– Вранье все это, - сказал Миша.

– Я знаю, что вранье, а верить хочется, - улыбнулся Урмас и сел на скамейку.

– А ты знаешь, что такое звезды? - спросил Миша, сядя рядом с ним. И стал рассказывать ему про звезды все то удивительное, что сам знал о вселенной.

– Поживем, еще много узнаем, - сказал Миша. - Учиться нам надо.

– Конечно надо, - согласился Урмас.

– А мать у тебя, видать, сказочница, - улыбнулся Миша.

– Мать у меня хорошая, добрая... Плакала, когда я уходил.

– Что ж ты мать обижаешь, остался бы, - сказал Миша.

Урмас глубоко вздохнул:

– Можно бы и остаться, но я же солдат... А это равносильно дезертирству. Да что об этом говорить, решили, значит, так надо, - отрезал он. - Пойдем, поспим малость, скоро утро. Завтра поговорим... - и скрылся за дверью.

А Миша пошел по саду. Надо было подумать, разобраться во всем происшедшем за эти дни, часы, минуты. Что-то менялось и в сознании, и в реальной жизни. Утром еще думалось не так, как сейчас. Мало было желания привыкнуть к Юле и чтобы Юля привыкла к нему. Сейчас это было не главным. Верх брало другое. Юля была сейчас уже частицей его самого.

Бойцы на фронте знают, что выжившие останутся в вечном долгу, перед погибшими. Но никто не знает, какая самому выпадет доля...

Мише пока выпало быть в долгу, а в чем этот его долг должен выражаться?.. Об этом он спрашивал себя и раньше. Считал, что должен выражаться в конкретном деле. И теперь приходил к мысли, что этого мало. И даже не это нужно. Нужно, чтобы чувство долга слилось с духовной сутью человека, стало его характером. Чтобы долг выживших перед погибшими вошел в совесть, составил нравственную основу нового человека, передался потомкам...

Возрастала ответственность и тяжесть исполнения этого долга...

Сейчас все в его отношениях к Юле можно свести к к видимому, внешнему — какой-то духовной заботе. Со временем духовная забота уступит место материальной. Это тоже нравственно — помочь ближнему, но этого мало. За такой заботой может укрыться главное, то, чего невысказанно требуют от выживших погибшие, - не забывать того высокого, что вело тебя на смерть ради живущих.

Миша поднялся, когда солнце уже было высоко. С полотенцем через плечо пошел на озеро.

Только что прошел дождь. Пронеслась настоящая летняя гроза, короткая и стремительная, с молниями, громом и бурными потоками воды. Но вот облака рассеялись, хотя в отдалении еще погромыхивало, и небо, словно умытое, вновь засияло ослепительной голубизной. Все вокруг посвежело, краски стали ярче. На дорогах блестели лужи, и в них, топорща перышки, резвились воробьи. Они купались и щебетали, своей трескотней поднимали настроение.

Урмас сидел на корточках возле ручья, стирал белье. Миша сел на камень рядышком с ним.

– Часто лагерь вспоминаешь? - спросил он Урмаса безо всякого повода.

Урмас оторвался от белья, посмотрел на Мишу.

– Вот вспомнился, чтобы ему... - пояснил Миша свой вопрос, - покоя с утра не дает. Видать, оказия ему такая представилась, явиться передо мной. Он и рад... Напомнил о себе, как злая ведьма, - улыбался Миша.

– Да, такое частенько и на меня находит... - отозвался Урмас. - И верно, порой нахлынет — тут уж, как от злого пса, не вдруг отобьешься... Микк вот отмалчивается, забыл, видимо, или просто не хочет говорить... Я тоже стараюсь не вспоминать. - Урмас снова наклонился к воде, потом распрямился, добавил: - Нам, выжившим, как бы вторая жизнь дарена...

– Мне порой кажется, что все, что там происходило, было и со мной, и не со мной, - сказал Миша.

- Жестокая штука — война, - добавил Урмас. - Она в выжившем, видимо, на всю жизнь осядет... Будет грызть, как может.

Урмас достирал белье, выжал и развесил на кустах.

– Когда в дорогу? - спросил Миша Урмаса.

– А хоть завтра, я готов, - сказал он.

Поздно вечером сидели за столом. Урмас раздал карты, объявил: «Черва козырь». Потом вдруг смешал колоду, проговорил:

– Сидим, как зайчишки, играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным, напряженным, такое выражение озабоченности отразилось на нем.

Микк, предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

- Да, оказаться на той стороне, да еще живым, не так-то просто... Надо как следует выспаться, - и поднялся из-за стола.

И Мишины мысли были заняты Юлей: «Вот мы завтра уйдем, а что дальше?.. И все?.. И больше никогда-никогда не увидимся?.. Нет, такого не должно быть...»

Он нашел Юлю во дворе. Она стояла в незнакомом ему красном жакете, повязанная платком. Миша подошел к ней, протянул руки, привлек ее к себе.

- Не надо, - тихо сказала она. - Давай посидим минуту, а потом я пойду. Они сидели молча, но Миша чувствовал ее волнение. Немного склонив голову, она смотрела ему в глаза. Губы ее были сжаты, но, казалось, он слышал ее голос. Все было ясно, словно бы они уже все сказали друг другу. Да и что тут могли сделать слова.

Одно ему было очевидно — в эти минуты он навсегда терял душевный покой. Что бы там ни ждало его впереди, покоя в душе его не будет. Скроет ли он чувство к девушке, сидящей рядом с ним, вырвется ли оно наружу и станет его новой судьбой, - он уже не будет знать покоя. В постоянной ли тоске по ней, или в близости, соединенной с мучениями совести, - покоя ему не будет.

А Юля все смотрела на него с каким-то невыносимым выражением счастья и отчаянья и думала: он не склонился, устоял в столкновении с огромной и безжалостной силой, а как слаб, беспомощен здесь, на этой скамейке. Взяла его за руку и сказала:

- Мы больше не увидимся, я это предчувствую. Мы расстанемся навсегда.

Он почувствовал смятение, которое испытывают люди, умирая от сердечной болезни, - сердце останавливалось, и мироздание начинало шататься, опрокидываться, земля и воздух исчезали.

- Я вернусь, Юля!.. Я обязательно приду к тебе, как кончится война. Миша обнял Юлию и поцеловал ее в пухлые, сладкие, как мед, губы.

- Милый мой, хороший, бедный мой, свет мой, - шептала она.

- Да, да, да, я обязательно вернусь, вот увидишь.

Он целовал ее руки, и когда он держал в руке ее горячие маленькие пальцы, ему казалось, что непоколебимая сила ее предчувствий больше не свидеться с ним соединена со слабостью, покорностью, беспомощностью...

Она поднялась со скамьи, пошла не оглядываясь, а он сидел и думал, что вот он впервые смотрел в глаза своему счастью, свету своей жизни, и все это завтра уйдет от него. Ему казалось, что эта девушка, чьи пальцы он только что целовал, могла бы заменить ему все, чего он хотел в жизни, о чем мечтал

Миша отбросил мысли, как говорится, опомнился, тихо окликнул Юлю:

– Вернись... Юля, ведь, я ж люблю тебя!

Юля вздрогнула при его последних словах, остановилась, тут же отступила еще на несколько шагов, опустив голову, подошла. Тяжелая прядь волос скатилась с плеч на грудь.

Но вот она привычно встряхнула головой, откинула волосы, подняла глаза. И Миша увидел на ее лице трудную улыбку.

Он смотрел на нее, не видя ни белого платочка на ее плечах, ни красного жакета, ни ее глаз и лица, ни ее рук и плеч... Он словно не глазами видел ее, а сердцем. А она ахнула и подалась немного назад, как обычно делают пораженные неожиданностью люди.

Миша шагнул к ней, закрыв глаза, чувствовал и счастье жизни, и готовность вот тут же, сейчас умереть, и тепло ее касалось его. И для того, чтобы переживать чувство, которого он раньше не знал, - счастье, оказалось, не нужно было ни зрения, ни мыслей, ни слов.

Она спросила его о чем-то, и он ответил, идя следом за ней по темному коридору и держа ее за руку, словно мальчик, боящийся остаться один в толпе.

Они вошли в ее комнату, сели на кровать.

И снова он перестал слышать свои и ее слова. И снова возникло в его душе ощущение счастья и чувство хоть сейчас умереть. Она обняла его за шею, и ее волосы, точно теплая вода, коснулись его лба, щек, и в полумраке этих темных, рассыпавшихся волос он увидел ее глаза.

Ее шепот заглушил войну, скрежет танков...

Он пришел к себе в комнату... Какой неудобной, одинокой показалась ему эта тихая комнатка, кровать, подушка в белой наволочке, кружевные занавески на окнах после милых счастливых ночных минут. И душа сразу опустела, ушла куда-то, пусто было у него внутри...

Миша не удивился ее приходу, вроде бы ждал, молился, чтобы она пришла.

Юля вошла робко, с бледным, потерявшимся лицом, стала, переступив порог и не закрыв за собой двери.

Странное дело, с ее появлением горькое, тягостное опустошение в душе исчезло. Снова и снова почувствовал, что не один на свете, есть светлая, счастливая связь с будущим. И потому была чуждой мысль, что надо расставаться с надеждами, которые вынашивал, лелеял, обжигая сердце радостью.

Она прошла в глубь комнаты и села на край кровати. Сидела беспомощная, потом поправила волосы, провела ладонями пол лица, будто что-то снимая с глаз. Достала платок из карманчика жакета.

- Самое трудное было решиться прийти к тебе, - сказала она. Бледность с ее лица начинала сходить, и оно занялось краской. - Но не прийти я не могла... не было сил не прийти, - повторила она. - Как хочешь, так и суди. Ведь уже сегодня я потеряю тебя навсегда.

Эти слова она высказывала мучительно, со стыдом, не уверенная, что может такое ему говорить. Но и не высказать не было у нее права.

– Ты не гони меня, - неожиданно проговорила она, - я просто посижу с тобой. Я ни во что не верю. И в сына не верю, что он будет... Ни во что не верю. Если не будет тебя, значит, и ничего у меня не будет... Я буду ждать тебя каждую минуту. Теперь только со страхом. Страх во мне один остается, больше ничего. Я вся в страхе: пока вижу тебя — живу, тебя не будет — и меня не будет...

Миша обнял ее за плечи.

Она сидела беспомощная, послушная. Воздух, который вдыхала она, обжигал ее губы. Таким же горячим было прикосновение его рук. Горячий угар кружил голову, и по телу разливалось неизведанное, желанное томление и ожидание. А он держал ее за плечи, прижимал к себе и все ниже опускал по ее рукам свои руки, судорожно перебирая пальцами. Но когда он, потеряв власть над собой, стал клонить ее, порывисто дыша, начал целовать, она вдруг обняла его и зарыдала, как ребенок... Было темно в комнате, и он смутно видел ее лицо. Щекой она прижалась к его щеке. И он ощутил такой жар в ее теле.

Потом она сидела у самого спуска к озеру, и где-то внизу волна чуть слышно плескалась о травянистый берег.

Как счастлив был Миша тогда и как хорошо у него было на душе той ночью!..

Уже большой желтый круг солнца стоял довольно высоко над лесом, и как им не жалко было расставаться с этой ночью, она уходила...

Дне Юля была, как Мише показалось, подозрительно весела. Она, видимо, хотела разрушить, разбить то новое, что уже возникло и что уже нельзя было разбить. Какой-то стал иной, не такой, каким был вчера, человек, получивший власть над ней, с жалобными глазами несчастного парнишки. И от этого несоответствия она терялась, хотелось испытывать к нему снисходительное чувство, даже жалость и не думать о его силе. Ее несчастьем оставалась свобода. Но свобода уходила от нее, и она была счастлива.

Воздух был туманный от сырости, от запаха леса, от дыма, идущего из кухни.

Юля, прощаясь, обхватила руками его шею и целовала в лоб, волосы, растерянная, как и он, внезапной силой чувства...

Миша постоял немного, пошел. Он шел, и счастье росло в нем, кружило голову, казалось, что это — начало, завязка того, чем наполнится вся его жизнь.

Юля все уплывала, удалялась, а потом стала казаться неподвижной среди зеленых деревьев.

Так и запомнилась она ему на всю жизнь: стоит, уронив руки, молча глядит, как все дальше уходит он от нее...

Остро, до ощущения физической боли в груди,

Миша вдруг почувствовал, понял, что, случись все у него с Юлей по-иному, не попади он на этот хутор, из жизни его самого неисполнимо ушло бы все светлое на земле. Навсегда потерял бы душевный лад. И тосковал бы неосознанно, как тоскуют в предчувствии беды.

Все в его сознании было подчинено теперь одной цели — добраться до своих. Добраться и встать в строй освободителей Родины. Помочь ей как можно быстрее закончить войну и вернуться сюда, в этот счастливый уголок любви и света, к Юле...

На этом и оборвалось у него все с Юлей. Вместе с этим оборвалась и бесконечно долгая нить живой памяти о фашистской каторге.

Обрывалась, как вроде бы наступала странная болезнь беспамятства.

Теперь место его заняла любовь к Юле и бесконечная тоска по ней...

Он ушел от нее со смутным чувством, все же не очень уверенный, есть у него жена или нет.

Потом, на фронте, в сплошных боях, видя рядом смерть, он вспоминал ее, помнил о ней. Несчастья, которые были вокруг, делали людей добрее и терпимее. И он по-прежнему вынашивал надежду на встречу с Юлей, веря, что выживет и вернется.

Было знойно. Лоснилась и отсвечивала галька в ручье. Дрожал, струился воздух. Стояли последние дни прибалтийского лета. Зелень, еще не так давно акварельно-темная, посерела, листва на деревьях еще не взялась желтизной, но уже черствела, и все больше с каждым днем настаивался, ржавел зеленый океан леса.

Прямоком вышли к проселочной дороге. По соображениям безопасности, пошли не по ней, а рядом, шли медленно, пробирались сквозь заросли, раздвигая ветки, царапая руки. Шли утомительно долго, и ничего, кроме небольших холмов, покрытых мелким кустарником, придорожных зарослей да болот, не было видно. Вроде бы все шло нормально, никаких препятствий и осложнений.

К вечеру подошли к высокой горе.

– Заберемся на вершину, посмотрим, что впереди, - предложил Миша. -  
Заодно и отдохнем, хорошее местечко.

Друзья согласились.

В котловине у подножия чистейший мелкий песок. Выше на скате повисли корзинами кустарники. Осыпавшаяся почва обнажала их корни. Пришлось обогнуть гору и выйти на вершину с обратной стороны. Здесь оказались сплошные заросли. С вершины местность просматривалась на большее расстояние и в разные стороны. Сразу за горой — река. За рекой — лес, а еще дальше — железная дорога. Слева, в трех с небольшим километрах, железная дорога упиралась в рабочий поселок. Справа она терялась в лесных зарослях.

– Немцы!.. - тихо сказал Микк. - Смотрите, склад в лесу.

Складская площадка, с трех сторон обнесенная колючей проволокой, вплотную подходила к реке.

На ней ровными рядами возвышались штабеля каких-то ящиков. По площадке двигались люди.

Послышался слабый звук моторов. Он то усиливался, то затихал, то возникал с новой силой. Наконец, из леса на площадку вышло несколько грузовиков, они подкатили к штабелям. Началась погрузка.

Путники легли в траву. Солнце быстро опускалось к горизонту.

Последние лучи осветили вершины деревьев. Смеркалось быстро. Приподнявшись на локтях, наблюдали за часовыми возле штабелей — они были отчетливо видны и привлекали к себе внимание.

Вот они идут рядом, доходят до середины площадки, расходятся. Один идет к левому штабелю, второй — к правому. Как по команде, поворачиваются, идут на сближение и снова рядом...

– Пройдем подальше вдоль берега, там и переправимся, - предложил Урмас.

– Рискованно, станция близко, - сказал Микк.

– Другого выхода нет... Хотя бы метров двести-триста.

Выход был: можно было вернуться назад и обойти железнодорожную станцию с другой, противоположной стороны. Но это большой, многокилометровый крюк и большая трата сил и времени. Да еще неизвестно, какая обстановка с той стороны..

Решили все же переходить речку здесь и двигаться по намеченному маршруту.

Спустились с горы, пошли вдоль берега. Становилось все темней. После теплого дня земля еще не остыла, а воздух заметно похолодел. Из-за леса донеслись звонкие удары о буфер. Тихая ночь отчетливо передает звуки — даже слышно было, как немец положил стержень на тарелку буфера.

– Склянки бьют... - шепнул Урмас. - Это по-морскому. Слышите, как звучно?

Раздвинув тесно переплетавшийся кустарник, вышли на берег. Было уже темно, но близкие предметы различались довольно ясно. Миша вошел в воду, несколько шагов сделал вглубь. Дно было вязким, илистым, прибрежная полоса сплошь покрыта листьями кувшинок.

– Нельзя ночью, уж слишком звучно, - едва слышно сказал Урмас. - Настороженный всплеск — крышка... подождем утра?..

– Утром что — иначе? - спросил Миша.

– Утром в лощинах туман, а он поглощает звуки. Да и видимость нулевая. Решили ждать рассвета, заодно и отдых, сон солдату и на фронте нужен.

Снова поднялись в гору. Урмас и Микк улеглись на сухую траву. А к Мише сон не приходил. Он взял у Урмаса автомат и уселся рядом с ними. К рассвету равнина окуталась туманом. Миша поднялся, разбудил друзей:

– Пора.

Вверху туман редел, но на земле было почти темно. Густой туман ограничивал видимость несколькими шагами. Они приблизительно ориентировались на местности, но идти вдоль дороги не решились -



можно случайно наткнуться на немцев. Пошли кустарником. К берегу вышли немного правее выбранного накануне места.

- Пойдем по одному, так надежнее, - шепнул Миша. - Интервал минут пятнадцать-двадцать. Кто первый?

- Я пойду, - согласился Урмас. - Встреча — за железной дорогой.

Урмас перекинул через голову ремень автомата, медленно вошел в воду. Вода поднялась по пояс, по грудь, и он осторожно поплыл к тому берегу... Тишина. Теперь все зависело от ловкости Урмаса. Миша и Микк сидели и отсчитывали время. До берега метров семьдесят. Значит, Урмас там будет минут через пять. Пять долгих томительных минут — и берег. А там — неизвестность... красться, ползти, вслушиваться.

Микк, пожалуй, переживал больше Миши, весь ка-то сжался, замер.

- Не бойсь, обойдется, - успокоительно шепнул Миша. - Все идет как надо.

Микк отсчитывал минуты: пять минут... семь...

- Сейчас Урмас выберется на берег, - шепнул он.

Восемь... девять минут.

- Ползет по ложине.

Десять минут... двенадцать.

- Железная дорога. Поднимается, осматривается вокруг, переходит железную дорогу.

Пятнадцать минут... семнадцать!.. Тишина.

- Порядок!.. Я пошел.. - Теперь Микк перекинул автомат через голову и медленно вошел в воду. Несколько секунд — и он исчез в тумане.

Миша снова замер в ожидании, также стал отсчитывать минуты. Когда время, отпущенное на переправу, кончилось, Миша вошел в воду, также поплыл к тому берегу. Плыл ровно, осторожно. Вскоре он задел руками речное дно, всем телом прижался к нему и беззвучно выполз на берег. Ориентиром ему служила эстакада. Она оказалась несколько левее. Он поднялся и тихо пошел в сторону эстакады. С верхушек деревьев туман уже скатился, а внизу, над рекой, он то вдруг словно подскакивал, открывал на короткий миг темную воду и песчаный берег, то вновь прижимался к воде.

Миша понимал, что на берегу может оказаться патрульная служба или рабочая команда, и двигался все медленнее. Осторожность!..

Осторожность!..

Чем ближе подходил к кустарнику, тем больше овладевало им спокойствие. Сделал еще несколько шагов и опустился в траву. Теперь различал уже слабое очертание полотна железной дороги. Дальше полз, стараясь как можно прижаться к земле. На пути попался куст, Миша обогнул его и увидел расплывшийся в дымке тумана силуэт человека.

Немец стоял с автоматом в руках. Чуть левее — другой, третий...

Шагов двадцать! Миша различал лицо стоявшего немца. Он смотрит, сейчас увидит... Миша замер.

В это время к складу промчались грузовики с солдатами. Они подошли к реке, остановились. Под командой офицера сошли с машин, машины повернули к штабелям. У немцев начался рабочий день. Миша опоздал.

Загребая рукой землю, снова пополз к воде. Туман редел, вода была прозрачной. Редкий и низкий камыш не мог спрятать человека. Миша оттолкнулся от берега, уцепился за стебли камыша и погрузился в воду, оставив на поверхности только лицо. Большие круглые листья кувшинок маскировали его.

Река, освободившись от тумана, засверкала. Он сидел, посматривая на берег через редкую сетку тростинок. Сразу с горячки не заметил холода. Вода была относительно теплой. Но вскоре ему стало холодно. Онемели пальцы рук, вцепившиеся в камыш. Он поочередно освобождал их, давая отдохнуть.

Когда немцы отходили подальше от берега, Миша выбирался из воды, немного согревался. Опасность нарастала, снова уходил в воду, и так до ночи...

Как только стемнело, он с трудом поднялся, вышел на берег и, крадучись, пошел к лесу, к железной дороге...

Сзади, со стороны склада, послышался запоздалый окрик часового, и тут же затрещал автомат. Свист пуль пронесся над его головой. Миша плюхнулся на землю, но какая-то чудовищная сила сорвала его с места, и он рванулся вперед... И опять свист пуль прижал его к земле. Он чувствовал, что подбородок его врылся в землю. «С полсотни бы метров...

С полсотни б, - задыхался он, - и тогда автоматный огонь не страшен». То быстрыми скачками, то ползком приближался Миша к лесу. И полянка-то совсем небольшая, а сейчас растянулась, и ей, казалось, конца не будет.

А ноги стали тяжелыми, непослушными...

Встретились, как было условлено, за железной дорогой. Друзья прождали здесь Мишу весь день, а когда стемнело, услышали его условный сигнал и пошли навстречу.

Оставаться на ночлег вблизи железной дороги было опасно. Пошли в глубь леса.

- Я верил, что ты выкарабкаешься!.. Честное слово, верил! - сказал Мише Микк.

Миша посмотрел на него и увидел восхищенное, удивительно доброе мальчишеское лицо.

Вскоре они выбрались на небольшой лесистый островок. На нем стоял домик с сорванной крышей и выбитыми окнами. Видимо, бывшая резиденция лесника. Урмас глянул внутрь. Микк, готовый ко всему, ждал у раскрытой двери.

- Пусто! - Урмас вышел на крыльцо.

Миша с Микком забрались в дом, улеглись на полу у входа. Урмас остался караулить — все равно не уснуть, неторопливо пошел вокруг дома...

С рассветом покинули свое убежище, снова втянулись в лес. Еще один привал сделали в полдень, в сарае небольшого села. Микк сходил в крайний домишко, выпросил краюху хлеба. Миша скинул телогрейку, сел на хрустящей соломе, сказал:

– Что-то плохо мне, дышать тяжело... Если и дальше так, не дойти мне. Настойчиво постучали в ворота.

– Саксласед! Саксласед! - раздался тревожный голос.

Урмас схватил автомат:

– Немцы в селе!..

Они выскочили на улицу. Мимо, поправляя на ходу сползшую на плечи косынку, прошла молодая женщина.

– Минге синна айя таха! - показала она, куда надо бежать, чтобы не заметили немцы.

С версту пробирались зарослями, потом вышли на тропу. Был жаркий день. Миша ждал, что в лесу будет прохладнее, но в нем было душно, пахло прелыми листьями, папоротником.

– К дождю, - сказал Урмас.

И дождь обрушился на них. Прошли от Райпола верст десять-двенадцать, и солнце начало уже заметно садиться, когда налетел ветер и вдруг сразу потемнело.

Шли всю ночь. И только на следующий день, когда на пути попался какой-то хуторок, решили как следует отдохнуть.

– Меня зовут Калев Сарапуу, и я хорошо говорю по-русски, - знакомься, сказал хозяин хутора. - Заходите, буду рад... Заходите, заходите.

Вошли в чистую просторную комнату. Она была обставлена самодельной деревенской мебелью: кровать, стол и стулья из выстоявшейся комлевой сосны с мелкими прожилками рисунка. У стены стоял шкаф, буфет из красной, особого сорта ольхи. Это все сохранилось с довоенной поры и с любовью починено, начищено, покрыто светлым лаком.

Миша еле держался на ногах. Тяжело, с надрывом кашлял, от него, как от печи, несло жаром. Он лег на пол в самый дальний угол, чтобы своим кашлем меньше тревожить товарищей.

– Сапоги — гадюки, - глухо ворчал Микк, - как зубами вцепились в ногу.

– А ты портянки как следует намотай, и сапоги станут покладистыми, - посоветовал Урмас.

Вмешался третий голос:

– Когда сапоги — гадюки, дело худо, - голос старческий, но внятный. «Это хозяин дома», - улавливал Миша. - Война, черт дери, самая трудная нечисть. И сапоги — штука номер один. После ружья...

Потом еще что-то сказал Урмас. В дремоту вливался его негромкий говор.

«Что сказал он? - напрягался Миша. - Это он со стариком». Все смешалось и отодвинулось куда-то.

- Мокропогодица надвигается, - спокойно говорил Сарапуу. - По-всему видать, начнется неспопутная погода.

«Лег и хозяин, - догадался Миша, потому что голос его шел уже снизу. - Неспопутная погода? С чего это он? - не понимал Миша. - Наоборот, распогодилось только. Вот и Урмас спросил о том же».

- Ветер, - ответил Сарапуу.

- Ветер и вчера был, и позавчера. И сегодня ветер, - уже сонным голосом бормотал Урмас.

- Не такой. Другой ветер. Тихий, ровный. Без всякой щелочки. Вроде и не перестанет никогда. И дух совсем другой — сырой. Не болотный, что от озера тянет. Чуете? Вроде его вымочили. - Помолчал. - Утром, гляди, замоложивать начнет.

«Дед в лесу живет, знает, что говорит», - Миша сунул руку под голову, и в ту же минуту из сознания, вконец сморенного усталостью, исчезло все живое.

Ночью Миша проснулся. «Как же это мы, без дневального?» - подумал он. На этот раз было особенно тяжело подниматься. Глаза не раскрывались, ноги и руки как не свои.

С трудом открыл глаза: за столом сидел хозяин дома, маленький, сухонький человечек с крючковатым носом, и тоже боролся со сном.

- Чего не спишь, хозяин? - спросил Миша.

- Я хочу вам помогать, - ответил Сарапуу. - Я не буду всю ночь спать. А вы спите.

- А то, может, пойдете поспите? - настаивал Миша.

Но Сарапуу отказался.

- Я тоже когда-то воевал с немцами, - сказал он неожиданно. - Я их не люблю.

- А потом перестали воевать с немцами? - спросил Миша.

- Старый стал, - в оправдание сказал хозяин. - Воевал в четырнадцатом, а в Гражданскую... в Гражданскую в стороне стоял, чего греха таить. Не буду это скрывать на старости. Друзья мои в красных были. Зятек на что богомолец, но тоже бунтовал за красных. А мы, Сарапууские, не включились. В эту-то войну — другое дело. Я к партизанам прибился. Разорение шло народу, гибель. Все с супостатом боролись... - Сарапуу помолчал, почесал затылок, как-то неуклюже показал головой: - А с прошлого-то года меня из отряда домой турнули... Старый стал, - продолжал он. - Теперь вот сторожу покой погубленных ворогом. Много их, жизнь свою не щадивших. Как ратники, воители праведные лежат...

Все вместе теперь.

Сарапуу почувствовал облегчение, что высвободил душу: «Вот и все. А теперь уж сами, как знаете, обо мне судите». Как-то вдруг осел, обмяк, сделался жалостным, смолк. И вроде бы тяготился уже, что все еще живет на свете, а их вот нет...

- А говорят, что некоторые эстонцы любят немцев и даже помогают им воевать против русских, - сказал Миша.
- Какие это эстонцы!.. - вспыхнул хозяин. - Разве это эстонцы! Эстонцы ни вжисть не будут помогать немцу или там тальянцу какому-то. А те, что помогают, то не эстонцы. То подонки человечьи. Им все одно, кому зады лизать: немцы пришли — лижут, япошки придут — тоже будут лизать... Так какие же они эстонцы? Эстонцы не такие... Это еще в ту войну было. Забрали эстонца немцы в плен и говорят: «Давай, рассказывай, какая тут войска у русских стоит!» А он ни в какую. Молчит — и все тут. Чего с ним ни делали — не говорит, хоть лопни... Не сдался. Вот то эстонец! Настоящий эстонец! Эстонец не должен против брата... против России, против всего народа идти.
- Сарапуу поднялся со стула, подошел к рукомойнику, высморкался в ведро, помочил из рукомойника лицо, вытер его и снова вернулся на свое место.
- Мише стало плохо. В глазах у него закрутились красные круги, и он, видимо, застонал.
- Что с тобой? - испугался старик.
- Не знаю... Я как будто в огне. Водички бы, если можно? - попросил Миша.
- Можно... как не можно. Я сейчас...
- Хозяин достал кружку и принес воды. Миша не мог подняться, и он помог ему. Миша выпил всю кружку, сразу стало полегче.
- Плохо тебе? - спросил Сарапуу.
- Жарко... Мокрый весь... И в груди болит.
- Миша лежал на спине и тяжело дышал. Хозяин снял с него рубашку, увидел шрамы на груди, вспухшие полосы на теле, застыл было в испуге. Заметил Мишин взгляд, сказал вполголоса:
- Это ничего. У каждого солдата ранения есть, кто по-настоящему на фронте побывал. И рубцы от них на теле на всю жизнь остались... И в душе тоже рубцы. Тут, значит, боль, не проходящая от разного... Нутро у тебя пробито и легкие застужены, - успокоил Мишу хозяин. - Я тебя полечу маленько.
- Хорошо бы...
- У меня имеется жир барсука. Попьешь, и все пройдет. И жар из твоего тела выгоним...
- Хорошо бы, - согласился Миша.
- Выжившим, сынок, война будет долго мстить... Это за то, что в свое время пожалела... выпустила из своих когтей. До самой смерти не оставит... Напоминать о себе будет. И детям тоже боль передается. В наследство, значит...
- Он говорил отрывисто в глухую темноту комнаты. Миша молчал. Потом спросил:

- А у вас на хуторе немцы часто бывают?
- Нет, не больно часто. В прошлом годе были, а в этом бог миловал. Мише показалось, что хозяин уловил ход его мыслей, и перевел разговор на другое.
- Ложись, поспи, дедуля! Я подежурю, - сказал он ему вот уже в который раз.
- Сарапуу посмотрел на Мишу, сказал:
- Я всегда успею спать... Староста иногда заглядывает. С ним мы поладим. Человек он, вот что я тебе скажу. Если надо, и он поможет. Поутру и старик стал клевать носом. Миша разбудил Микка. Тот не мог сразу проснуться. Поднимался, снова ложился и просил дать ему поспать самую капельку.
- А на дворе начало светать.
- Да спите вы, нехристи! - вспыхнул Сарапуу, встал из-за стола и окунул голову в ведро...
- Ребята спали на этот раз сколько хотели и поднялись, когда солнце стояло уже высоко.
- Миша лежал на полу в чистой прибранной комнате, почти не поднимаясь. Когда хозяин стал кормить его горячим супом и мятой картошкой, он понял: расхворался не на шутку. Через опухшую гортань проходила только жидкость, и то со страшной болью. В груди все хрипело и жгло огнем. Ныли ноги, руки. «А если бы мне сейчас, сию минуту, нужно было идти дальше? - спрашивал он себя. - Если обстоятельства сложились бы для меня иначе, чем сейчас?.. Нет, наверное, не смог бы. Не осталось сил...» И все же он знал, что обязательно встал бы и пошел. Пошел бы, если бы из-за него людям грозила смерть. Пошел бы... В человеке еще и за гранью сил есть сила...
- Сарапуу усердно лечил его. Каждый день он давал Мише барсучьего жира. Друзья бесцельно бродили по лесам, заходили в близлежащие хутора, приносили еду. Ждали, когда Миша поправится. Старик делал настои трав, поил ими Мишу, натирал больные места. А когда увидел, что лечение его затянулось, решил попробовать еще один способ лечения.
- Сегодня я тебя оздоровлю, - сказал он Мише. - Принес бы кто бочку, у крыльца стоит.
- Как же оздоровить в один день — в нем жары сорок градусов, как в поллитре, разве выйдет сразу? - усомнился Микк.
- Урмас вкатил в дом громыхавшую металлическую бочку из-под бензина. Бочку поставили на плиту, налили до половины мутной речной водой. Старик подложил в топку сухих поленьев. Когда вода задымилась от жары, ее сняли на пол.
- Старик помог Мише раздеться и подвел его к бочке.
- Уж очень горяча, папаша, - говорил Миша, пробуя с наружной стороны бочку и отодвигая руку, - еще сварюсь.

– Ничего худого с тобой не получится, - уверил старик. - Давай, парень, помоги, - попросил он Микка.

Микк не трогался с места.

– Ну, - сказал Миша, и хотя это хриплое, короткое «ну» произнес голый, с трудом стоящий на ногах человек, Микк сразу обхватил Мишу за талию. Влезши в воду, Миша застонал, охнул, метнулся, и Микк, глядя на него, тоже застонал, заходил вокруг бочки.

«Как в родильном доме», - почему-то подумал он.

Миша на время потерял сознание, и все смешалось в тумане — и повседневная тревога, и жар болезни. Вдруг замерло, остановилось сердце, и перестала нестерпимо жечь на совесть согретая вода. Потом он пришел в себя, сказал Микку:

– Надо пол подтереть.

Но Микк не видел, как вода пошла через край бочки. Багровое лицо Миши стало белеть, рот полуоткрылся, на лбу выступили крупные, показавшиеся Микку голубыми, капли пота. Миша вновь стал терять сознание, но когда Микк попытался вытащить его из воды, старик внятно произнес:

– Не время, подлейте-ка еще кипяточку.

Когда наконец Миша выбрался из воды, и Микк, глядя на него, совсем пал духом, старик помог Мише вытереться и лечь в постель, накрыл его одеялом, потом стал накладывать на него все барахло, имевшееся в доме.

Миша лежал тихо, спал.

«Хорошее у него лицо, - подумал старик. - Пошел на поправку».

К концу второй недели Миша уже свободно ходил по комнате, но Сарапуу настойчиво внушал, что «маленько еще надо подождать».

- Нутро у тебя, сынок, а это дело худо. Это не шутка!

Зарядили дожди. Стояли пасмурные, ранние осенние дни. Из окна далеко виднелся туман, залегший в лощине, доносились приглушенные туманом погромыхивания бубенца одиноко пасшейся где-то коровы. Тоска...

Тоска!..

Из окон дома хорошо проглядывался большой болотный луг. Точно такой же, какой был возле Мишиного поселка. Там после сенокоса и до глубокой осени паслись лошади. Они этот луг и удобряли, и не давали ему зарости, копытили. А зимой на этом лугу, в последний день Масленицы, жгли огромный, с дом, костер. Его складывали заранее. В середине — сухие поленья и кряжи. Вокруг стоймя приваливали толстые сырые березовые плахи, чтобы дольше горело. На длинном шесте водружали саму масленицу — соломенное чучело. «Там стгорало молоко, сметанка в масленице», - объясняли матери ребятишкам. Наступал великий пост, запрет на все скоромное.

Костер горел весь день до самой глубокой ночи. Вокруг шло веселье. По лугу катались на санках, вихрем летел снег... Это были детство и юность.

И все ярко помнилось...

– Так вот жизнь идет наша, - сказал Сарапуу о луге, видя, как Миша задумчиво уставился на него. И о чем-то еще другом, своем. Мотнул подбородком в сторону леса. Но не высказал, что пришло на ум... Тут как раз на него и нахлынуло прежним, прошлым, этим лугом: - А луг-то, то говорить, был цветистый, радушный такой. Сенокос... С него и начинали... Но он, брат, для прежней жизни годился, для косы и для граблей... Эх! Ты ба видел, что это был за луг! - продолжал восхищаться дед. - Кроме меня и некоторых, не многие помнят. Старики только. А на сенокос-то вся округа выходила. И не тесно было. А песни какие девки да бабы пели! Птицы заслушивались... Сейчас на этом лугу пасутся три коня. Единственные оставшиеся на всю округу. Кони откормленные и ленивые, не похожие на прежних... Они были и нужны еще для работы, сгодились бы, да запрягать не во что. Ни сбруи исправной, ни телег. Зимой еще ездили на санях, которые каждый мог сделать из старых полозьев.

– Да, было времечко... - согласился Миша.

А дед заговорил о другом. О том, о чем ему не терпелось рассказать попутному гостю:

– Только ведь в крестьянстве, не менее чем в другом деле, талантливые люди нужны. А мы сплошь и рядом на крестьянина глядим как на чернорабочего: чего ему надо, кроме крепких рук да спины... А ему необходим дар, чувство земли, понимание ее тайн. Да так, чтобы не устыдить, не дать заметить, что ты тайну эту угадал. Без такого таланта грешно человеку к земле прикасаться. А скажи об этом громко — ведь посмеются. Земля — чудо из чудес. Неразгаданная тайна. Что и как она может родить? Все еще узнается... Дела-то ведь нет важней и не будет, чем хлеб на земле выращивать.

О детях, что у них нет тяги к земле, дед думал без сожаления. Тут у него был свой взгляд на земледельца. В настоящем крестьянине, при всей непривлекательности его повседневного труда, живет влечение к природе. В душе он лелеет мечту об уютности поля. Она порождается таинством постоянного общения с ним. Настоящий хлебороб — всегда чудодей, творец. Он по-особому видит весну, лето, осень. Тут не только действие времен года, а разгадывание непознанных сил самой природы. Постичь умом эти силы он ка бы и не стремится, чтобы не лишиться себя постоянного ощущения чуда. В земле он тоже отличает особые приметы.

Знает, как она повлияет на его поле. И радуется или печалится, сообразуясь с этими своими приметами. Настоящий хлебороб всегда готовится к неожиданностям, к капризам судьбы... Оттого он мечтатель и философ. И даже политик. В этом весь землепашец — и мудрец, и в то же время наивный до обнаженности простак. Жизнелюбец, хранитель нравственной, самобытной силы в человеке. И потому непостижим, как непостижима до конца, наивна и проста сама земля, тайна ее плодородия.



- Мишу поразила рассказ старика и об устройстве эстонского села. Оказывается, есть такие деревеньки на эстонской земле, и живут в них беззаветные люди, вроде чурающиеся суматошной городской жизни. Потом он понял: они стараются уберечь свою жизнь от зряшной суеты и бестолковщины. Жизнь деревенек им больше по душе.
- Они такие бесхитростные, - говорил старик, - необыкновенные. Мудрые и душевные они. Радуются всему простому в жизни. И сему, что накосили и зеленым высушили. И дети их радуются, что вырастают здоровенькими и проворными. Думают и рассуждают они о разном. И о Боге говорят, и о политике, и о других странах. А как о работе говорят: «Вы свое в городе делаете, а мы — что нам полагается. Все по-своему. А выходит, друг для друга...» Надо же так просто понять труд и объяснить? - изумился старик.
    - Какая-то святость в них во всех. Простая и мудрая мудрость.
 Старик хорошо знал прошлую деревню. И поэтому был «зацеплен» исповедью тех селян. И тут же «восставал» против неудержимой «стихии химеры», надвигающейся «в наш век на человека».
  - Люди к погибели своей движутся, раз отходят от природного начала, - рассуждал он. - К выдуманному, искусственному начинают тянуться. Вот и надо бы науке, технике помочь человеку сохранить изначальное, природное в нем самом. А тут химера. Отсюда и недоразумения всякие, и курьезы разные. О профессиях говорят. Крестьянский труд груб. Красоты в нем мало, этой эстетики... Мужик в навозе руки грязнит. А мужик к этому с мечтой подходит, если он настоящий хлебороб. Он думает о колосе, какой он будет с навозом. А «навозного» в городе куда больше. От навоза в реках и озерах рыба и раки не дохнут, а химия все изводит. Землю труднее постичь, чем, скажем, бетон и железо. Полю ума и души больше надо. Как дитю. А тут к эффектам влечет. Пока мы об этом робко говорим. Когда-то за словом еще до дела дойдем...
 

Миша видел, что с каждым прожитым днем и друзья становились все мрачнее. Шутки и смех стали редкими в их разговорах. Да и сам он, кажется, стал уже ненавидеть себя.

Как-то вечером, после ужина, все вышли во двор.

    - Война кончится — на пожарника пойду сдавать, - сказал Урмас.
      - Что так? - не понял его Микк.
  - Спим по двадцать часов в сутки, - улыбнулся он. - Так и победу, чего доброго, проспим.
 

В доме становилось все теплей. Засыпая, Миша видел еле заметный в темноте квадрат окна, затянутого занавеской. И проснувшись, увидел то же окно. Ему показалось, что он не спал или заснул на какое-то короткое время. И мысли были те же самые, с которыми засыпал. Он перебрал в памяти все, что случилось с ним за последнее время, вспомнил моменты, когда его жизнь подходила к обрыву. Память ведь у человека устроена чудно. В ней застревает только сильно хорошее или крайне плохое.

А все среднее выпадает. «Как это я, столько раз был в лапах у смерти, и она, костлявая, поигравшись со мной, как кошка с мышью, отпускала меня с миром? Что меня спасало? Всегда ли моя выносливость, смекалка и смелость?» - думал Миша. Да, чаще всего выручало его именно это. Но было и то, что называют везением. Много их, этих счастливых случаев, выпало ему. Ох, много. Повернись обстоятельства чуть-чуть по-другому, и все полетело бы вверх тормашками. Ну как тут объяснишь такое?.. Он еще долго оставался в эту ночь с той жизнью, которую однажды уже прожил сполна, - с войной. Выходило у нее много граней и сторон. Она многолика. Сейчас опять подкралась к нему невидимкой, с незнакомым еще ему, совсем иным лицом. А что она еще завтра преподнесет им всем?..

Думы углублялись радужными мечтаниями. Его снова и снова потянула туда какая-то неодолимая сила. Грезилась умильные картины детства и юности. Возникало желание вернуться как можно скорее, завтра, сегодня вернуться домой.

Потом Миша вспомнил вчерашний разговор с Урмасом, поднялся, босиком вышел во двор, стал ходить по росе, все ускоряя шаг. Ноги еще немного болели — как обычно болели мускулы после тяжелой работы. Ветер в лицо, запах и свежесть леса взбудрили его. Он вернулся в дом и стал обуваться.

Проснулись друзья.

– Ты куда? - спросил его Урмас, потягиваясь.

Миша улыбнулся.

– В дорогу собираюсь...

– Не трепись!.. - усомнился Урмас. - Сарапуу не отпустит.

– Я здоров, - твердо сказал Миша.

Пришел Сарапуу. Он поздоровался, разжег огонь в печи и начал готовить завтрак.

Ребята вышли во двор. Дым из трубы поднимался высоко в небо, предвещая хорошую погоду. Наскоро умылись, вернулись в дом.

– За доброту вашу... За все огромное вам спасибо, - обратился Миша к хозяину. - Сегодня мы уходим.

– Нет уж... Без меня вам не дотянуть до своих, - сказал Сарапуу. - Чем ближе к фронту, тем больше немчуры по лесам. Их как мухоморов... Я проведу вас.

– Трудно вам будет, все ж далековато, - сказал Урмас.

– Знаю, знаю... Я привычный, и все тропы мне известны. Вся земля наша до самой Норови моими ногами исхожена... туда с Божьей помощью, а там, отдохну маленько, и домой, - убеждал старик.

Живую душу своего дома, как человечью, он любил всем сердцем. И влекло его в свой дом, как влечет птиц в свои гнездовья. В нем он чувствовал себя свободным от всего суетного, необязательного в жизни.

Шли день и ночь без передыху. За час-полтора до рассвета подошли к Кунде. Свернули вдоль реки, заросшей густым кустарником. Прячась за ним, можно было в темноте незаметно обойти и поселок, и железнодорожную станцию. Но под ногами потрескивали сучья и разбудили собак в поселке. Миновали уже Кунду, а собаки долго не могли успокоиться. И лай их был, конечно, услышан на станционных заставах.

– Неладное творим, - тихо сказал Сарапуу.

– Глотку собакам не заткнешь, - отозвался Урмас.

– Тоже верно... а ступать надо потише. Вот мост минуем, там хоть пляши: сплошная глухомань да болота до самой Норови, - продолжал Сарапуу. - Вот мост минуем, - повторил он, - версты четыре, не больше... Главное, не бойсь, я ж здесь все знаю.

– Там же немцы, поди? - спросил Микк.

– Мостик не ах, деревянный... На случай, мы сторонкой его.

Теперь шли по тропе, она все ближе прижималась к реке. Шли быстро, не останавливаясь, чтобы незаметно миновать и шоссе, и мост через Кунду.

– Кажется, скоро, - сказал Урмас.

– Должен быть... - согласился старик.

Миша взглянул на Микку, на Урмаса, понял, что они, так же как и он, находятся во власти ожидания чего-то внезапного, когда до отказа напряжен каждый мускул, каждый нерв. Только Сарапуу шел спокойно, казалось, ни о чем не думал.

Перед тем как увидеть мост через Кунду, услышали знакомую, до тошноты противную немецкую речь, от которой невольно вздрогнули. Сарапуу свернул в сторону, пошли лесом. Углубились в лес и порядочное расстояние шли зарослями.

Потом, чтобы не заблудиться, вышли к проселочной дороге и некоторое время шли рядом с ней, посматривая вдоль тракта.

– Немчура! - шепотом сказал Сарапуу.

Из-за поворота появилось несколько всадников. Они ехали шагом, посматривая по сторонам, держали наготове автоматы.

– Может, за нами, у моста засекли? - посмотрел на старика Урмас.

– Не-е... это разезд. Спрятаться надо, пока проедут.

Распластались в кустах придорожных зарослей.

– Семеро, - шепнул Микк.

Сарапуу молчал, он не повернул даже головы, когда шепнул Микк. В его прижавшейся к земле фигуре, особенно в лице, появилось напряжение.

Немцы ехали в один ряд, цепочкой. Впереди сидел на коне офицер. Не отрывая глаз, путники смотрели на немцев, они двигались по дороге уже совсем близко от них, метрах в ста пятидесяти. Тишину леса нарушал дробный цокот подков о дорогу.

Немцы приближались, и напряжение становилось все сильнее.

Миша видел, как повернулась голова Урмаса, он что-то шепнул. Только Миша не мог разобрать слов. Первый всадник поравнялся с ним. Теперь он отчетливо видел офицера, лицо его показалось ему знакомым.

Слишком знакомым!.. Да, он узнал его: фельдфебель Шуберт.

Миша стиснул зубы до боли, уткнулся лицом в землю. Ему надо было многое забыть, чтобы сейчас лежать спокойно...

Когда снов поднял голову, немцев на дороге уже не было. Они были далеко, оставив позади себя облако пыли.

Сарапуу посмотрел на ребят, вытер ладонью лоб.

В этот день они не пошли дальше, забрались в глухомань и долго, до самого вечера, отдыхали.

Как только стало смеркаться, пошли дальше. Но вскоре позади себя услышали лай собак и автоматную трескотню. Разговоры прекратились: где-то поблизости размещалась немецкая военная часть.

Пришлось ускорить шаг, а когда прошли с добрый десяток километров, повернули на юг, по слабо найденной тропе. Дальше шли особенно осторожно, держа наготове оружие.

Сарапуу забирался все глубже в молчаливый лес. Когда тропы терялись в зарослях, он шел напрямик, ребята едва поспевали за ним.

Ночь была на исходе, когда впереди блеснуло озеро. Берега его были в зарослях густого тростника. Раздвигая тростник, Сарапуу прокладывал узкую тропу. По ней они и вошли в воду.

Вода доходила местами до груди. Старик двигался тяжело, останавливался, дно как бы уходило у него из-под ног, и он искал опоры.

Миша подхватывал его под руку...

Постепенно дно пошло на подъем, легче стало передвигать ноги. Вышли на берег. Оттуда, где взойти солнцу, донесся глухой гул. Фронт был не за горами.

Дальше шли молча, надо было подальше уйти от озера. Сарапуу шел шатаясь, за ним Миша, Урмас, Микк замыкал цепочку.

Вошли в болото... Сарапуу остановился, еле слышно сказал:

– Отдохнуть надо... - и повалился на мокрую землю.

Наломали лапника, расстелили на островке под елями, улеглись плотнее друг к другу.

Проснувшись, Миша увидел старика. Он сидел, прислонившись к дереву, с автоматом в руках. На его побледневшем лице выделялись воспаленные глаза. «Не спал, - подумал Миша, - охрану нес...» Посмотрел на него смущенно и виновато.

– Не спали? - спросил он.

– Не хотелось, - сказал Сарапуу. - Дома высплюсь.

– Поспи, я посижу, - предложил ему Миша и взял у него автомат.

Поздно вечером он поднял друзей.

Опять шли цепочкой: впереди Сарапуу, следом за ним Миша, чуть позади Микк, затем Урмас.

Густые заросли затрудняли движение. В мочагах проваливались ноги. Микк свирепо чертыхался — он никак не мог ступить Мише в след. Урмас поторапливал его:

– Не застревай.

Оступился Урмас, он увяз по колено. Хихикнул Микк:

– Что, утоп? Вот куда тебя угораздило...

Сарапуу ступал твердо, ребята слышали его приглушенные во мху шаги, а когда раздавались чавкающие звуки, они догадывались — начинается топь. Это было привычно для них, сотни подобных болотных троп протоптаны их сапогами.

Ночью в глухом лесу чувствуешь себя как в бездне. Сарапуу останавливался, «нюхом» угадывал направление, куда идти, и шел...

К утру подошли к переднему краю обороны немцев. Впереди вырисовывались какие-то смутные кочки, кусты... Путники залегли.

Теперь нельзя было идти в рост, можно было только ползти. И они ползли, приподнимались на локтях, вглядывались в темноту, внимательно рассматривая каждый холмик.

Неподалеку послышался шум ручья. Сарапуу поднял руку, вытянул вперед, шепотом сказал:

– Туда...

Они поняли — к ручью. Растянулись в цепочку, придерживаясь друг друга. Ручей...

Сохраняя тишину, поползли через тальник вдоль ручья. Начался небольшой подъем. Заросли стали плотнее. Трудно было ползти.

Спустились в ручей, пошли по воде. Совсем рядом поднялся столб синеватого света, описал полукруг и опустился над ними. За ним второй, третий... Немцы, словно почуяв что-то, осветили ущелье гирляндами ракет. Друзья плотно прижались к берегу ручья, замерли. И тут же с двух сторон застучали пулеметы. Их очереди слились в один непрерывный треск. Немцы периодически прочесывали ущелье, над головами засвистели пули, срезанные ветки кустарника посыпались в воду. И разом все стихло.

– Это значит, что мы хорошо идем, - шепнул Сарапуу.

Миновав овраг, они вышли к берегу большой реки.

– Норова... - Сарапуу сел, ладонью смахнул со лба пот. - На том берегу наши, теперь одни пойдете, - тихо прохрипел он. - А я — домой...

Миша обнял старика и крепко сжал его костлявую ладонь:

– Спасибо вам... Вы хороший человек, до самой смерти не забуду.

У самой воды сняли обувь, верхнюю одежду, прислушались...

Темное прибалтийское небо время от времени вспарывали вспышки ракет, изредка тарахтела пулеметы.

Слышно было, как где-то сбоку глухо ударяла о берег река, в нескольких метрах от них волны в шипении омывали гальку.

- Если засекут, ныряйте, - шепотом сказал Урмас. - Больше старайтесь под водой... Пошли, - поднялся и первым вошел в воду.

И проплыли-то они всего с десятков метров, и немцы их все же заметили.

На глухие всплески пловцов хлестко ударили по воде автоматные очереди, с кручи застрочил пулемет.

Миша старался дольше не показываться из воды, набрав полную грудь воздуха. Когда воздух кончался, он лишь на мгновение показывал из воды лицо, делал огромный вдох и опять скрывался под водой. Но и на этот короткий миг слышал, как осатанело хлещут по воде автоматные очереди и как, захлебываясь, гулко бьет с кручи пулемет. Его звук проникал даже в воду.

Но вскоре Мише не стало хватать воздуха. Он все чаще стал выныривать из воды, выходить на поверхность, а потом, обессилев, поплыл, опустив голову в воду.

Пули с чавканьем вспенивали воду совсем рядом с ним, и он понимал, что ему еще рано вот так открыто плыть, но держаться под водой у него уже не был сил. Он делал усиленные гребки руками и все же старался, как мог, то погружаться в воду, то выбрасываться из нее... При свете повисших над водой ракет Миша видел и радовался — чуть впереди и сбоку плывут его друзья.

Через какое-то время с противоположного берега по немцам ударили минометы. Вражеский берег мгновенно покрылся яркими вспышками разрывов.

- Это наши, свои! - закричал Миша в темноту, захлебываясь от радости. Выбравшись на берег, друзья долго лежали без движения, по пояс в воде, только грудь и голова на гальке. Не было сил пошевелиться, не было сил вымолвить слова...

Когда пришли в себя, Миша протянул руку, Урмасу, Микку, помог преодолеть кручу, поползли.

- Стой, кто идет?! - раздался резкий окрик, когда они приблизились к первой траншее боевого охранения.

Ребята замерли, опомнившись, Миша крикнул в темноту:

- Свои!.. Наши! - а голоса не было.

Странно, он кричал, а слов своих не слышал. «Так бывает только во сне», - успел подумать он. От радости перехватило дыхание. Сердце застучало в груди так, что ему показалось — оно выскочит сейчас наружу. Миша вскочил на ноги, но они перестали повиноваться. Он сделал шаг, другой... и снова остановился. В голове все смешалось, перепуталось. «Свои... наши!» - бормотал он.

*Фашистская каторга для них закончилась, но не закончилась война.*

*Впереди у каждого было еще много боев.*

*Прощай, Эстония!.. Прощайте, добрые, гостеприимные люди!*

***ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!***

## Послесловие

**Память не стынет**

В нелегких боях за освобождение Эстонии Миша был тяжело ранен. Долгие месяцы лечился в госпитале и выписался инвалидом войны. Когда немного обжился, поправился, набрался сил, помчался вновь в Эстонию, к Юле.

Где-то подспудно тлело глухое предчувствие, что незримо рядом с ним ходит беда. И таиться она от него долго не будет. Да и не может. Вот-вот возьмет да и выйдет из своего укрытия и отомстит за то, что он все это время не рвался в дорогу. И это предчувствие не обмануло его.

На станции оказался под вечер. До утра переждал на вокзале, подремал по-солдатски, сколько мог, а поутру повез его до развилки паренек из дальней деревни, приехавший на станцию за товарами в магазин. Товару набралось мало, всего мешок соли, и паренек охотно согласился подвезти его по пути.

Лошадь была тощая, и сам паренек худ, так что Миша и не решился даже спросить, как живет народ в Эстонии. Будто знал все, но парнишка сам сказал:

– Плохо, дяденька, у нас. И покормиться-то тебе нечем будет...

В нужном месте Миша остановил парня, слез с повозки. Здесь шла тропа к хутору Михкеля Лутса. От густого майского воздуха, настоящего на нежном аромате черемухового цвета, кружилась голова. Утренняя свежесть и птичье щебетанье поднимали настроение, и Миша костылял, все ускоряя шаг.

А мысли, обгоняя его, были уже на месте... На том месте, где стоял заветный дом, вытекала речка из дремучих лесов и непролазных болот, зрели вокруг поля, цвели луга и в центре всего — живое и вечное озеро. В тихие вечера оно ласково светилось золотистой с синевой гладью. А в бурю билось, протестовало... И тишина, и шум озера были слышны в доме. Озеро и дом жили одной, слитной жизнью.

Когда человек хотел увериться в себе — он шел к буйному озеру. На его шум. И там вбирал в себя его волю, непокорность и протест. В эти минуты человек и озеро открывались друг другу.

Но больше к озеру шли, когда оно после гнева становилось кротким. Как бы стыдилось за свой нрав и буйство. Но и гордилось вместе, что восстало и гневом своим обновило жизнь. В этом озеро было примером человеку. Таким и человек должен быть — и гневаться яростно, и стыдиться своей необузданности...

Образ любимой девушки предстал перед ним как самый дорогой и светлый, в лучезарном сиянии, каким приходит в сновидениях. В то же время был он земным, желанным. Она не раскрылась перед ним вся. Это он понимал сейчас. Слишком короток был срок его знакомства с ней.



Она словно что-то таила от него, что-то хранила про запас, обещала еще неизведанное. Как он тянулся к ней, всегда ощущая не утоленную до конца жажду. И теперь она встала в его воображении близкая, своя, влекущая и очень-очень ему нужная. С каким облегчением и благодарностью прижал бы он к себе ее душистую голову! Как целовал бы ее бледный красивый лоб, закрытые глаза с большими темными ресницами...

Когда подошел к усадьбе Михкеля Лутса, он не увидел того живописного места, которое, как ему казалось, совсем недавно покинул. Там, где стояли вековые сосны, где сосновый бор вплотную подступил к волшебному озеру, где верховодил на всей округе вековой дуб, торчали из земли изуродованные обгорелые пни. От нарядной одежды соснового бора, где когда-то прятались от солнца Миша с Юлей, остались одни лохмотья. Лишь одинокие сосенки да подраставшие березки возвышались надо всем этим.

Миша искал глазами тот сад и гостеприимный дом, в котором осталась большая часть его сердца... Вместо дома, среди молодого кустарника, он увидел огромную яму — воронку от авиабомбы или крупного снаряда. Он не сразу сообразил, отчего вдруг защемило у него в сердце, будто стало ему тесно в груди...

В его памяти живут люди, которые как-то прошли по его судьбе — чистые, смелые, умные, преданные. В числе их и Юля. Он вспомнил, как прощалась с ним она, как осталась стоять, опустив руки, не двигаясь с места. Увидел все это резкой, до необычайности яркой памятью. От воспоминаний горький комок подкатил к горлу. Он стоял и плакал о дорогом для него человеке...

Прошло уже много лет. Михаил многое забыл из того, уже далекого времени. Он забыл, наверное, многие подробности из всего пережитого. Но на всю жизнь ему запомнилось, как все дальше уходил он от Юли, как она стояла неподвижно и молча глядела на него.

\* \* \*

Чем дальше уходило время, тем определеннее Михаил Александрович осознавал, что живет он свою вторую жизнь.

Та, первая его жизнь была сполна им прожита. Она возникла из смутного, тревожного ожидания трагического, непонятного тогда ему. Это непонятное и трагическое и копилось в нем — и в детстве, и в юности стояло все время над ним, ожидало часа.

Годы той жизни стали постепенно уходить из памяти, забываться. И уже на памятью, а другой силой продолжали властно напоминать о себе. И не только напоминать, но и мстить тем, что они в нем, живом, остались. И порой возникал неизживный страх повторения минувшего. Страх был от сознания, что то же, что и ему тогда, пришлось бы пережить его детям и внукам.

Он не жаловался на свои военные и первые послевоенные годы. Только чувствовал пронизывающий, неумолимый и жестокий взгляд того себя на себя сегодняшнего. Тот Миша был теперешнему Михаилу Александровичу совестью, высокой нравственной мерой во всех делах и поступках, в каждом шаге. И он этой мере следовал. И оттого теперешняя его жизнь имела цель и смысл.

Порой ему казалось, что он знает, как жизнь кончается, и знает, как она начинается. И несет в себе всю непосильную тяжесть знаний и конца и начала жизни.

Сейчас, с годами, он все с большей тоской начинал ощущать, что время, дарованное ему судьбой, начинает двигаться слишком стремительно. Годы летят — словно легкие сани за бегом быстрой лошади. Несутся по торной, вроде бы и знакомой и в то же время новой дороге. По сторонам — то равнина с чистым белым снегом, то избенки ветхие под соломенной крышей. И люди вроде бы знакомые возле этих избенок. И тут же рядом — другое, новое, к чему он привыкает. И не может привыкнуть.

Такое сравнение уходящих своих лет с полетной ездой в санях в морозной колючей снежной пыли навевал Михаилу Александровичу довоенный поселок. Он был ему дорог, как молодость.

Мелькали за санями, как тогда наяву, а сейчас в мыслях, заиндевелые палисадники с голыми, в пушистой изморози, деревьями. За ними, словно за кружевными занавесками, проглядывали маленькие оконца изб... За поселком просторный луг с полыхающим жарким костром — Масленицей. Сани объезжают вокруг костра — и начинается новый круг.

За чистым вольным простором полей и тайной лесов — жаркий огонь с летящими по ветру искрами, едкий дым и гарь.

И где-то за этим дымом, огнем и гарью, в незнакомом ему мире, все ждет его Юля, любимая девушка с неузнанной судьбой.

Так он и будет мчаться в поисках ее по всему свету без передышки, пока взмыленная, с опавшими боками лошадь не остановится сама.

А Юля навек останется для него символом верности, чистоты и высокой святости.

В свои дома-годы и зайти-то ему удавалось не в каждый, не то что пожить в них с затворенной дверью. Возле крутых поворотов сани бросало из ухабины на ухабину, заносило на раскатах. Но они, сделанные добрыми мастерами, выдерживали и раскаты, и ухабины. И он, миновав трудные места своей дороги, устремлялся все дальше.

Теперь трудная дорога была вроде бы позади. И сани по гладкому пути летели быстрее. И думалось с грустью и о неизбежной остановке где-то вблизи, у видимой цели...

Порой, по неопытности или отчаянности, сани его выносило на тонкий, не окрепший еще лед. Спасенье тут было только в быстрой езде. Так и наяву случалось у них в поселке с рискованным и отчаянным ездоком.

Но сейчас ему больше помнятся не ухабины, не раскаты и не тонкий лед под санями, а проглядывается вся дорога с крутыми поворотами. Круги дороги выпрямились в воображении, и она идет сплошной лентой вверх и вдаль.

Впереди, чуть скрытая за чертой горизонта, всегда Юля. И оттого, что она впереди, а рядом семья, дорога остается яркой, озаренной...

Он любит вечера в старом поселковом доме. Садится на веранде с книгой в руках и наблюдает за жизнью в нем как бы со стороны. Книга в минуты раздумий для отвода глаз, чтобы не тревожили. А он читает книгу, но не ту, что в руках, а другую, которая живет в нем самом.

Все нити, все дороги в ней ведут туда, к дому старика Михкеля Лутса, где он навеки оставил половину своего сердца.

Водою пахнет - редеза,  
И яблоком - любовь.  
Но мы узнали... - навсегда! -  
Кровью пахнет - только кровь.

Иван Иванович Канашин  
Память не стынет

Допечатная подготовка ООО ИПП «Ладога»

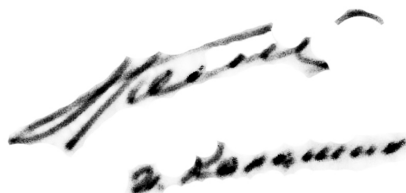
Подписано в печать 1.08.2005.

Тираж 500 экз.

Отпечатано в ОАО Издательско-полиграфическое  
предприятие «Искусство России»

198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38/2.

Редактор электронного издания : Юрий Юрьевич Трапезников



И.И. Канашин



Канащин Иван Иванович, 15.09.1923 - 2010г. Санкт-Петербург  
Последний из защитников крепости Орешек.



**МАТЕРИАЛЫ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА И КРАСНОЙ АРМИИ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА 1941 – 1944. СВЕДЕНИЯ О ГЕРОЯХ.**

...

**БИОГРАФИИ И ФОТОГРАФИИ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ. СТАТЬИ, ДОКУМЕНТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ О МУЗЕЯХ.**

...

**КАРТЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ**

...

**МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КАРТА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С КОММЕНТАРИЯМИ И СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ. ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ВЕТЕРАНОВ, ВОЕВАВШИХ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ РОССИИ.**

...

**СЛОВАРЬ ЖАРГОНА КОНЦЛАГЕРЕЙ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ**

...